

Генри

•КОРОЛИ  
И КАПУСТА  
•РАССКАЗЫ





КОРОЛИ  
и КАПУСТА  
*O. Генри*  
РАССКАЗЫ

Переводы  
с английского



МОСКВА

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

1977

И (Амер)

0—II

Оформление  
художников

*A. Озеревской и*  
*A. Яковleva*

O  $\frac{70304-138}{028(01)-77}$  9-77

•  
**КОРОЛИ  
И КАПУСТА**

Перевод  
**К. Чуковского**  
•



## ОТ ПЕРЕВОДЧИКА

Морж и Плотник гуляли по берегу. У берега они увидели устриц. Им захотелось полакомиться, но устрицы зарылись в песок и глубоко сидели в воде. Морж, чтобы выманить их из засады, предложил им пойти прогуляться.

— Приятная прогулка! Приятный разговор! — соблазнял он простодушных устриц.

Те поверили и побежали за ним, как цыплята.

— Давайте же начнем! — сказал Морж, усаживаясь на прибрежном камне. — Пришло время потолковать о многих вещах: о башмаках, о кораблях, о сургучных печатях, о капусте и о королях!

Но, несмотря на такую большую программу, рассказ Моржа оказался очень коротким: скоро слушатели все до одного были съедены.

Эту печальную балладу знают решительно все англичане, так как она напечатана в их любимейшей детской книге «Сквозь зеркало», которую они читают с раннего детства до старости. Сочинил ее Льюис Кэрролл, автор «Алисы в волшебной стране». Книга «Сквозь зеркало» есть продолжение «Алисы».

Повторяем: Морж ничего не сказал ни о башмаках, ни о кораблях, ни о сургучных печатях, ни о королях, ни о капусте. Вместо него сделал это О. Генри. Он так и озаглавил эту книгу — «Короли и капуста» и принял все меры к тому, чтобы «выполнить обещания» Моржа. В ней есть глава «Корабли», есть глава «Башмаки», в ней,

уже во второй главе, фигурирует сургуч, и если чего в ней нет, так только королей и капусты. Не потому ли именно эти слова поставлены в заглавии книги? Но автор утешает нас тем, что вместо королей у него президенты, а вместо капусты — пальмы.

Сам же он — Плотник, меланхолический спутник Моржа, и свою присказку ведет от лица Плотника.

## ПРИСКАЗКА ПЛОТНИКА

Вам скажут в Анчурии, что глава этой утлой республики, президент Мирафлорес, погиб от своей собственной руки в прибрежном городишке Коралио; что именно сюда он убежал, спасаясь от невзгод революции, и что казенные деньги, сто тысяч долларов, которые увез он с собой в кожаном американском саквояже на память о бурной эпохе своего президентства, так и не были найдены во веки веков.

За один реал любой мальчишка покажет вам могилу президента. Эта могила — на окраине города, у небольшого мостика над болотом, заросшим манговыми деревьями. На могиле, в головах, простая деревянная колода. На ней кто-то выжег каленым железом:

РАМОН АНХЕЛЬ ДЕ ЛАС-КРУСЕС  
И МИРАФЛОРЕС  
ПРЕЗИДЕНТЕ ДЕ ЛА РЕПУБЛИКА  
ДЕ АНЧУРИА

*Да будет ему судьбою господь!*

В надписи сказался характер этих легких духом и незлобивых людей: они не преследуют того, кто в могиле. «Да будет ему судьбою господь!» Даже потеряв сто тысяч долларов, о которых они все еще продолжают вздыхать, они не питают вражды к похитителю.

Незнакомцу или заезжему человеку жители Коралио расскажут о трагической кончине своего бывшего президента. Они расскажут, как он пытался убежать из их рес-

публики с казенными деньгами и донной Изабеллой Гилберт, молодой американской певичкой; как, пойманный в Коралио членами оппозиционной политической партии, он предпочел застрелиться, лишь бы не расстаться с деньгами и сеньоритою Гилберт. Дальше они расскажут, как донна Изабелла, почувствовав, что ее предприимчивый членок на мели, что ей не вернуть ни знатного любовника, ни сувенира в сто тысяч, бросила якорь в этих стоячих прибрежных водах, ожидая нового прилива.

Еще вам расскажут в Коралио, что скоро ее подхватило благоприятное и быстрое течение в лице американца Франка Гудвина, давнего жителя этого города, негоцианта, создавшего себе состояние на экспорте местных товаров. Это был банановый король, каучуковый принц, герцог кубовой краски и красного дерева, барон тропических лекарственных трав. Вам расскажут, что сеньорита Гилберт вышла замуж за сеньора Гудвина через месяц после смерти президента и, таким образом, в тот самый момент, когда Фортуна перестала улыбаться, отвоевала у нее, вместо отнятых этой богиней даров, новые, еще более ценные.

Об американце Франке Гудвине и его жене здешние жители могут сказать только хорошее. Дон Франк жил среди них много лет и добился большого почета. Его жена стала — без всяких усилий — царицей великосветского общества, поскольку таковое имеется на этих непримятательных берегах. Сама губернаторша, происходящая из гордой кастильской фамилии Монтелеон-и-До-

лороса-де-лос-Сантос-и-Мендес, и та считает за честь развернуть салфетку своей оливковой ручкой, украшенной кольцами, за столом у сеньоры Гудвин. Если в вас еще живут суеверия Севера и вы попробуете намекнуть на то недавнее прошлое, когда миссис Гудвин была опереточной дивой и своей бестрепетно бойкой манерой увлекла немолодого президента, если вы заговорите о той роли, которую она сыграла в прегрешениях и гибели этого сановника, — жители Коралио, как истые латиняне, только пожмут плечами, и это будет их единственный ответ. Если у них и существует предвзятое мнение в отношении сеньоры Гудвин, это мнение целиком в ее пользу, каково бы оно ни было в прошлом.

Казалось бы, здесь не начало, а конец моей повести. Трагедия кончена. Романтическая история дошла до своего апогея, и больше уже не о чем рассказывать. Но читателю, который еще не насытил своего любопытства, покажется, пожалуй, поучительным всмотреться поближе в те нити, которые являются основой замысловатой ткани всего происшедшего.

Колоду, на которой начертано имя президента Мирафлореса, ежедневно трут песком и корою мыльного дерева. Старик метис преданно ухаживает за этой могилой со всею тщательностью прирожденного лодыря. Широким испанским ножом он выпалывает сорные растения и пышную, сочную траву. Своими загрубелыми пальцами он выковыривает муравьев, скорпионов, жуков; ежедневно он ходит за водою на площадь к го-

родскому фонтану, чтобы окропить дерн на могиле. Нигде во всем городе ни за одной могилой не ухаживают так, как за этой.

Только высмотрев тайные нити, вы уясните себе, почему этот старый индеец Гальвес получает по секрету жалованье за свою нехитрую работу, и почему это жалованье платит Гальвесу такая особа, которая и в глаза не видала президента, ни живого, ни мертвого, и почему, чуть наступают сумерки, эта особа так часто приходит сюда и бросает издалека печальные и нежные взгляды на бесславную насыпь.

О стремительной карьере Изабеллы Гильберт вы можете узнать не в Коралио, а где-нибудь на стороне. Новый Орлеан дал ей жизнь и ту смешанную испано-французскую кровь, которая внесла в ее душу столько огня и тревоги. Образования она почти не получила, но выучилась каким-то инстинктом оценивать мужчин и те пружины, которые управляют их действиями. Необыкновенная страсть к приключениям, к опасностям и наслаждениям жизни была свойственна ей в большей мере, чем обычным, заурядным женщинам. Ее душа могла порвать любые цепи; она была Евой, уже отдавшей запретного плода, но еще не ощущившей его горечи. Она несла свою жизнь, как розу у себя на груди.

Из всех бесчисленных мужчин, которые толпились у ее ног, она, говорят, снизошла лишь к одному. Президенту Мирафлоресу, блестящему, но неспокойному правителью Анчурской республики, отдала она ключ от своего гордого сердца. Как же это так

могло случиться, что она, если верить туземцам, стала супругой Франка Гудвина и зажила без всякого дела дремотною, тусклою жизнью?

Далеко простираются тайные нити — через море, к иным берегам. Если мы последуем за ними, мы узнаем, почему сыщик О'Дэй, по прозванию Коротыш, служивший в Колумбийском агентстве, потерял свое место. А чтобы время прошло веселее, мы сочтем своим долгом и приятной забавой прогуляться вместе с Момусом<sup>1</sup> под звездами тропиков, где некогда, печально суровая, гордо выступала Мельпомена<sup>2</sup>. Смеяться так, чтобы проснулось эхо в этих роскошных джунглях и хмурых утесах, где прежде слышались крики людей, на которых нападают пираты, отшвырнуть от себя копье и тесак и кинуться на арену, вооружившись насмешкой и радостью; из заржавленного шлема романтической сказки извлечать благодатную улыбку веселья — сладостно заниматься такими делами под сенью лимонных деревьев, на этом морском берегу, похожем на губы, которые вот-вот засмеются.

Ибо живы еще предания о прославленных «Испанских морях». Этот кусок земли, омываемый бушующим Карибским морем и выславший навстречу ему свои страшные тропические джунгли, над которыми висится заносчивый хребет Кордильер, и теперь еще полон тайн и романтики. В былые годы повстанцы и флибустьеры будили

<sup>1</sup> Момус — шут богов, бог насмешки.

<sup>2</sup> Мельпомена — муга трагедии.

отклики среди этих скал, на побережье, работая мечами и кремневыми ружьями в зеленых прохладах и снабжая обильной пищей вечно кружащихся над ними кондоров. Эти триста миль береговой полосы, столь знаменитой в истории, так часто переходили из рук в руки, то к морским бродягам, то к неожиданно восставшим мятежникам, что едва ли они знали хоть раз за все эти сотни лет, кого называть своим законным владыкой. Писарро, Бальбоа, сэр Фрэнсис Дрейк и Боливар<sup>1</sup> сделали все, что могли, чтобы приобщить их к христианскому миру. Сэр Джон Морган, Лафит<sup>2</sup> и другие знаменитые хвастуны и громилы терзали их и засыпали их ядрами во имя сатаны Аваддона.

То же происходит и сейчас. Правда, пушки бродяг замолчали, но разбойник-фотограф (специалист по увеличению портретов), но щелкающий кодаком турист и передовые отряды благовоспитанной шайки факиров вновь открыли эту страну и продолжают ту же работу. Торгари из Германии, Сицилии, Франции выуживают отсюда монету и набивают ею свои кошельки. Знатные проходим-

<sup>1</sup> Франсиско Писарро (ок. 1475-1541) — испанец, завоеватель Перу; Бальбоа (ок. 1475-1517) — испанский конкистадор, первым из мореплавателей достиг берега Тихого океана; сэр Фрэнсис Дрейк (ок. 1540-1596) — английский мореплаватель и колонизатор; Боливар (1783-1830) — виднейший борец за независимость испанских колоний в Центральной и Южной Америке.

<sup>2</sup> Морган (1635-1688) — английский пират и завоеватель; Лафит (1780-1826) — французский корсар и путешественник.

цы толпятся в прихожих здешних повелителей с проектами железных дорог и концессий. Крошечные опереточные народы забавляются игрою в правительства, покуда в один прекрасный день в их водах не появляется молчаливый военный корабль и говорит им: не ломайте игрушек! И вслед за другими приходит веселый человек, искатель счастья, с пустыми карманами, которые он жаждет наполнить, пронырливый, смышленый делец — современный сказочный принц, несущий с собою будильник, который лучше всяких поцелуев разбудит эти прекрасные тропики от тысячелетнего сна. Обычно он привозит с собою трилистник<sup>1</sup> и кичливо водружает его рядом с экзотическими пальмами. Он-то и выгнал из этих мест Мельпомену и заставил Комедию плясать при свете рампы Южного Креста.

Так что, видите, нам есть о чем рассказать. Пожалуй, неразборчивому уху Моржа эта повесть полюбится больше всего, потому что в ней и вправду есть и корабли, и башмаки, и сургуч, и капустные пальмы, и (взамен королей) президенты.

Прибавьте к этому щепотку любви и заговоров, посыпьте это горстью тропических долларов, согретых не только пылающим солнцем, но и жаркими ладонями искателей счастья, и вам покажется, что перед вами сама жизнь — столь многословная, что и болтливейший из Моржей утомится.

<sup>1</sup> Трилистник — национальное растение Ирландии, ее эмблема и герб.

## «ЛИСА-НА-РАССВЕТЕ»

Коралио нежился в полуденном зное, как томная красавица в сурово хранимом гареме. Город лежал у самого моря на полоске наносной земли. Он казался бриллиантиком, вкрапленным в ярко-зеленую ленту. Позади, как бы даже нависая над ним, вставала — совсем близко — стена Кордильер. Впереди расстипалось море, улыбающийся тюремщик, еще более неподкупный, чем хмурые горы. Волны шелестели вдоль гладкого берега, попугай кричали в апельсиновых деревьях и сейбах, пальмы склоняли свои гибкие кроны, как неуклюжий кордебалет перед самым выходом прима-балерины.

Внезапно город закипел и взволновался. Мальчишка-туземец пробежал по заросшей травою улице, крича во все горло: «Busca el Señor Гудвин! На venido un telegrafo para él!»<sup>1</sup>

Весь город услыхал этот крик. Телеграммы не часто приходят в Коралио. Десятки голосов с готовностью подхватили воззвание мальчишки. Главная улица, параллельная берегу, быстро переполнилась народом. Каждый предлагал свои услуги по доставке этой телеграммы. Женщины с самыми разноцветными лицами, начиная от светло-оливковых и кончая темно-коричневыми, кучками собирались на углах и запели мелодично и

<sup>1</sup> Разыщите сеньора Гудвина! Для него получена телеграмма! (исп.)

жалобно: «Un telegrafo para Señor Гудвин!» Comandante дон сеньор Эль Коронель Энкариасион Риос, который был сторонником правящей партии и подозревал, что Гудвин на стороне оппозиции, с присвистом воскликнул: «Эге!» — и записал в свою секретную записную книжку изображающую новость, что сеньор Гудвин такого-то числа получил телеграмму.

Кутерьма была в полном разгаре, когда в дверях небольшой деревянной постройки появился некий человек и выглянул на улицу. Над дверью была вывеска с надписью: «Кью и Клэнси»; такое наименование едва ли возникло на этой тропической почве. Человек, стоявший в дверях, был Билли Кью, искатель счастья и борец за прогресс, новейший пират Карибского моря. Цинкография и фотография — вот оружие, которым Кью и Клэнси осаждали в то время эти неподатливые берега. Снаружи у дверей были выставлены две большие рамы, наполненные образцами их искусства.

Кью стоял на пороге, опершись спиной о косяк. Его веселое, смелое лицо выражало явный интерес к необычному оживлению и шуму на улице. Когда он понял, в чем дело, он приложил руку ко рту и крикнул: «Эй! Франк!» — таким зычным голосом, что все крики туземцев были заглушены и умолкли.

В пятидесяти шагах отсюда, на той стороне улицы, что поближе к морю, стояло обиталище консула Соединенных Штатов. Из этого-то дома вывалился Гудвин, услышав громогласный призыв. Все это время он курил трубку вместе с Уиллардом

Джедди, консулом Соединенных Штатов, на задней веранде консульства, которая считалась прохладнейшим местом в городе.

— Скорее! — крикнул Кью. — В городе и так уж восстание из-за телеграммы, которая пришла на ваше имя. Не шутите такими вещами, мой милый. Надо же считаться с народными чувствами. В один прекрасный день вы получите надушенную фиалками розовую записочку, а в стране из-за этого произойдет революция.

Гудвин зашагал по улице и разыскал мальчишку с телеграммой. Волоокие женщины взирали на него с боязливым восторгом, ибо он был из той породы, которая для женщин притягательна. Высокого роста, блондин, в элегантном белоснежном костюме, в *zapatos*<sup>1</sup> из оленьей кожи. Он был чрезвычайно учтив; его учтивость внушала бы страх, если бы ее не умеряла сострадательная улыбка. Когда телеграмма была наконец вручена ему, а мальчишка, получив свою мзду, удалился, толпа с облегчением вернулась под прикрытие благодетельной тени, откуда выгнало ее любопытство: женщины — к своей стряпне на глиняных печурках, устроенных под апельсинными деревьями, или к бесконечному расчесыванию длинных и гладких волос, мужчины — к своим папиросам и разговорам за бутылкой вина в кабачках.

Гудвин присел на ступеньку около Кью и прочитал телеграмму. Она была от Боба Энглхарта, американца, который жил в Сан-

<sup>1</sup> Туфли (*исп.*).

Матео, столице Анчурии, в восьми—десяти милях от берега. Энглхарт был золотоискатель, пылкий революционер и вообще славный малый. То, что он был человеком находчивым и обладал большим воображением, доказывала телеграмма, которую получил от него Гудвин. Телеграмма была строго конфиденциального свойства, и потому ее нельзя было писать ни по-английски, ни по-испански, ибо политическое око в Анчурии не дремлет. Сторонники и враги правительства ревностно следили друг за другом. Но Энглхарт был дипломатом. Существовал один-единственный код, к которому можно было прибегнуть с уверенностью, что его не поймут посторонние. Это могучий и великий код уличного простонародного нью-йоркского жаргона. Так что, сколько ни ломали себе голову над этим посланием чиновники почтово-телеграфного ведомства, телеграмма дошла до Гудвина никем не разобранная.

Вот ее текст:

«Его пустозвонство юркнул по заячьей дороге со всей монетой в кисете и пучком кисеи, от которого он без ума. Куча стала поменьше на пятерку полей. Наша банда процветает, но без кругляшек тухо. Сгребите их за шиворот. Главный вместе с кисейным товаром держит курс на соль. Вы знаете, что делать.

Боб».

Для Гудвина эта нескладица не представляла никаких затруднений. Он был самый удачливый из всего американского авангарда

искателей счастья, проникших в Анчурию, и, не будь у него способности предвидеть события и делать выводы, он едва ли достиг бы столь завидного богатства и почета. Политическая интрига была для него коммерческим делом. Благодаря своему большому уму он оказывал влияние на главарей-заговорщиков; благодаря своим деньгам он держал в руках мелкоту — второстепенных чиновников. В стране всегда существовала революционная партия, и Гудвин всегда готов был служить ей, ибо после всякой революции ее приверженцы получали большую награду. И теперь существовала либеральная партия, жаждавшая свергнуть президента Мирафлореса. Если колесо повернется удачно, Гудвин получит концессию на тридцать тысяч акров лучших кофейных плантаций внутри страны. Некоторые недавние поступки президента Мирафлореса навели его на мысль, что правительство падет еще раньше, чем произойдет очередная революция, и теперь телеграмма Энглхарта подтверждала его мудрые догадки.

Телеграмма, которую так и не разобрали анчурийские лингвисты, тщетно пытавшиеся приложить к ней свои знания испанского языка и начатков английского, сообщала Гудвину важные вещи. Она уведомляла его, что президент республики убежал из столицы вместе с вверенными ему казенными суммами; далее, что президента сопровождает в пути обольстительная Изабелла Гилберт, авантюристка, певица из оперной труппы, которую президент Мирафлорес вот уже целый месяц чествовал в своей столице

так широко, что, будь актеры королями, они и то могли бы удовольствоваться меньшими почестями. Выражение «заячья дорога» означало выючную тропу, по которой шел весь транспорт между столицей и Коралио. Сообщение о «куче», которая стала меньше на пятерку нолей, ясно указывало на печальное состояние национальных финансов. Так же было до очевидности ясно, что партии, стремящейся к власти и не нуждающейся уже в вооруженном восстании, «придется очень туго без кругляшек». Если она не отнимет похищенных денег, то, приняв во внимание, сколько военной добычи придется раздать победителям, невеселое будет положение у новыхластей. Поэтому было совершенно необходимо «сгрести главного за шиворот» и вернуть средства для войны и управления.

Гудвин передал депешу Кьюу.

— Прочитайте-ка, Билли. Это от Боба Энглхарта. Можете вы разобрать этот шифр?

Кьюу сел на пороге и начал внимательно читать телеграмму.

— Это совсем не шифр,— сказал он наконец.— Это называется литературой, это некая языковая система, которую навязывают людям, хотя ни один беллетрист не познакомил их с нею. Выдумали ее журналы, но я не знал, что телеграфное ведомство приложило к ней печать своего одобрения. Теперь это уже не литература, а язык. Словари, как ни старались, не могли вывести его за пределы диалекта. Ну, а теперь, когда за ним стоит Западная Телеграфная, скоро возник-

нет целый народ, который будет говорить на нем.

— Все это филология, Билли, — сказал Гудвин. — А понимаете ли вы, что здесь написано?

— Еще бы! — ответил философ-практик. — Никакой язык не труден для человека, если он ему нужен. Я как-то ухитрился понять даже приказ улетучиться, произнесенный на классическом китайском языке и подтвержденный дулом мушкета. Это маленькое произведение изящной словесности называется «Лиса-на-рассвете». Играли вы в эту игру, когда были мальчишкой?

— Как будто, — ответил Франк со смехом. — Все берутся за руки и...

— Нет, нет, — перебил его Кью. — Я говорю вам про отличную боевую игру, а вы путаете ее с игрою «Вокруг куста». «Лиса-на-рассвете» не такая игра — за руки здесь не берутся, напротив! Играют так: этот президент и дама его сердца, они вскакивают в Сан-Матео и, приготовившись бежать, кричат: «Лиса-на-рассвете!» Мы с вами вскакиваем здесь и кричим: «Гусь и гусыня!» Они говорят: «Далеко ли до города Лондона?» Мы отвечаляем: «Близехонько, если у вас длинные ноги». И потом мы спрашиваем: «Сколько вас?» — и они отвечают: «Больше, чем вы можете поймать!» И после этого игра начинается.

— В том-то и дело! — сказал Гудвин. — Нельзя, чтобы гусак и гусыня ускользнули у нас между пальцами: очень уж у них дорогие перья. Наша партия готова хоть сегодня взять на себя верховную власть; но

если касса пуста, мы останемся у власти не дольше, чем белоручка на необъезженном мустанге. Мы должны играть в лисицу на всем берегу, чтобы не дать беглецам улизнуть...

— Если они едут на мулах,— сказал Кьюу,— они доберутся сюда только на пятый день. Времени достаточно. Всюду, где можно, мы установим наблюдательные посты. Есть только три места на всем побережье, откуда они могут попасть на корабль: наш город, Солитас и Аласан. Там и нужно поставить стражу. Все это просто, как шахматная задача,— шах лисой и мат в три хода. Ах, гусыня и гусак, вот попали вы впросак! Милостью литературного телеграфа сокровища нашего захолустного отечества попадают прямо в руки честной политической партии, которая только и мечтает, как бы перевернуть его вверх тормашками.

Кьюу был прав. Путь из столицы был долгий и тяжкий. Неприятности сыпались одна за другой: лютая стужа сменилась жестоким зноем, из безводной пустыни вы попадали в болото. Тропинка карабкалась по ужасающим высям, вилась, как полусгнившая веревочка, над захватывающими дыхание безднами, ныряла в ледяные, сбегающие со снежных вершин ручьи и скользила, как змея, по лесам, куда не проникает луч солнца, среди опасных насекомых и зверей. Спустившись с гор, эта дорога превращалась в трезубец, причем средний зубец вел в Аласан, один из боковых — в Коралио, другой — в Солитас. Между горами и морем лежала

полоса наносной земли в пять миль шириной; здесь тропическая растительность приобретала особое богатство и разнообразие. Там и сям небольшие участки земли были отвоеваны у джунглей, и на них разведены плантации сахарного тростника и бананов и апельсинные рощи. Вся же остальная земля являла буйство бешеной растительности, где жили обезьяны, тапиры, ягуары, аллигаторы, чудовищные насекомые и гады. Где не было просеки, там была такая чаща, что змея — и та с трудом протискивалась сквозь путаницу ветвей и лиан. По предательским трясинам, покрытым тропической зеленью, могли двигаться главным образом крылатые твари. Бежавший президент и его спутница могли добраться до берега лишь по одной из описанных трех дорог.

— Только, Билли, не болтать никому! — посоветовал Гудвин. — Незачем нашим врагам знать, что президент сбежал. Я думаю, что в столице это мало кому известно. Иначе Боб не прислал бы мне секретной телеграммы. Да и в нашем городе давно кричали бы об этом. Теперь я пойду к доктору Савалья, и мы пошлем нашего человека перерезать телеграфный провод.

Когда Гудвин поднялся, Кью швырнул свою шляпу в траву перед дверью и испустил потрясающий вздох.

— Что случилось, Билли? — спросил Гудвин, останавливаясь. — Первый раз в жизни я слышу, что вы вздыхаете.

— И последний, — сказал Кью. — Этим скорбным дуновением ветра я обрекаю себя на жизнь, преисполненную похвальной, хоть

и очень нудной честности. Что такое, скажите на милость, фотография по сравнению с возможностями великого и веселого класса гусаков и гусынь? Не то чтобы мне хотелось стать президентом, Франк,— и с таким богатством, как у него, я все равно не совладал бы,— но как-то совесть мучает, что засел тут и снимаю эти физиономии, вместо того чтобы набить карманы и удрать. Франк, а видали вы этот «пучок кисеи», который его превосходительство свернул по швам и увез с собой?

— Изабеллу Гилберт? — спросил Гудвин, смеясь.— Нет, не видел, но слыхал о ней много, и мне кажется, что справиться с нею будет не так-то легко. Она пойдет напролом, будет драться и когтями и зубами. Не обольщайте себя романтическими мечтами, Билли. Иногда я начинаю подозревать, не течет ли в ваших жилах ирландская кровь.

— Я тоже никогда не видал этой дамы,— продолжал Кью,— но говорят, что рядом с нею все красавицы, прославленные в поэзии, мифологии, скульптуре и живописи, кажутся дешевыми клише. Говорят, что стоит ей взглянуть на мужчину, и он тотчас же превращается в мартышку и лезет на самую высокую пальму, чтобы сорвать ей кокосовый орех. Счастье этому президенту, ей-богу! Вы только вообразите себе: в одной руке у него черт знает сколько сотен и тысяч долларов, в другой — эта кисейная сирена; он скакет сломя голову на близком его сердцу осле, кругом пение птиц и цветы. А я, Билли Кью, по причине своего великого

благородства, должен корпеть в этой глупой дыре и, ради насущного хлеба, бессовестно коверкать физиономии этих животных лишь потому, что я не вор и не мошенник. Вот она, справедливость!

— Не горюйте,— сказал Гудвин.— Что это за лисица, которая завидует гусю? Кто знает, быть может, прелестная Гилберт почувствует влечение к вам и к вашей цинкографии после того, как мы отнимем у нее президента.

— Что будет совсем не глупо с ее стороны! — сказал Кью.— Но этому не бывать, она достойна украшать галерею богов, а не выставку цинкографических снимков. Она очень порочная женщина, а этому президенту просто повезло. Но я слышу, что там, за перегородкой, ругается Клэнси: ворчит, что я лодырничаю, а он делает за меня всю работу.

Кью нырнул за кулисы своего ателье, и скоро оттуда донесся его неунывающий свист, который как будто сводил на нет его недавний вздох по поводу сомнительной удачи беглого президента.

Гудвин свернулся с главной улицы в боковую, которая была гораздо уже и пересекала главную под прямым углом.

Эти боковые улицы были покрыты буйной травой, которую ревностно укрощали кривые ножи полицейских — для удобства пешего хождения. Узенькие каменные тротуары бежали вдоль невысоких и однообразных глинобитных домов. На окраинах эти улицы таяли, и там начинались крытые пальмовыми листьями лачуги карибов и туземцев

победнее, а также плюгавые хижины ямайских и вест-индских негров. Несколько зданий возвышалось над красными черепичными крышами одноэтажного города: башня тюрьмы, отель де лос Эстронхерос (гостиница для иностранцев), резиденция агента пароходной компании «Везувий», торговый склад и дом богача Бернарда Брэнигэна, развалины собора, где некогда побывал Колумб, и самое пышное здание — Casa Morena, летний «белый дом» президента Анчурии. На главной улице, параллельной берегу,— на коралийском Бродвее,— были самые большие магазины, почта, казармы, расписочные и базарная площадь.

Гудвин прошел мимо дома, принадлежащего Бернарду Брэнигэну. Это было новое деревянное здание в два этажа. В нижнем этаже помещался магазин, в верхнем — обитал сам хозяин. Длинный балкон, окружавший весь дом, был тщательно защищен от солнца. Красивая, бойкая девушка, изящно одетая в широкое струящееся белое платье, перегнулась через перила и улыбнулась Гудвину. Она была не темнее лицом, чем многие аристократки Андалузии, она сверкала и переливалась искрами, как лунный свет в тропиках.

— Добрый вечер, мисс Паула,— сказал Гудвин, даря ее своей неизменной улыбкой. Он с одинаковой улыбкой приветствовал и женщин и мужчин. Все в Коралио любили приветствия гиганта американца.

— Что нового? — спросила мисс Паула.— Ради бога, не говорите мне, что у вас нет никаких новостей. Какая жара, не прав-

да ли? Я чувствую себя, как Марианна в саду — или то было в аду?<sup>1</sup> Ах, так жарко!

— Нет, у меня нет никаких новостей,— сказал Гудвин, не без ехидства глядя на нее.— Вот только Джедди становится с каждым днем все ворчливее и раздражительнее. Если он в самом близком будущем не успокоится, я перестану курить у него на задней веранде, хотя во всем городе нет такого прохладного места.

— Он совсем не ворчит, — воскликнула порывисто Паула Брэнигэн,— когда он...

Но она не докончила и спряталась, внезапно покраснев, ибо ее мать была метиска и испанская кровь придавала ей прелестную пугливость, которая служила украшением другой — ирландской — половины ее непосредственной души.

## II ЛОТОС И БУТЫЛКА

Уиллард Джедди, консул Соединенных Штатов в Коралио, сидел и лениво писал свой годовой отчет. Гудвин, который по обыкновению зашел к нему покурить на своей любимой прохладной веранде, не мог отвлечь его от этого занятия и удалился, жестоко браня приятеля за отсутствие гостеприимства.

— Я буду жаловаться на вас в министерство, — сердился Гудвин.— Даже разговаривать со мною не хочет. Даже виски не

<sup>1</sup> «Марианна на Юге» — стихотворение Теннисона.

попотчует. Хорошо же вы представляете здесь ваше правительство.

Гудвин побрел в гостиницу наискосок в надежде уломать карантинного доктора сразиться на единственном в Коралио бильярде. Он уже сделал все, что было нужно для поимки убежавшего президента, и теперь ему оставалось одно: ждать, когда начнется игра.

Консул был весь поглощен своим годовым отчетом. Ему было только двадцать четыре года, и в Коралио он прибыл так недавно, что его служебный пыл еще не успел остывть и в тропическом зное, — между Раком и Козерогом такие парадоксы допускаются.

Столько-то тысяч гроздьев бананов, столько-то тысяч апельсинов и кокосовых орехов, столько-то унций золотого песку, столько-то фунтов каучука, кофе, индиго, сарсапариллы — подумать только, что экспорт по сравнению с прошлым годом увеличился на двадцать процентов!

Сердце консула было преисполнено радости. Может быть, там, в государственном департаменте, прочтут его отчет и заметят... но тут он откинулся на спинку стула и захохотал. Он становится таким же идиотом, как и все остальные. Неужели он мог забыть, что Коралио — ничтожный городишко ничтожной республики, ютящейся на задворках какого-то второстепенного моря? Ему вспомнился Грэгг, карантинный врач, выписывавший лондонский журнал «Ланцет» в надежде найти там выдержки из своих докладов о бацилле желтой лихорадки, которые он посыпал в министерство здравоохранения. Консул знал, что из полсотни

его добрых знакомых, оставшихся в Соединенных Штатах, едва ли один слыхал об этом самом Коралио. Он знал, что только два человека прочтут его годовой отчет: какой-нибудь мелкий чиновник в департаменте да наборщик казенной типографии. Может быть, наборщик заметит, что в Коралио коммерция начала процветать, и даже скажет об этом два слова приятелю, сидя вечером за кружкой пива и порцией сыра.

Только что он написал: «Крупные экспортёры Соединенных Штатов обнаруживают непонятную косность, позволяя французским и немецким фирмам захватывать в свои руки почти все производительные силы этой богатой и цветущей страны...» — как услыхал хриплый гудок пароходной сирены.

Джедди отложил перо, надел панаму, взял зонт. По звуку он узнал, что прибыл пароход «Валгалла», один из грузовых пароходов компании «Везувий», занимавшейся перевозкой бананов, апельсинов и кокосов. Все в Коралио, начиная от пятилетних *píños*<sup>1</sup>, могли с точностью определить по свистку пароходной сирены, какой пароход прибыл в город.

По извилистым дорожкам, защищенным от солнца, консул пробрался к морю. Благодаря долгой практике он вымеривал свои шаги так аккуратно, что появлялся на песчаном берегу как раз в то время, когда от судна отчаливала шлюпка с таможенными, которые производили осмотр товаров, согласно законам Анчурии.

<sup>1</sup> Младенцев (*исп.*).

В Коралио нет гавани. Такие суда, как «Валгалла», должны бросать якорь за милю от берега. Их нагружают в море; легкие грузовые суденышки подвозят к ним фрукты. К Солитасу, где была отличная гавань, подходило много кораблей, но в Коралио — лишь грузовые, «фруктовые». Редко-редко останавливается в здешних водах каботажное судно, или таинственный бриг из Испании, или — с самым невинным видом — бесстыжая французская шхуна. Тогда таможенные власти удваивают свою бдительность и зоркость. И вот во мраке ночи между прибывшими судами и берегом начинают крейсировать какие-то загадочные шлюпки, а утром в галантерейных и винных лавочонках Коралио замечается множество новых товаров, которых не было еще вчера, в том числе бутылки с тремя звездочками. И говорят, что у таможенных, в карманах их синих штанов с пунцовыми лампасами, в такие дни звенит больше серебра, чем накануне, а в таможне не найти никаких документов, свидетельствующих о получении пошлины.

Шлюпка с таможенными и гичка «Валгаллы» прибыли к берегу одновременно. Впрочем, было так мелко, что пристать к самому берегу не представлялось возможности. Пять ярдов хороших волн отделяло прибывших от суши. Тогда полуголые карибы вошли в воду и понесли на себе судового комиссара с «Валгаллы» и маленьких туземных чиновников в бумажных рубашках, в соломенных шляпах с опущенными большими полями и в сине-пунцовых штанах.

В колледже Джедди славился своею игрою в бейсбол. Теперь он закрыл зонт, воткнул его в песок и, как лихой бейсболист, нагнулся, упираясь руками в колени. Комиссар, встав в позу подающего, швырнул консулу тяжелую пачку газет, перевязанную бечевкой (каждый пароход привозил консулу газеты). Джедди высоко подпрыгнул и с громким «твак!» поймал брошенную пачку. Гуляющие по берегу — почти третья часть населения — стали аплодировать и весело смеяться. Каждую неделю они ждали этого зрелища, и всегда оно доставляло им радость. В Коралио не поощряли новшества.

Консул снова раскрыл свой зонтик и пошел обратно в консульство.

Представитель великой нации занимал деревянный дом о двух комнатах, обведенный с трех сторон галереей из пальмового и бамбукового дерева. Одна комната служила канцелярией и была обставлена весьма целомудренно: письменный стол, гамак и три неудобных стула с тростниковые сиденьями. Висевшие на стене две гравюры изображали президентов Соединенных Штатов, самого первого и самого последнего. Другая комната служила консулу жильем.

Было одиннадцать часов, когда он вернулся с берега: время для первого завтрака. Чанка, карибская женщина, которая стряпала для Джедди, только что накрыла стол на той стороне галереи, которая была обращена к морю и славилась как самое прохладное место в Коралио. На завтрак был подан бульон из акульих плавников, рагу из земных крабов, плоды хлебного дерева, жаркое

из ящерицы, вест-индские маслянистые груши авокадо, только что срезанный ананас, красное вино и кофе. Джедди сел за стол и блаженно-лениво развернул свою пачку газет. Два дня подряд он будет читать здесь, в Коралио, обо всем, что творится на свете, с таким же чувством, с каким мы читали бы маловероятные сведения, сообщаемые той неточной наукой, которая тщится описывать дела марсиан. После того как он прочтет эти газеты, он предоставит их поочередно другим англо-американцам, живущим в Коралио.

Первая попавшаяся ему в руки газета принадлежала к разряду тех обширных печатных матрацев, на которых, как принято думать, читатели нью-йоркских газет вкушают свой литературный сон по воскресеньям. Консул разостлал ее перед собою на столе и подпер ее увесистый край с помощью спинки стула. Потом он не спеша занялся едой; изредка он переворывал страницы и небрежно пробегал глазами по строкам.

Вдруг ему бросилось в глаза что-то страшно знакомое — занимающая половину страницы неряшливо оттиснутая фотография какого-то судна. Лениво всмотревшись в картинку, он всмотрелся и в заглавие статьи, напечатанное рядом крупнейшими буквами.

Да, он не ошибся. Картина изображала «Идалию», восьмисоттонную яхту, принадлежащую, как говорилось в газете, «лучшему из лучших, Мидасу денежного рынка и образцу светского человека, Дж. Уорду Толливеру».

Медленно потягивая черный кофе, Джед-

ди прочитал статью. В ней подробно исчислялось все движимое и недвижимое имущество мистера Толливера, потом столь же подробно была описана его великолепная яхта, а дальше, в конце, сообщалась главная новость, крошечная, как горчичное зерно: мистер Толливер вместе со своими друзьями отправляется в шестинедельное плаванье вдоль среднеамериканского и южноамериканского берега и среди Багамских островов. В числе его гостей находятся миссис Кэмберленд Пейн и мисс Ида Пэйн из Норфолька.

Чтобы угодить своим читателям, автор статейки сочинил целый роман. Он так часто склеивал имена мисс Пэйн и мистера Толливера, что казалось, будто он уже держит над ними брачный венец. Жеманно и двусмысленно играл он словами: «в городе упорно говорят», «носятся слухи», «нас не удивило бы, если бы» — и в конце концов приносил поздравления.

Джедди, окончив завтрак, взял газеты, отправился к концу веранды и, опустившись в свой любимый шезлонг, положил ноги на бамбуковые перила. Он закурил сигару и глядел в море. Ему было приятно сознавать, что прочитанное нисколько не взволновало его. Он радовался, что наконец-то ему удалось победить ту печаль, которая погнала его в добровольное изгнание в эту далекую страну лотоса<sup>1</sup>. Конечно, Иды ему не забыть никогда, но мысль о ней уже не причиняла ему боли. Когда Ида повздорила с ним, он

<sup>1</sup> Лотос — символ забвения всех печалей.

напросился на эту консульскую службу в Коралио, горя желанием отомстить Иде, порвать не только с ней, но и со всей атмосферой, которая окружала ее. И это ему удалось. За весь год, что он находился в Коралио, ни он ей, ни она ему не написали ни единого слова, хотя от немногочисленных друзей, с которыми он еще изредка переписывался, он кое-что узнавал о ней. И все же ему было приятно узнать, что она до сих пор не вышла ни за Толливера, ни за кого другого. Но, очевидно, Толливер еще не потерял надежды.

Впрочем, Джедди теперь все равно. Он вкусили цветов лотоса. Он чувствовал себя превосходно в этой земле вечно жаркого солнца. Те давно минувшие дни, когда он жил в Соединенных Штатах, казались ему раздражающим сном. Дай бог Иде такого же счастья, каким наслаждался он теперь. Воздух бальзамический, как в далеком Авалоне<sup>1</sup>, вольный, безмятежный поток зачарованных дней; жизнь среди этого праздного и поэтического народа, полная музыки, цветов и негромкого смеха; такое близкое море и такие близкие горы; многообразные видения любви, красоты, волшебства, распускающиеся белой тропической ночью, — все это доставляло ему несказанную радость. Кроме того, не нужно забывать и о Пауле Брэнигэн.

Джедди думал жениться на Пауле, конечно если она даст согласие; впрочем, он

<sup>1</sup> Авалон — блаженная страна, куда, по кельтской мифологии, отправляются души убитых героев.

был твердо уверен, что она не откажет. Но почему-то он все не делал предложения. Несколько раз слова уже готовы были сорваться у него с языка, но что-то непонятное всегда мешало. Может быть, здесь сказывался бессознательный страх, что, если он произнесет эти слова, будет порвано последнее звено, соединяющее его с прежним миром.

С Паулой он будет очень счастлив. Мало было в этом городе девушек, которые могли бы сравняться с нею. Она два года училась в монастырской школе в Новом Орлеане, так что, когда на нее находила блажь пощеголять своим образованием, она оказывалась ничуть не хуже девушек из Норфолька и Манхэттена. Но сладостно было смотреть на нее, когда она облекалась в национальный испанский костюм и гуляла по комнате с голыми плечами и широко развевающимися рукавами.

Бернард Брэнигэн был крупнейший купец в Коралио. Он торговал не только на побережье, но и водил караваны мулов, поддерживая оживленную связь с жителями деревень и городишек, находящихся внутри страны. Его супруга была местная аристократка, знатного кастильского рода, но на ее оливковых щеках был коричневый оттенок, свидетельствующий об индейской примеси. От союза ирландца с испанкой произошел, как это часто бывает, отпрыск удивительно красивый и самобытный. И родители и дочь были в высшей степени приятные люди и верхний этаж их дома был давно уже к услугам Джедди и Паулы, стоило ему только собраться с силами и заговорить об этом.

Прошло два часа. Консулу наскучило чтение. Газеты в беспорядке лежали возле него на галерее. Разлегшись в кресле, полусонными глазами смотрел он на раскинувшийся вокруг него рай. Банановая роща широкими своими щитами заслоняла от его взоров море. Отлогий спуск от консульства к берегу был укутан темно-зеленою листвой апельсиновых и лимонных деревьев, только что начавших цвести. Лагуна врезалась в берег, как темный зубчатый кристалл, и над нею вздымалась чуть не к облакам белесая сейба. Зыблющаяся листва кокосовых пальм сверкала огненной декоративной зеленью на сером графите почти неподвижного моря. Джедди смутно чувствовал яркую охру и кричащую красную краску среди слишком зеленого молодого кустарника, чувствовал запах плодов, запах только что расцвевших цветов, запах дыма от глиняной плиты кухарки Чанки, стряпающей под тыквенным деревом, он слышал диксантовый смех туземных женщин, несущийся из какой-то лачуги, слышал песню красногрудки, ощущал соленый вкус ветерка, *diminuendo*<sup>1</sup> еле уловимой прибрежной волны — и понемногу возникло перед ним белое пятнышко, которое все росло и росло и в конце концов выросло в большое пятно на серой поверхности моря.

С ленивым любопытством он следил, как это пятно все увеличивалось и вдруг превратилось в яхту «Идалия», несущуюся на всех парах параллельно берегу. Не меняя позы, Джедди следил за хорошенькой белой

<sup>1</sup> Постепенно затихающий звук (*ital.*).

яхтой, как она быстро приближалась, как поравнялась с Коралио. Потом, выпрямившись, он увидел, как она пронеслась мимо и скрылась из виду. Она прошла совсем близко, в какой-нибудь миle от берега. Он видел, как поблескивали ее надраенные медные части, он видел полоски ее палубных тентов, но подробнее он не мог рассмотреть ничего. Как корабль в волшебном фонаре, «Идалия» проплыла по освещенному кружочку его миниатюрного мира — и пропала. Если бы не осталось легкого дымка на горизонте, можно было бы подумать, что она явление нематериального мира, химера его праздного мозга.

Джедди вернулся в канцелярию и снова засел за отчет. Если чтение газетной статьи не слишком растревожило его, то это безмолвное движение внезапно появившейся яхты умиротворило его окончательно. Она принесла с собой мир и покой, ибо у него уже не осталось и тени сомнения. Он знал, что люди, сами не сознавая того, часто продолжают лелеять надежды. Теперь, когда Ида проехала по морю две тысячи миль и только что промчалась мимо него, не подав ему знака, даже подсознательно ему нечего больше было цепляться за прошлое.

После обеда, когда солнце спряталось за гору, Джедди вышел прогуляться по узкой полоске берега, под кокосовыми пальмами. Легкий ветерок дул с моря, испещряя поверхность воды еле заметными волнами.

Крошечный девятый вал, нежно шелестя по песку, прибил к берегу какой-то блестящий и круглый предмет. Волна отхлынула,

и предмет покатился назад. Следующая волна снова вынесла его на песок, и Джедди поднял его.

Предмет оказался винной бутылкой из бесцветного стекла. У бутылки было длинное горло. Пробка была вдавлена очень глубоко и туго, и горло запечатано темно-красным сургучом. В бутылке не было ничего, кроме листа скомканной бумаги, которую, очевидно, смяли, когда протискивали в узкое горлышко. На сургуче был оттиск кольца с какой-то монограммой; но, должно быть, оттиск делали впопыхах: разобрать инициалы было невозможно. Ида Пэйн всегда носила перстень с печаткой и любила его больше других колец. Джедди казалось, что на сургуче оттиснуты знакомые буквы И.П., и почему-то он почувствовал волнение. Это напоминание гораздо интимнее отражало ее личность, чем та яхта, на которой она только что промчалась. Он вернулся домой и поставил бутылку на письменный стол.

Сбросив шляпу и пиджак, он зажег лампу, так как ночь стремительно сгущалась после коротких сумерек, и стал внимательно рассматривать свою морскую добычу.

Приблизив бутылку к свету и понемногу поворачивая ее, он в конце концов разглядел, что она заключала в себе два листа мелко исписанной почтовой бумаги, что бумага была того же формата и цвета, как та, на которой писала свои письма Ида Пэйн, и что почерк, насколько он мог установить, был ее. Грубое стекло так искривляло лучи света, что Джедди не мог прочитать ни единого слова, но некоторые заглавные буквы,

которые ему удалось рассмотреть, были написаны Идой, это было совершенно бесспорно.

С еле заметной улыбкой смущения и радости Джедди снова поставил бутылку на стол и рядом с нею аккуратно расположил три сигары. Потом он пошел на галерею, принес оттуда шезлонг и комфортабельно разлегся в нем. Он будет курить сигары и размышлять над создавшейся проблемой.

А проблема была трудная. Лучше бы ему не вылавливать этой бутылки! Но бутылка была перед ним. Море, откуда приходит так много тревог, — зачем оно пригнало к нему эту бутылку, разрушившую его душевный покой?!

В этой сонной стране, где времени было больше, чем нужно, он привык размышлять даже над ничтожными вещами.

Много самых причудливых гипотез пришло ему в голову по поводу этой бутылки, но каждая в конце концов оказывалась вздором.

Такие бутылки порою бросают с тонущих или потерпевших аварию кораблей, вверяя этим ненадежным вестникам призыв о помощи. Но ведь не прошло и трех часов с тех пор, как он видел «Идалию»: она была цела и невредима. Может быть, на яхте взбунтовались матросы, пассажиры заперты в трюме и письмом, заключенным в бутылке, молят о помощи? Нет, это слишком неправдоподобно, и, кроме того, неужели взволнованные узники стали бы исписывать мелким почерком четыре страницы, чтобы подробно доказывать, почему их необходимо спасти?

Так постепенно, путем исключения, он забраковал все эти невероятные гипотезы и остановился на одной, гораздо более правдоподобной: письмо в бутылке было адресовано ему. Ида знает, что он в Коралио; проезжая мимо, она бросила свое послание в море, а ветер пригнал его к берегу.

Едва Джедди пришел к такому выводу, как на лбу у него прорезалась морщинка и возле губ появилось выражение упрямства. Он продолжал сидеть, глядя в открытую дверь на гигантских светляков, бредущих по тихим улицам.

Если это послание было от Иды, о чем она могла писать ему, как не о примирении? Но в таком случае зачем она вверилась сомнительной и ненадежной бутылке? Ведь для писем существует почта. Бросать в море бутылку с письмом! Это легкомыслie, это дурной тон. Это даже, если хотите, обида!

При этой мысли в нем пробудилась гордыня, которая заглушила все прочие чувства, воскрешенные в нем найденной бутылкой.

Джедди надел пиджак и шляпу и вышел. Вскоре он оказался на краю маленькой площади, где играл оркестр и люди, свободные от всяких дел и забот, гуляли и слушали музыку. Пугливые сеньориты то и дело проносились мимо него со светляками в черных, как смоль, волосах, улыбаясь ему робко и льстиво.

Воздух одурял ароматами жасмина и апельсиновых цветов.

Консул замедлил шаги возле дома, где жил Бернард Брэнигэн. Паула качалась в гамаке на галерее. Она выпорхнула, словно

птица из гнезда. При звуках голоса Джедди на щеках у нее выступила краска.

Ее костюм очаровал его: кисейное платье, все в оборках, с маленьким корсажем из белой фланели — какой стиль, сколько изящества и вкуса! Он предложил ей пойти прогуляться, и они побрали к старинному индейскому колодцу, выкопанному под горой у дороги. Сели рядом на колодезном срубе, и там Джедди наконец-то сказал те слова, которых от него так давно ждали. И хотя он знал, что ему не будет отказа, он весь задрожал от восторга, увидев, как легка была его победа и сколько счастья доставила она побежденной. Вот сердце, созданное для любви и верности. Не было ни кокетливых ужимок, ни расспросов, ни других требуемых приличиями капризов.

Когда Джедди в этот вечер целовал Паулу у дверей ее дома, он был счастлив, как никогда.

Здесь, в этом царстве лотоса,  
В этой обманной стране,  
Покоиться в сонной истоме —

казалось ему, как и многим мореходам до него, самым упоительным и самым легким делом. Будущее у него идеальное. Он очутился в раю, где нет никакого змея. Его Ева будет воистину частью его самого, недоступная соблазнам и оттого лишь более соблазнительная. Сегодня он избрал свою долю, и его сердце было полно спокойной, уверенной радости.

Джедди вернулся к себе, насвистывая эту сладчайшую и печальнейшую любовную

песню, «La Golondrina»<sup>1</sup>. У двери к нему на-встречу прыгнула, весело болтая, его ручная обезьянка. Он направился к письменному столу, чтобы достать обезьяне орешков. Шаря в полутьме, его рука наткнулась на бутылку. Он отпрянул, словно дотронулся до холодного, круглого тела змеи.

Он совсем забыл, что существует бутылка.

Он зажег лампу и стал кормить обезьянку. Потом очень старательно закурил сигару, взял в руки бутылку и пошел по дорожке к берегу. Была луна, море сияло. Ветер переменился и, как всегда по вечерам, дул с берега.

Приблизившись к самой воде, Джедди размахнулся и швырнул бутылку далеко в море. На минуту она исчезла под водой, а потом выпрыгнула, и ее прыжок был вдвое выше ее собственной высоты. Джедди стоял неподвижно и смотрел на нее. Луна светила так ярко, что ему было ясно видно, как она прыгает по мелким волнам — вверх и вниз, вверх и вниз. Она медленно удалялась от берега, вертясь и поблескивая. Ветер уносил ее в море. Вскоре она превратилась в блестящую точку, то исчезающую, то вновь появляющуюся, а потом ее тайна исчезла навеки в другой великой тайне: в океане. Джедди неподвижно стоял на берегу, курил сигару и смотрел в море.

— Симон! О Симон! Проснись же ты, Симон! — орал чей-то звонкий голос у края воды.

<sup>1</sup> Ласточка (*исп.*).

Старый Симон Крус был метис, рыбак и контрабандист, живший в хижине на берегу. Он только что вздрогнул, и вот его будят.

Он вышел из хижины и увидел своего знакомого, младшего офицера с «Валгаллы», только что причалившего в шлюпке к берегу. Его сопровождали три матроса.

— Вставай, Симон, — крикнул офицер, — и разыщи доктора Грэгга, или мистера Гудвина, или кого другого из приятелей мистера Джедди и тащи их поскорее сюда.

— Святители небесные! — воскликнул сонный Симон. — Не случилось ли с консулом беды?

— Он под этим брезентом, — сказал офицер, указывая на свою щлюпку. — Еще немного, и был бы утопленником. Мы увидели его с судна, за милю от берега; он плыл, как сумасшедший, за какой-то бутылкой... но бутылка уплывала все дальше. Мы спустили ялик — и к нему. Казалось, что вот-вот он поймает бутылку, нужно было только руку протянуть, но тут он ослабел и погрузился в воду. Хорошо, что мы подоспели вовремя. Может быть, он еще жив, но тут нужен доктор, — это уж ему решать.

— Бутылка? — сказал старик, протирая глаза. Он еще не совсем проснулся. — Где бутылка?

— Плывет где-нибудь там, — сказал моряк, тыкая большим пальцем по направлению к морю. — Да проснись же ты, Симон!

Гудвин и пылкий патриот Савалья сделали все возможное, чтобы не дать президенту Мирафлоресу скрыться. Они послали надежных людей в Солитас и Аласан, чтобы предупредить тамошних вожаков о побеге и выставить патрули, которые должны были сторожить побережье и во что бы то ни стало арестовать президента и его прекрасную подругу, если они появятся на берегу. После этого оставалось только позаботиться об установлении таких же наблюдательных постов вокруг Коралио и ждать, чтобы птицы прилетели. Силки были расставлены отлично. Дорог было так мало, количество мест, где можно было отчалить от берега, было так ограничено, все эти места были под такой сильной охраной, что показалось бы чудом, если бы из этой сети ускользнуло столько анчурийского достоинства, анчурийской романтики и денег. Президент, несомненно, сделает попытку достигнуть берега тайно; втихомолку попробует он пробраться на корабль в каком-нибудь укромном местечке.

На четвертый день после того, как пришла телеграмма, трижды закричала сирена, и в водах Коралио бросил якорь норвежский пароход «Карлсфин». Он не принадлежал фруктовой компании «Везувий», а действовал, как дилетант, работая на мелкую торговую фирму, которая была слишком ничтожна, чтобы соперничать с компанией «Везувий». Рейсы «Карлсфина» зависели от со-

стояния рынка. Иногда он регулярно курсировал между Новым Орлеаном и Центральной Америкой, а потом отправлялся в Мобил или в Чарлстон, а то и в Нью-Йорк, смотря по тому, где повышался спрос на фрукты.

Гудвин бродил по берегу с обычной толпой ротозеев, собравшихся посмотреть на новоприбывшее судно. Теперь, когда каждую минуту можно было ждать беглеца-президента, требовалась строгая, неослабная бдительность. Каждое судно, появившееся у берегов, можно было рассматривать как потенциальное орудие бегства; даже шлюпки и тузики, составлявшие флотилию города, были взяты под сильнейшее подозрение. Гудвин и Савалья незаметно обследовали всю свою сеть, проверяя, нет ли где порванной петли, откуда могла бы ускользнуть их добыча.

Таможенные чиновники важно уселись в казенную шлюпку и поплыли к «Карлсфину». Пароходная шлюпка привезла на берег комиссара с бумагами, увезла с собой карантинного доктора с зеленым зонтиком и больничным термометром. Потом чернокожие начали нагружать на свои плоскодонки гроздья бананов, сложенные на берегу большими грудами, и отвозить их на пароход. Так как пассажиров на этом пароходе не было, власти скоро покончили со всеми формальностями. Комиссар заявил, что судно останется на якоре лишь до утра и потому будет грузиться всю ночь. По его словам, «Карлсфин» пришел из Нью-Йорка, куда он в последний раз отвозил партию кокосовых орехов и апельсинов. Для ускорения работы были пущены в ход даже две или три паро-

ходные шлюпки, ибо капитан хотел вернуться как можно скорее, чтобы не упустить возможностей, создавшихся благодаря некоторой нехватке фруктов на рынках Штатов.

Около четырех часов близ Коралио появилось следом за роковой «Идалией» еще одно морское чудовище, к каким в здешних водах еще не успели привыкнуть, — изящная паровая яхта, выкрашенная в бледно-желтую краску, четко очерченная, словно гравюра. Красавица неслась к берегам, распиливая волны легко, как утка в лохани с дождевой водой. Скоро к берегу приблизилась быстроходная шлюпка, управляемая гребцами в матросской форме, и на прибрежный песок выскоцил коренастый мужчина.

Поглядев как бы с неодобрением на довольно пеструю толпу туземцев, мужчина прямо направился к Гудвину, который изо всех на берегу был самым несомненным англосаксом. Гудвин вежливо приветствовал его.

Из дальнейшего разговора выяснилось, что фамилия новоприбывшего Смит и что прибыл он на яхте. Тоющие биографические данные! Ведь яхта и без того была у всех на виду, а о том, что фамилия незнакомца Смит, можно было догадаться по его наружности. Но Гудвину, видавшему виды, бросилось в глаза несоответствие между Смитом и его яхтой. У Смита голова была, как пуля, у Смита были тупые и косые глаза, усы у Смита были, как у бармена, который смешивает в кабаке коктейли. И если только он не переоделся по прибытии в здешние воды, он, значит, имел дерзость оскорблять палубу своей благородной яхты котелком

светло-серого цвета, клетчатым костюмчиком и водевильным галстуком. Люди, имеющие собственные яхты, обычно находятся в большей гармонии с ними.

Было ясно, что у Смита есть какое-то дело, но он не афишировал себя. Он сказал несколько слов о здешней местности, заметив, что она точка в точку похожа на картинки в географии; потом он спросил, где живет консул Соединенных Штатов. Гудвин указал ему на тряпицу в полосках и звездах, висевшую над маленьким консульским домиком за апельсинными деревьями.

— Вы, несомненно, застанете консула дома, — сказал Гудвин. — Мистер Джедди чуть не утонул несколько дней назад, он заплыл слишком далеко во время купания. Доктор запретил ему пока что выходить из дома.

Смит пустился всапахивать ногами песок по дороге в консульство. Его крикливыи и пестрый наряд был в жестокой вражде с мягкими — синими и зелеными — красками тропиков.

Джедди лежал в гамаке, немного бледный и вялый. В ту ночь, когда шлюпка «Валгаллы» доставила на берег его бездыханное тело, доктор Грэгг и другие приятели промучились над ним два-три часа, чтобы сохранить искру жизни, еще тлевшую в нем. Бутылка с бесплодным посланием так и умчалась в море, и созданная ею проблема свелась к простой задачке на сложение: по правилам арифметики один да один — два; по правилам романтики — один.

Существует забавная старинная теория, что у человека могут быть две души — одна

внешняя, которая служит ему постоянно, и другая внутренняя, которая пробуждается изредка, но, проснувшись, живет интенсивно и ярко. Подчиняясь первой, человек бреется, голосует, платит налоги, содержит семью, покупает в рассрочку мебель и вообще ведет себя нормально. Но стоит внутренней душе взять верх, и в один миг тот же человек начинает изливать на свою спутницу жизни поток яростного отвращения; не успеете вы оглянуться, как он изменяет свои политические взгляды, наносит смертельное оскорбление своему лучшему другу, удаляется в монастырь или в дансинг, исчезает, вешается, или — пишет стихи и песни, или целует жену, когда она его о том не просила, или отдает все свои сбережения на борьбу с каким-нибудь микробом. Потом внешняя душа возвращается, и перед нами снова наш уравновешенный, спокойный гражданин. То, что было, это всего лишь бунт Индивидуума против Порядка; надо было перетряхнуть атомы человека, чтобы дать им снова осесть на положенных местах.

У Джедди встрыска оказалась не очень серьезной — всего-навсего прогулка вплавь по теплому морю, погоня за столь прозаическим предметом, как дрейфующая бутылка. И теперь он снова стал самим собой. У него на письменном столе лежало готовое к отправке прошение о скорейшем его увольнении с должности консула. Бернард Брэнигэн не терпел отлагательств и сразу предложил Джедди стать компаньоном в его прибыльных и разнообразных делах, а Паула с упоением строила планы новой мебли-

ровки и нового убранства верхнего этажа Брэнингэнова дома.

Консул приподнялся в гамаке, увидев у себя столь заметного гостя.

— Сидите, сидите, любезнейший! — сказал гость, широко помахивая ручищкой. — Моя фамилия Смит. Приехал на яхте. Вы как будто консул, не так ли? Там, на берегу, стоит вот этакий верзила, очень важный, он показал мне, как пройти. И я подумал: зайду. Окажу решпект родному флагу.

— Присядьте, — сказал Джедди. — У вас великолепная яхта. Я все время любуюсь ею, с тех пор как она появилась у нас. И ход у нее, кажется, быстрый. А каков тоннаж?

— Черт ее знает! — сказал Смит. — Сколько она весит, для меня безразлично. Но ход у нее первый сорт: никому не даст пылить себе в нос. Зовут ее «Бродяга», и это моя первая поездка. Надумал прокатиться, поглядеть на места, откуда к нам привозят перец, резину и революции. Я и не знал, что тут столько пейзажей. Куда ни пойдешь — пейзаж. Центральный парк в Нью-Йорке и тот, пожалуй, спасует перед этим. Тут у вас и кокосы, и мартышки, и попки, не правда ли?

— Да, — ответил Джедди. — Я совершенно уверен, что наши флора и фауна могли бы затмить флору и фауну Центрального парка.

— Возможно! — согласился Смит весьма охотно. — Я их не видел. Но думаю, что по животной и растительной части вы нас перешибете. А много ли у вас путешественников?

— Путешественников? — переспросил консул. — Вы, должно быть, хотите сказать, пассажиров, приезжающих на пароходах? Нет, мало кто останавливается в Коралио. Разве что деловой человек, ищущий, куда поместить капиталы, а туристы и любители красивых видов обычно проезжают дальше, в те города, где есть гавани.

— А вот этот пароход, который нагружают бананами? — сказал Смит. — Есть на нем пассажиры какие-нибудь?

— Это «Карлсефин», — сказал консул. — Фруктовое судно без правильных рейсов. Сейчас оно, кажется, пришло из Нью-Йорка. На нем нет пассажиров. Я видел его шлюпку, когда она шла к берегу, там не было никого постороннего. Ведь это, в сущности, наше единственное развлечение — рассматривать пароходы, которые прибывают к нам; всякий пассажир — большое событие в городе. Если вы намерены пожить некоторое время в Коралио, мистер Смит, я буду рад познакомить вас с несколькими здешними жителями. Здесь есть американцы — пять-шесть человек, — с которыми приятно познакомиться, а также лучшие представители местного общества.

— Спасибо, — сказал Смит. — Не беспокойтесь! Рад бы поболтать с земляками и прочее, но я здесь на самое короткое время. Этот важный там, на берегу, говорил о каком-то докторе, не можете ли вы сказать мне, где этот доктор живет? «Бродяга» не так твердо стоит на ногах, как гостиница на Бродвее, в Нью-Йорке, и с человеком то и дело приключается морская болезнь. Хорошо

бы запастьись пилюлями в дорогу; горсть маленьких и сладких пилуль не помешает.

— Вернее всего вы застанете доктора Грэгга в гостинице,— сказал консул.— Гостиница видна отсюда: то двухэтажное здание с балконом, где апельсинные деревья.

Отель де лос Эстранихерос был мрачен, его избегали и свои и чужие. Он стоял на углу улицы Гроба Господня. К одному его крылу примыкала роща молодых апельсинных деревьев, окруженная низкой каменной оградой, через которую легко мог перешагнуть человек высокого роста. Дом был оштукатурен, соленый ветер и солнце расцветили его пятнами всевозможных оттенков. На верхний балкон его выходила дверь и два окна с деревянными жалюзи вместо рам.

Из нижнего этажа две двери открывались на узкий каменный тротуар. Здесь внизу помещалась *pulpería* — распивочная, которую содержала хозяйка гостиницы, мадама Тимотеа Ортис. Позади прилавка на бутылках с водкой, анизовкой, шотландской горькой и дешевыми винами лежала густая пыль, разве что редкий гость оставит на бутылке следы своих пальцев. В верхнем этаже было пять или шесть номеров, которые почти всегда пустовали. Редко-редко какой-нибудь плантатор прискакет на коне из своего сада, чтобы потолковать со своим агентом по продаже фруктов, и проведет меланхолическую ночь в одном из верхних номеров; иногда мелкий чиновник-туземец, приехавший сюда с помпой по какому-нибудь пустяковому казенному делу, в испуге предаст себя гробовому гостеприимству мадамы. Но мадама,

вполне довольная, сидела за стойкой и не пыталась бороться с судьбой. Если кому нужно поесть, или выпить, или переночевать в отеле де лос Эстранихерос — милости просим, пожалуйста. *Está bueno*<sup>1</sup>. Если же никто не приходит — ну и что же! Никто не приходит. *Está bueno*.

Когда изумительный Смит пробирался по зыбким тротуарам улицы Гроба Господня, единственный постоянный житель этого увядшего отеля сидел возле дверей, услаждая себя дуновением моря.

Доктору Грэггу, карантинному врачу, было лет пятьдесят — шестьдесят. Он обладал румяными щеками и самой длинной бородой между Огненной Землей и Топикой. Должность карантинного врача досталась ему потому, что медицинский департамент в морском городке некоего южного штата испугался желтой лихорадки — этого древнего бича всех южных портоз. Доктору Грэггу вменялось в обязанность осматривать команду и пассажиров всякого судна, покидающего Коралио, — не окажется ли у них ранних симптомов болезни. Обязанность легкая, жалованье — для живущего в Коралио — большое. Свободного времени много, и милый доктор стал пополнять свои заработки частной практикой среди жителей всего побережья. По-испански он не знал и десяти слов, но это не смущало его: не нужно быть лингвистом, чтобы щупать пульс и получать гонорар. Если прибавить к этому, что доктор постоянно стремился рассказать одну исто-

<sup>1</sup> Отлично (исп.).

рию по поводу трепанации черепа, что ни разу никто не дослушал этой истории до конца и что водку он считал профилактическим средством, то этим будут исчерпаны все его наиболее интересные качества.

Доктор вынес на улицу стул. Он сидел без пиджака, прислонившись к стене, курил и поглаживал бороду. В его выцветших голубеньких глазках выражалось изумление, когда он увидел Смита в костюме всех цветов радуги.

— Вы и есть доктор Грэгг, не так ли? — сказал Смит, теребя украшавшую его галстук булавку: собачью голову. — Констебль... то есть консул, сказал мне, что вы живете в этом караван-сарае. Моя фамилия Смит. Я приехал на яхте. Просто так, для прогулки: поглядеть на обезьян и ананасы. Зайдем-ка под крышу, док, и выпьем. Вид у этого кафе паршивый, но авось и в нем найдется влага.

— Я с удовольствием разделю ваше общество, сэр, — сказал доктор Грэгг, бодро вставая, — и позволю себе проглотить одну рюмочку водки. Я нахожу, что в качестве профилактического средства небольшая порция водки необычайно полезна при здешних климатических условиях.

Они направились к пульперии, как вдруг туземец, босой, бесшумно приблизился к ним и обратился к доктору на испанском языке. Он весь был серо-желтого цвета, как перезрелый лимон; на нем была рубаха из бумажной ткани, рваные полотняные брюки и кожаный пояс. Лицо у него было, как у зверька, подвижное и шуструе, но проблесков ума было мало. Он заговорил взволнованно

и так серьезно, что жаль было глядеть, как столько пыла пропадает напрасно.

Доктор Грэгг пощупал его пульс.

— Больны?

— *Mi mujer está enferma en la casa*, — сказал человек; он сообщил на единственном доступном ему языке, что его жена лежит больная в лачуге под пальмовой крышей.

Доктор вытащил из кармана горсточку капсюль, наполненных каким-то белым порошком. Он отсчитал десять штук, дал их туземцу и выразительно поднял указательный палец.

— Принимай по одной каждые два часа.

Тут он поднял два пальца и с чувством помахал ими перед лицом туземца. После этого он достал часы и дважды обвел пальцем вокруг циферблата. Затем два пальца опять потянулись к самому носу пациента.

— Два... два... два часа... — повторил доктор.

— Si, Señor<sup>1</sup>, — безрадостно сказал пациент.

Он вытащил из своего кармана дешевые серебряные часы и сунул их доктору в руку.

— Мой принесет, — говорил он, мучительно борясь с теми немногими английскими словами, которые были случайно известны ему, — мой принесет завтра другие часы.

Потом он удалился, унылый, со своими капсюлями.

— Невежественный народ, сэр! — сказал доктор, опуская часы в карман. — Кажется, этот субъект смешал мой рецепт с гонораром.

<sup>1</sup> Да, сеньор (*исп.*).

Ну, не беда. Он все равно мой должник. А других часов — это он врет — не принесет! Разве можно полагаться на этих людей? Обещают и надают... Ну, а как же наша выпивка, мистер Смит? Каким путем вы прибыли в Коралио? Я и не знал, что в последнее время, кроме «Карлсефина», нас посетили другие суда.

Они остановились у покинутой стойки; доктор не промолвил больше ни слова, но мадама уже поставила перед ним бутылку. На этой бутылке пыли не было.

После второго стакана Смит сказал:

— Вы говорите, док, на «Карлсефине» нет пассажиров. А уверены вы в этом, мой милый? Как будто на берегу говорили, что есть... Двое или трое.

— Ни одного,— сказал доктор.— Я сам делал медицинский осмотр. Видел всю команду, там нет ни одного пассажира. Пароход снимется с якоря, чуть только закончит погрузку, то есть рано утром, на рассвете... Все формальности уже закончены. Нет, там нет никаких пассажиров. Как вам нравится этот коньяк? Его привезла французская шкуна с месяц назад, целых две шлюпки с коньяком. Пари держу, что наша знаменитая республика не получила за него ни реала пошлины. Но вы не желаете пить? Тогда выйдем на улицу и посидим в холодке. Не часто нам, изгнанникам, случается беседовать с людьми из внешнего мира.

Доктор вынес на улицу еще один стул, поставил его рядом со своим и усадил нового знакомого.

— Вы человек бывалый,— сказал он.—

Вы много путешествовали, много видели. Ваше суждение в вопросах этики, а также в вопросах чести, права и профессионального долга имеет значительный вес. Я был бы рад, если бы вы позволили мне рассказать один случай, который в летописях современной медицины является небывалым событием. Лет девять назад, когда я занимался практикой в моем родном городе, меня пригласили к больному, у которого была контузия черепа. Осколок кости нажимает на мозг — таков был мой диагноз. Хирургическая операция, называемая трепанацией черепа, была неизбежна. Но так как пациент был джентльменом богатым и уважаемым в городе, я считал необходимым пригласить на консилиум...

Смит вскочил с места и с видом нежной мольбы положил руку на плечо собеседнику.

— Вот что, док! — сказал он торжественным тоном.— Дело это очень интересное, и мне будет жаль не дослушать до конца. Я уже по началу чувствую, что дальше будет нечто замечательное, и я намерен изложить всю историю, если позволите, на ближайшем медицинском конгрессе. Но у меня срочные дела. Я живо управлюсь с ними и опять приду к вам вечерком. И вы доскажете мне всю эту историю. Ладно?

— Конечно, конечно,— сказал доктор.— Идите раньше по своим делам, кончайте их и приходите сюда. Я подожду. Дело в том, что на консилиуме один из самых выдающихся врачей утверждал, будто у больного в мозгу сгустки крови, другой говорил, что нарвы, но я...

— Что вы делаете? Зачем вы рассказы-

ваете? Этак вы испортите всю вашу историю. Подождите, пока я вернусь. Тогда вы размotaете всю эту повесть медленно, как нитку с катушки.

Горы подняли свои мускулистые плечи, чтобы коням Аполлона промчаться по ним на покой, день умер и в лагунах, и в тенистых банановых рощах, и в мангровых болотах, откуда выползли синие крабы для ночных прогулок по земле. И наконец, он умер на высочайших вершинах. Потом — краткие сумерки, эфемерные, как полет мотылька, и вот верхнее око Южного Креста выглянуло из-за пальмовой аллеи, и огромные светляки возвещают своими факелами тихое пришествие ночи.

В море «Карлсфин» качался на якоре. Казалось, что его огни пронзают воду своими дрожащими копьями до неизмеримых глубин. Карибы грузили пароход, то и дело подъезжая к нему на больших плоскодонках, доверху полных бананами.

На песчаном берегу, прижавшись спиной к кокосовой пальме, весь окруженный окурками бесчисленных сигар, сидел Смит и глядел неустанно, не сводя своих острых глаз с парохода.

Этот нелепый турист почему-то сосредоточил все свое внимание на невиннейшем «фруктовом» пароходе. Дважды ему было сказано, что там нет ни одного пассажира. И все же с настойчивостью, которая едва ли подобала столь беспечному гуляке, он проверял эти сведения собственными глазами. Изумительно похожий на какую-то яркую и пеструю ящерицу, он скрючился у подно-

жия кокосовой пальмы и кругленькими бойкими глазенками ящерицы вонзился в пароход «Карлсфин».

На белом песке покоялась еще более белая, принадлежавшая яхте гичка под охраной одного из ее белых матросов. Неподалеку, в прибрежной пульперии на Калье Гранде, три других матроса с яхты сражались друг с другом вокруг единственного в Коралио бильярда. Казалось, был отдан приказ, чтобы лодка была в любую минуту готова к отплытию. Вообще в атмосфере было ожидание, предчувствие — вот-вот что-то должно случиться, что совершенно чуждо воздуху Коралио.

Словно какая-то разноцветная залетная птица, Смит опустился на этот усеянный пальмами берег лишь для того, чтобы почистить перышки и опять улететь на бесшумных крыльях. Когда забрезжило утро, уже не было ни Смита, ни гички, ни яхты. Смит никому не оставил никаких поручений; он не оставил следов, по которым могли бы прочесть его тайну на песчаном прибрежье Коралио. Он появился, поговорил на своем странном жаргоне, жаргоне кафе и асфальта; посидел под кокосовой пальмой — и сгинул. На следующее утро Коралио, бессмитный, ел бананы и говорил: «Человек в раскрашенных одеждах ушел прочь». Вместе с сиестой<sup>1</sup> весь этот случай отошел, зевая, в историю.

Та же участь до поры до времени должна постигнуть Смита и в нашем рассказе. Пусть подождет за кулисами. Он никогда не вер-

<sup>1</sup> Послеобеденный сон (*исп.*).

нется в Коралио, никогда не вернется к доктору Грэггу, который напрасно сидит у порога, поглаживая роскошную бороду и готовясь обогатить своего залетного слушателя волнующей повестью о трепанации черепа и кознях завистников.

Но все же Смит снова возникнет среди этих разрозненных странец: он пропорхнет среди них, чтобы придать им ясность. Тогда он поведает нам, почему он разбросал в ту ночь столько взволнованных сигарных окурков вокруг кокосовой пальмы. Он обязан рассказать нам это; ибо, когда перед самым рассветом он отбыл на своем «Бродяге», он увез с собой и ключ к загадке, такой большой и нелепой, что немногие в Коралио осмеливались хотя бы загадать ее.

#### IV

### ПОЙМАНЫ !

Президенту Мирафлоресу и его спутнице было мудрено ускользнуть. Сам доктор Савалья отправился в порт Аласан выставить в этом пункте сторожевые патрули. И в Солитасе это дело было поручено человеку надежному: либеральному патриоту Варрасу. Наблюдение за окрестностями Коралио взял на себя Гудвин.

Известие о побеге президента было сообщено лишь наиболее верным членам честолюбивой политической партии, жаждавшей захватить в свои руки власть. Телеграфный провод, соединяющий город с Сан-Матео, был перерезан далеко в горах одним из подручных Савальи. Когда еще отремонтируют

провод, когда еще пошлют из столицы депешу, а беглецы уже достигнут берега и будут пойманы или успеют ускользнуть.

Гудвин поставил вооруженных часовых вдоль берега — на милю от Коралио — справа и слева. Часовым было строго наказано с особым вниманием следить по ночам, чтобы не дать Мирафлоресу возможности воспользоваться членоком или шлюпкой, случайно найденными у края воды. Законспирированные патрули расхаживали по улицам Коралио, готовые схватить беглого сановника, как только он появится в городе.

Гудвин был уверен, что все меры предосторожности приняты. Он ходил по улицам, которые, при всех своих громких названиях, были всего лишь узкими, заросшими травой переулками, и глядел во все глаза, внося и свою лепту в дело охраны Коралио, порученное ему Бобом Энглхартом.

Город уже вступил в медлительный круг своих ежевечерних развлечений. Несколько томных денди, облаченных в белые костюмы, с развевающимися лентами галстука, размахивая бамбуковыми тросточками, прошли по тропинкам к своим сеньюритам. Влюбленные в музыку либо неустанно растягивали плаксивое концертино, либо в окнах и в дверях перебирали унылые гитарные струны. Изредка пронесется случайный солдат, без мундира, босой, в соломенной шляпе с широкими обвисшими полями, балансируя длинным ружьем. Повсюду в густой листве гигантские древесные лягушки квакали раздражающе громко. Дальше, у опушки джунглей, где кончались тропинки, спесивое молчание леса

нарушали гортанные крики мародеров-павианов и кашель аллигаторов в черных устьях болотистых рек.

К десяти часам улицы опустели. Болезненно-желтые огоньки керосиновых фонарей были погашены каким-нибудь экономным приспешником власти. Коралио спокойно почивал между нависшими горами и вторгшимся морем, как похищенный младенец на руках у своих похитителей. Где-нибудь там, в этой тропической тьме, может быть, уже внизу у моря, авантюрист-президент и его подруга продвигались к краю земли. Игра «Лиса-на-рассвете» скоро, скоро придет к концу.

Гудвин своей обычной неспешной походкой прошел мимо длинного и низкого здания казарм, где отряд анчурийского войска предавался мирному сну, воздев к небесам свои голые пятки. По закону, лица гражданского звания не имели права подходить так близко к этой боевой цитадели после девяти часов вечера, но Гудвин всегда забывал о таких пустяках.

— Quién vive? <sup>1</sup> — крикнул часовой, с усилием вскидывая свой длинный мушкет.

— Americano,— проворчал Гудвин, не поворачивая головы, и прошел беспрепятственно.

Направо он повернул и налево, по направлению к Национальной площади. Улицу, по которой он шел, пересекала улица Гроба Господня. За несколько шагов до нее Гудвин остановился как вкопанный.

<sup>1</sup> Кто идет? (исп.).

Он увидел высокого мужчину, одетого в черное, с большим саквояжем в руке. Мужчина быстрыми шагами шел к берегу вниз по улице Гроба Господня. Вторично взглянув на него, Гудвин увидел, что рядом с ним идет женщина, которая не то торопит его, не то помогает ему продвигаться возможно быстрее. Шли они молча. Они жили не в Коралио, эти двое.

Гудвин шел за ними, ускорив шаги, но без всяких ловких шпионских ужимок, столь любезных сердцу ищейки. Он был слишком широк и осанист, инстинкты сыщика ему не пристали. Он считал себя агентом анчурского народа и, не будь у него политических соображений, тут же потребовал бы возвращения денег. Его партия поставила себе целью найти похищенную сумму, вернуть ее в казну и добиться власти без кровопролития и сопротивления.

Неизвестные остановились у входа в отель де лос Эстронхерос, и мужчина постучался в дверь с нетерпением человека, не привыкшего, чтобы его заставляли ждать. Мадама долго не отзывалась; наконец в окне показался свет, дверь отворилась, и гости вошли.

Гудвин стоял в тихой улице и закурил еще одну сигару. Через две-три минуты на верху сквозь щели жалюзи пробился слабый свет.

— Они заняли номера, — сказал Гудвин.— Значит, ничего еще не готово к отплытию.

В эту минуту мимо прошел Эстебан Дельгадо, парикмахер, враг существующей влас-

ти, веселый заговорщик против всякого застоя. Этот парикмахер был одним из отъявленных гуляк Коралио, его часто можно было встретить на улице в одиннадцать часов — время позднее! Он был либералом и напыщенно приветствовал Гудвина как соратника в борьбе за свободу. Однако видно было, что у него какие-то важные вести.

— Подумайте только, дон Франк,— шептал он тем голосом, каким во всем мире говорят заговорщики.— Сегодня я брил *la barba* — то, что вы зовете бородой, у самого Presidente. Вы только подумайте! Он послал за мною. В бедной *casita* одной здешней старухи он ждал меня — в очень маленьком домике, в темном месте. *Caramba!* До чего дошло — el Señor Presidente должен так таться и прятаться. Ему, кажется, не очень хотелось, чтобы его узнали, но, черт возьми, можете вы брить человека и не увидеть его лица? Он дал мне эту золотую монетку и сказал, чтобы я помалкивал.

— А раньше вы видали когда-нибудь президента Мирафлореса? — спросил Гудвин.

— Видел раз, — отвечал Эстебан. — Он высокий, у него была борода очень черная и большая.

— Был ли кто в комнате, когда вы брили его?

— Старуха краснокожая, сеньор, та, которой принадлежит эта хижина, и одна сеньорита, о, такая красавица — *ah, dios!*

— Отлично, Эстебан, — сказал Гудвин. — Это очень хорошо, что вы поделились со мной вашим парикмахерским опытом. Будущее правительство не забудет вам этой услуги.

И Гудвин вкратце рассказал парикмахеру о том кризисе, который переживает страна, и предложил ему остаться здесь, на улице, возле отеля, и следить, чтобы никто не пытался бежать через окно или дверь. Сам же Гудвин подошел к той двери, в которую вошли гости, открыл ее и шагнул через порог.

Мадама только что спустилась вниз. Она ходила смотреть, как устроились ее постояльцы. Ее свеча стояла на прилавке. Мадама намеревалась выпить крохотную рюмочку рома, чтобы вознаградить себя за прерванный сон. Она не выразила ни удивления, ни испуга, когда увидала, что входит еще один посетитель.

— Ах, это сеньор Гудвин! Нечасто удостаивает он мой бедный дом своим присутствием.

— Да, мне следовало бы приходить к вам почаше,— сказал Гудвин, улыбаясь по-гудвински.— Я слышал, что от Белисе на севере до Рио на юге ни у кого нет лучшего коньяка, чем у вас. Поставьте же бутылочку, мадама, и давайте отведаем его вдвоем.

— Мой *aguardiente*,— сказала не без гордости мадама,— самого первого сорта. Он растет среди банановых деревьев, в темных местах, в очень красивых бутылках. *Si, Señor.* Его можно срывать только ночью; его срывают матросы, которые приносят его до рассвета к задней двери, к черному крыльцу. С хорошим *aguardiente* очень много возни, сеньор Гудвин. Нелегко разводить эти фрукты.

Говорят, что конкуренция — основа торговли. В Коралио основой торговли была кон-

трабанда. О ней говорили с оглядкой, но все же хвастались, если она удавалась.

— Сегодня у вас постояльцы,— сказал Гудвин, кладя на стойку серебряный доллар.

— А почему бы и нет? — сказала мадама, отсчитывая сдачу.— Двое. Только что прибыли. Один сеньор, еще не совсем старый, и сеньорита, довольно хорошенъкая. Они поднялись к себе в комнаты, не захотели ни есть, ни пить. Их комнаты — номеро девять и номеро десять.

— Я давно жду этого джентльмена и эту леди,— сказал Гудвин.— У меня к ним важное дело. Можно мне повидать их теперь?

— Почему бы не повидать? — сказала мадама спокойно.— Почему бы сеньору Гудвину не подняться по лестнице и не поговорить со своими друзьями? *Está bueno.* Комната номеро девять и комната номеро десять.

Гудвин отстегнул в кармане свой револьвер и поднялся по крутой темной лестнице.

В коридоре наверху, при свете лампы, распространявшей шафрановый свет, Гудвин легко рассмотрел большие цифры, ярко на-малеванные на дверях. Он нажал дверную ручку девятого номера, вошел и затворил за собой дверь.

Если женщина, сидевшая у стола в этой убого обставленной комнате, была Изабеллой Гилберт, то надо сказать, что молва не отдала должного ее чарующей прелести. Она склонилась головой на руку. В каждой линии ее тела чувствовалась страшная усталость; на ее лице была тревога. Глаза у нее были серые, той формы, какая, очевидно, присуща очам всех знаменитых покорительниц сер-

дец; белки блестящие, необычайной белизны. Сверху они были спрятаны тяжелыми веками, снизу оставалась открытой белоснежная полоска. Такие глаза выражают великую силу, великое благородство и — если только можно вообразить себе это — самоотверженный и щедрый эгоизм. Когда американец вошел, она подняла глаза с видом удивленным, но не испуганным.

Гудвин снял шляпу и со свойственной ему спокойной непринужденностью уселся на край стола. В руке у него дымилась сигара. Он решил быть фамильярным, так как знал, что слишком церемониться с мисс Гилберт не стоит: церемонии не приведут ни к чему. Он знал ее жизнь; ему было известно, какую малую роль играли в этой жизни условности.

— Добрый вечер,— сказал он.— Ну, madame, не будемте мешкать, давайте сейчас же поговорим о делах. Я не называю имен, но я знаю, кто находится в соседней комнате и что у него в саквояже. Это-то и привело меня сюда. Я пришел сказать вам: сдавайтесь без боя — я сейчас же продиктую вам условия.

Дама не шевельнулась и не сказала ни слова. Не отрываясь, смотрела она на кончик его сигары.

— Мы,— продолжал Гудвин, раскачивая ногою и разглядывая свою изящную туфлю из оленьей кожи,— я говорю от лица значительного большинства всего народа,— мы требуем возвращения украденных денег, которые принадлежат народу; больше мы, в сущности, ничего не хотим. Наши требования

очень несложны. Как представитель народа, я даю вам честное слово, что, если вы возвратите нам деньги, мы не применим к вам никакого насилия. Отдайте наши деньги и уезжайте с вашим спутником, куда хотите. Вам даже будет оказана помощь; вам помогут уехать отсюда на любом пароходе, на каком вы только пожелаете. От себя же я могу только присовокупить, что у джентльмена из десятого номера удивительно тонкий вкус в отношении женской красоты.

Гудвин снова сунул сигару в рот и заметил, что дама ледяным взглядом следит за нею, подчеркнуто сосредоточив на ней все свое внимание. Очевидно, она не слыхала ни слова. Он спохватился, выбросил сигару в окно и с веселым смехом встал у стола.

— Так лучше,— сказала дама.— Теперь я могу выслушать вас. Если вы хотите получить от меня еще один урок хороших манер, скажите мне ваше имя. Нужно же мне знать, как зовут человека, который оскорбляет меня.

— Жаль,— сказал Гудвин, опираясь рукой о стол,— нет у меня сейчас времени для этикета. Послушайте, я обращаюсь к вашему здравому смыслу. Вы не раз доказывали, что хорошо понимаете, в чем состоит ваша выгода. Вот вам еще один случай обнаружить вашу незаурядную смышеность. В этом деле секретов нет. Я — Франк Гудвин. Я пришел за деньгами. Я очутился в вашей комнате случайно. Если бы я вошел в соседний номер, деньги уже давно были бы у меня в руках. Вы хотите, чтобы я сказал вам, в чем дело? Извольте. Джентльмен из десятого номера

пользовался доверием народа, но похитил деньги. Я решил вернуть эти деньги народу. Я не говорю, кто этот джентльмен; но если обстоятельства заставят меня увидеться с ним и он окажется высоким должностным лицом республики, я сочту своим долгом арестовать его. Этот дом под охраной, убежать невозможно. Я предлагаю вам отличные условия. Я даже готов отказаться от личной беседы с джентльменом из десятого номера. Принесите мне саквояж с деньгами, и больше мне ничего не надо.

Дама встала с кресла и целую минуту стояла в глубоком раздумье.

— Вы живете здесь, мистер Гудвин? — спросила она наконец.

— Да.

— По какому праву вы вошли в мою комнату?

— Я служу республике. Мне сообщили по телеграфу о маршруте... джентльмена из десятого номера.

— Можно задать вам два или три вопроса? Мне кажется, что вы скажете правду. Правдивости в вас, кажется, больше, чем деликатности. Что это город — этот... Коралио, так, кажется, он называется?

— Ну какой же это город! — сказал Гудвин с улыбкой.— Так, городишко банановый! Соломенные лачуги, глинобитные домики, пять-шесть двухэтажных домов, удобств мало; население: помесь индейцев с испанцами, карибы, чернокожие. Развлечений никаких. Нравственность в упадке. Даже тротуаров порядочных нет. Вот вам и описание Коралио, очень, конечно, поверхностное.

— Но есть же и достоинства, не правда ли? Есть что-нибудь, что могло бы заставить людей из хорошего общества или дельцов поселиться в этом городе надолго?

— О да! — сказал Гудвин, широко улыбаясь. — Достоинства есть, и огромные. Во-первых, полное отсутствие шарманок. Во-вторых, никого не приглашают к вечернему чаю. И в-третьих, широкое гостеприимство для преступников: бежавшие сюда преступники не выдаются властям той страны, откуда они бежали.

— А он говорил мне, — промолвила дама, слегка нахмурившись и словно думая вслух, — что тут, на этом берегу, красивые большие дома, что в них очень хорошее общество, особенно американская колония, состоящая из очень культурных людей.

— Да, здесь есть американская колония, — сказал Гудвин, с некоторым удивлением взирая на даму, — иные из них ничего. Но иные убежали от правосудия. Я помню двух сбежавших директоров банка, одного полкового казначея с подмоченной репутацией, двух убийц и некую вдову — ее, кажется, подозревали в отравлении мужа мышьяком. Я тоже принадлежу к этой колонии, но до сих пор, кажется, еще не прославил себя никаким сколько-нибудь заметным преступлением.

— Не теряйте надежды, — сказала дама сухо, — ваше сегодняшнее поведение служит залогом того, что вы скоро прославитесь. Произошла какая-то ошибка. Я не знаю, в чем дело, но ошибка произошла несомненно. Но *его* вы не должны тревожить. Путе-

шествие утомило его. Он буквально свалился с ног и, кажется, заснул, не раздеваясь. Вы говорите об украденных деньгах! Я вас не понимаю. Вы, несомненно, ошиблись, и я сейчас же докажу вам это. Подождите здесь, я сейчас принесу саквояж, о котором вы так страстно мечтаете.

Она направилась к закрытой двери, которая соединяла оба номера, но остановилась и окинула Гудвина серьезным, испытующим взглядом, который разрешился непонятной улыбкой.

— Вы насильно ворвались в мою комнату, вы вели себя как грубиян и предъявили мне позорнейшие обвинения; и все же... — тут она помедлила, как бы ища подходящее слово,— и все же... и все же это очень странно. Я уверена, что произошла ошибка.

Она сделала шаг к двери, но Гудвин остановил ее легким прикосновением руки. Я уже говорил, что женщины невольно оглядывались, когда он проходил мимо них. Он был из породы викингов, большой, благообразный и добродушно-воинственный. Она была брюнетка, очень гордая, ее щеки то бледнели, то пылали. Я не знаю, брюнетка или блондинка была Ева, но мудрено ли, что яблоко было съедено, если такая женщина обитала в раю?

Этой женщине суждено было сыграть большую роль в жизни Гудвина, но он еще не знал этого; все же какое-то предчувствие у него, очевидно, было, потому что, глядя на нее и вспоминая то, что о ней говорили, он испытал очень горькое чувство.

— Если и произошла здесь ошибка,—

сказал Гудвин запальчиво,— то виноваты в этом вы. Я не обвиняю человека, который простился с родиной и честью и скоро должен будет проститься с последним утешением — с украденными деньгами. Во всем виноваты вы. Я теперь понимаю, что привело его к этому. Я понимаю и жалею его. Именно такие женщины, как вы, заполняют наше побережье несчастными, которые принуждены здесь скрываться. Именно из-за таких мужчины забывают свой долг и доходят...

Дама остановила его усталым движением руки.

— Прекратите ваши оскорблении,— холодно сказала она.— я не знаю, о чем вы говорите, я не знаю, какая глупая ошибка привела вас сюда, но если я избавлюсь от вас, показав вам этот саквояж, я принесу его сию же минуту.

Она быстро и бесшумно вошла в соседнюю комнату и вернулась с тяжелым кожаным саквояжем, который и вручила американцу с видом покорного презрения.

Гудвин быстро поставил саквояж на стол и начал отстегивать ремни. Дама стояла подле с выражением бесконечной гадливости и утомления.

Саквояж широко распахнул свою пасть. Когда Гудвин извлек оттуда лежавшее сверху белье, внизу оказались туго перевязанные пачки крупных кредитных билетов государственного банка Соединенных Штатов. Судя по цифрам, написанным на бандеролях, там было никак не меньше ста тысяч.

Гудвин поднял глаза на женщину и увидел с удивлением и странным удовольствием

(почему с удовольствием, он и сам не умел бы сказать), что она потрясена непримитивно. Глаза ее расширились, у нее захватило дыхание, и она тяжело облокотилась о стол. Значит, она и вправду не знала, что ее спутник ограбил казну. Но почему, с раздражением допытывался Гудвин у себя самого, он так обрадовался, убедившись, что эта бродячая авантюристка-певица совсем не так черна, как ее изображала досужая сплетня?

Шум в соседней комнате заставил их обоих встрепенуться. Дверь широко распахнулась, и в комнату быстро вошел высокий, смуглый, свежевыбранный пожилой человек.

Все портреты президента Мирафлореса изображают его обладателем холенои, роскошной бороды. Но парикмахер Эстебан уже подготовил Гудвина к такой перемене.

Он выбежал из полутемной комнаты, отяжелевший от сна, мигая от яркого света лампы.

— Что это значит? — спросил он на чистейшем английском языке, бросив на Гудвина острый взъерошенный взгляд.— Воровство?

— Да, воровство, — ответил Гудвин. — Но я вовремя принял меры и не дал этому воровству совериться. Я действую от имени людей, которым принадлежат эти деньги. Я пришел, чтобы взять эти деньги и вернуть их настоящим владельцам.

Он быстро сунул руку в карман своего просторного полотняного пиджака.

Старик сделал то же движение.

— Не надо! — резко крикнул Гудвин.— Я выну быстрее, и вам будет худо...

Женщина шагнула вперед и положила руку на плечо своего поникшего спутника. Она указала на стол.

— Скажи мне правду... Скажи мне правду... — повторила она тихим голосом.— Кому принадлежат эти деньги?

Тот не ответил. Он испустил очень глубокий вздох, наклонился к женщине, поцеловал ее в лоб, шагнул в соседнюю комнату и плотно закрыл за собой дверь.

Гудвин догадался, в чем дело, и кинулся к двери, но из-за двери раздался выстрел в ту самую минуту, когда он схватился за ручку. Послышалось падение тяжелого тела, и кто-то оттолкнул Гудвина и кинулся к упавшему.

Должно быть, подумал Гудвин, горе более тяжелое, чем потеря любовника и золота, жило в сердце этой чаровницы, если в такую минуту у нее вырвался крик, с которым бегут к всепрощающей, к лучшей из всех земных утешительниц, если в этой поруганной, и окровавленной комнате она застонала:

— О мама, мама, мама!

Но на улице уже была суматоха. Парики-махер Эстебан при звуке выстрела поднял тревогу. Выстрел и без того всколыхнул половину всего населения. Улица зашумела шагами, в тихом воздухе явственно слышались распоряжения начальства. Гудвину предстояло еще одно дело. Обстоятельства вынудили его стать охранителем богатств, принадлежащих его новой родине. Быстро запихал он деньги назад в саквояж, закрыл его и, высунувшись из окна почти всем

корпусом, бросил свою добычу в самую чащу апельсинных деревьев, что росли в маленьком садике, примыкавшем к отелю.

Вам подробно расскажут в Коралио, чем окончилась эта драма: в Коралио любят беседовать с заезжими людьми. Вам расскажут, как представители закона рысью примчались в отель, заслышав тревогу,— *Comandante* в красных туфлях и куртке, как у метрдотеля, препоясанный шпагой, солдаты с необыкновенно длинными ружьями, офицеры, которых было больше, чем солдат, офицеры, напяливающие на ходу эполеты и золотые аксельбанты, босые полицейские и взбудораженные горожане самых разнообразных цветов и оттенков.

Вам расскажут, что лицо убитого сильно пострадало от выстрела, но что и Гудвин и цирюльник Эстебан, оба засвидетельствовали, что это президент Мирафлорес. На следующее утро по исправленному телеграфному проводу в город стали приходить депеши, и бегство президента стало известно всем. В Сан-Матео оппозиционная партия без всякого сопротивления захватила скипетр власти, и громкие *vivas* переменчивой черни быстро изгладили всякий интерес к незадачливому Мирафлоресу.

Вам расскажут, как новое правительство обшарило все города и обыскalo дороги в поисках саквояжа, содержащего Финансы Анчурии, которые похитил президент. Но все было напрасно. В Коралио сам сеньор Гудвин организовал особый отряд, который прочесал весь город, как женщина расчесывает волосы, но деньги пропали бесследно.

Мертвого похоронили без почестей, на задворках города, у мостика, переброшенного через болото, и за один реал любой мальчишка покажет вам его могилу. Говорят, что та старуха, у которой брился покойный, поставила у него в головах деревянную колоду и выжгла на ней надпись каленым железом.

Вы услышите также, что сеньор Гудвин стойко оберегал донну Изабеллу Гилберт в эти дни волнений и скорби, что ее прошлое перестало смущать его (если только прежде оно его смущало!), что привычки легкомысленной и разгульной жизни изгладились у нее совершенно (если были у нее такие привычки), что Гудвин женился на ней и что они были счастливы.

Американец построил себе дом за городом, на невысоком холме у подножия горы. Дом построен из драгоценного местного дерева, которое само по себе, если вывезти его в иные страны, дало бы человеку состояния, а также из стекла, кирпича, бамбука и местной глины. Вокруг дома раскинулся рай, но такой же рай и в самом доме. Когда местные жители говорят об убранстве дома, они в восторге подымают руки ввысь. Там полы такие гладкие, как зеркала. Там шелковые индейские ковры и циновки ручной работы. Там картины, статуи, музыкальные инструменты и — «вы только представьте себе!» — оклеенные обоями стены.

Но никто не скажет вам в Коралио (впоследствии вы сами узнаете это!), чтосталось с деньгами, которые Франк Гудвин швырнул в апельсинную чашу. Об этом мы сейчас не

говорим, ибо пальмы зыблются от легкого ветра и зовут нас к приключениям и радостям.

V

ЕЩЕ ОДНА  
ЖЕРТВА КУПИДОНА

Соединенные Штаты Америки, порывшись на дровянном складе своих консулов, выбрали мистера Джона де Граффенрида Этвуда из местечка Дэйлсбург, штат Алабама, в качестве заместителя вышедшего в отставку Уилларда Джедди.

При всем уважении к мистеру Этвуду мы должны отметить, что он сам пламенно жаждал этого назначения. Подобно самоизгнавшемуся Джедди, он был жертвой женской лукавой улыбки, которая погнала и его к презираемым федеральным властям с просьбой дать ему казенное место, дабы он мог уехать далеко-далеко и никогда больше не видеть неверных прекрасных глаз, сгубивших его юную жизнь. Место консула в Коралио, казалось, обещало достаточно отдаленное и романтическое убежище, обещало придать идиллическим сценам дэйлсбургской жизни необходимый элемент драматизма.

В тот период, когда Джонни разыгрывал роль жертвы Купидона, он обогатил скорбные анналы Испанских морей своими мастерскими манипуляциями на обувном рынке, а также совершил небывалый подвиг — возвел самый презренный и бесполезный плевел своей родины в степень ценного объекта международной торговли.

Все неприятности, как это часто случает-

ся, начались с романа, вместо того чтобы окончиться им.

В Дэйлсбурге жил человек по имени Элиджа Гемстеттер, державший лавку бакалейных и мануфактурных товаров. Вся семья его состояла из единственной дочери, которую звали Розина. Это имя вполне вознаграждало ее за неблагозвучную фамилию Гемстеттер. Вышеназванная молодая особа обладала неисчислимыми достоинствами, так что во всей округе сердца молодых людей волновались нескованно. И больше всех волновался Джонни, сын местного судьи Этвуда, который жил в большом и гордом доме на окраине Дэйлсбурга.

Казалось бы, прелестная Розина должна была чувствовать себя очень польщенной, что к ней неравнодушен сам Этвуд: Этвуды еще до войны — и после войны — были весьма уважаемы во всем этом штате. Казалось бы, ей надо радоваться, что она может войти хозяйкой в этот большой и важный, но пустоватый дом. А на деле было не так. На горизонте появилось облако, грозное кучевое облако в виде дюжего и веселого фермера, который позволил себе открыто выступить соперником высокородного Этвуда.

Однажды вечером Джонни задал Розине вопрос, который считается очень серьезным среди юных особей человеческого рода. Все атрибуты были налицо: луна, блеандры, магнолии, песня дрозда-пересмешника. Встала ли между ними роковая тень Пинкни Доусона, удачливого фермера, нам неизвестно, но ответ Розины был не тот, какого от нее ожидали. Мистер Джон де Граффенрид Эт-

вуд отвесил такой низкий поклон, что его шляпа коснулась травы, и удалился прочь, высоко подняв голову, но чувствуя, что его гербу и сердцу нанесена неизлечимая рана. Какая-то Гемстеттер позволила себе отказать ему, Этвуду. Проклятие!

В том году в Соединенных Штатах среди прочих несчастий был президент-демократ. Судья Этвуд издавна считался боевым конем этой партии. Джонни уговорил старика двинуть кое-какие колеса, дабы приискать для него место за границей. Ему хотелось уехать далеко-далеко. Может быть, когда-нибудь Розина поймет, как верно, преданно любил он ее, и уронит слезу в те сливки, которые она будет снимать на завтрак Пинкни Доусону.

Колеса политики скрипнули, повернулись, и Джонни был назначен в Коралио консулом. Перед тем как тронуться в путь, оншел к Гемстеттерам проститься. У Розины в тот день почему-то покраснели глаза; и если бы в комнате никого больше не было, может быть, Соединенным Штатам пришлось бы подыскивать другого консула. Но в комнате был, конечно, Пинк Доусон, без умолку говоривший о своем фруктовом саде в четыреста акров, о поле люцерны в три квадратных мили, о пастбище в двести акров. И Джонни на прощание пришлось ограничиться холодным рукопожатием, как будто он уезжал на два дня в Монтгомери. Эти Этвуды, когда хотели, умели держать себя с королевским достоинством.

— Если вам случится, милый Джонни, наткнуться там на выгодное дельце, куда

стоило бы вложить капитал, дайте мне, пожалуйста, знать,— сказал Пинк Доусон.— У меня найдется несколько лишних тысяч, чтобы пустить в оборот.

— Отлично, Пинк,— мягко и любезно сказал Джонни.— Если что-нибудь такое подвернется, я с удовольствием дам вам знать.

И вот Джонни уехал в Мобил, откуда и отбыл в Анчурию на «фруктовом» пароходе.

По приезде в Коралио он был весьма поражен непривычными видами природы. Ему было всего двадцать два года от роду. Юноши не носят свое горе, как платье. Это удел пожилых. А у молодых оно перемежается с более острыми ощущениями.

На первых же порах Джонни Этвуд близко сошелся с Кью. Кью повел нового консула по городу и познакомил с горстью американцев, франузов и немцев, составлявших иностранный контингент Коралио. Кроме того, ему, конечно, надлежало быть официально представленным местным властям и через переводчика передать свои верительные грамоты.

В молодом южанине было что-то, подкупавшее умудренного жизнью Кью. Новый консул держал себя просто, почти ребячливо, но в нем чувствовалась холодная независимость, свойственная более зрелым и опытным людям. Ни мундиры, ни титулы, ни чиновничья волокита, ни иностранные языки, ни горы, ни море — ничто не отягощало его сознания. Он был наследником всех эпох, он был Этвудом из Дэйлсбурга, и всякий мог

прочесть любую мысль, зародившуюся у него в голове.

Джедди явился в консульство, чтобы ввести своего заместителя в обязанности новой службы. Вместе с Кью он попытался заинтересовать нового консула описанием того, какой работы ждет от него правительство.

— Ну и прекрасно,— сказал Джонни из гамака, который он избрал в качестве служебного седалища.— Если потребуется что-нибудь сделать, вы этим и займитесь. Не воображаете же вы, что член демократической партии будет работать, пока он занимает официальный пост?

— Вы бы просмотрели все эти заголовки,— предложил Джедди,— здесь перечислены все предметы экспорта, в которых вам придется отчитываться. Фрукты разбиты по сортам; потом идут ценные породы дерева, кофе, каучук...

— Этот последний пункт звучит приятно,— перебил его мистер Этвуд,— звучит, как будто его можно растянуть. Я хочу купить новый флаг, мартышку, гитару и бочку ананасов. Как вы думаете, хватит на все это вашего каучука?

— Это всего только статистика,— сказал Джедди, улыбаясь,— а вам нужен отчет о расходах. Тот обычно обладает некоторой эластичностью. Пункт «канцелярские принадлежности» в большинстве случаев не удостаивается особого внимания государственного департамента.

— Мы попусту теряем время,— сказал Кью.— Этот человек рожден для диплома-

тической службы. Он сумел проникнуть в самую суть этого искусства одним взглядом своего орлиного ока. В каждом его слове сквозит истинный административный гений.

— Я не для того занял эту должность, чтобы работать,— лениво объяснил Джонни.— Я хотел уехать в какое-нибудь место, где не говорят о фермах. Ведь здесь их, кажется, нет?

— Таких, к каким вы привыкли, нет,— отвечал экс-консул.— Искусства земледелия здесь не существует. Во всей Анчурии никогда не видели ни плуга, ни жнейки.

— Вот это страна как раз по мне,— пролепетал консул и мгновенно уснул.

Веселый фотограф продолжал дружить с Джонни, несмотря на откровенные обвинения в том, что это якобы вызвано желанием абонировать постоянное кресло в излюбленном убежище — на задней веранде консульства. Но будь то из эгоистических или, напротив, из дружеских побуждений, Кью добился этого завидного преимущества. Почти каждый вечер друзья располагались на веранде, подставив лицо морскому ветру, задрав пятки на перила и придинув поближе сигары и коньяк.

Однажды они сидели там, изредка перекидываясь словами, так как беседа их замерла под умиротворяющим влиянием изумительной ночи.

Светила огромная, полная луна, и море было перламутровое. Замолкли почти все звуки, воздух едва шевелился, город лежал усталый, ожидая, чтобы ночь освежила его. На рейде стоял «фруктовщик» «Андадор»,

пароходной компании «Везувий»; он был уже доверху нагружен и должен был отойти в шесть часов утра. Берег опустел. Луна светила так ярко, что с веранды можно было разглядеть камешки на берегу, поблескивающие там, где на них набегали волны и оставляли их мокрыми. Потом появился крошечный парусник, он медленно шел, не отдаляясь от берега, белокрылый, как большая морская птица. Он шел почти против ветра, отклоняясь то вправо, то влево длинными плавными поворотами, напоминавшими изящные движения конькобежца.

Вот он, волей матросов, опять приблизился к берегу, на этот раз почти что напротив консульства, и тут с него долетели какие-то чистые и непонятные звуки, словно эльфы трубили в рог. Да, это мог бы быть волшебный рожок, нежный, серебристый и неожиданный, вдохновенно играющий знакомую песню «Родина, милая родина».

Сцена была словно нарочно создана для страны лотоса. Ощущение моря и тропиков, тайна, связанная со всяkim неведомым парусом, и прелесть далекой музыки над заливной луною водой — все чаровало и баюкало. Джонни Этвуд поддался очарованию и вспомнил Дэйлсбург; но Кью, как только в его голове созрела теория относительно этого непоседливого соло, вскочил с места, подбежал к перилам, и его оглушительный оклик прорезал безмолвие, как пушечный выстрел:

— Меллинджер, э-хой!

Парусник как раз повернулся прочь от

берега, но с него отчетливо донеслось в ответ:

— Прощай, Билли... е-ду домой, прощай!

Парусник шел к «Андадору». Очевидно, какой-то пассажир, получивший разрешение на отъезд в каком-то пункте дальше по побережью, спешил захватить фруктовое судно, пока оно не ушло в обратный рейс. Словно кокетливая горлица, лодочка зигзагами продолжала свой путь, пока наконец ее белый парус не растворился на фоне белой громады парохода.

— Это Г. П. Меллинджер,— объяснил Кью, снова опускаясь в кресло. — Он возвращается в Нью-Йорк. Он был личным секретарем покойного беглеца-президента этой бакалейно-фруктовой лавочки, которую здесь называют страной. Теперь его работа закончена, и, наверно, он себя не помнит от радости.

— Почему он исчезает под музыку, как Зозо, королева фей? — спросил Джонни. — Просто в знак того, что ему наплевать?

— Звуки, которые вы слышали, исходят из граммофона, — сказал Кью. — Это я ему продал. Меллинджер вел здесь игру, единственную в своем роде. Эта музыкальная вертушка однажды выручила его, и с тех пор он с ней не расстается.

— Расскажите, — попросил Джонни, проявляя признаки интереса.

— Я не распространитель повествований, — сказал Кью. — Я пользуюсь языком, чтобы говорить; но когда я пробую произнести речь, слова высекиваются из меня, как им вздумается, а когда ударяются об атмо-

сферу, иногда получается смысл, а иногда и нет.

— Расскажите мне, какую он вел игру,— упорствовал Джонни.— Вы не имеете права мне отказывать. Я вам рассказал все решительно, обо всех жителях Дэйлсбурга без исключения.

— Ладно, расскажу,— сказал Кью.— Я только что говорил вам, что инстинкт повествования во мне атрофирован. Не верьте. Это искусство, которое я приобрел наряду со многими другими талантами и науками.

## VI ИГРА И ГРАММОФОН

— Так в чем же состояла его проделка? — спросил Джонни, проявляя нетерпение, свойственное широкой публике.

— Сообщить вам это — значит идти против искусства и философии,— спокойно сказал Кью.— Искусство повествования заключается в том, чтобы скрывать от слушателей все, что им хочется знать, пока вы не изложите своих заветных взглядов на всевозможные, не относящиеся к делу предметы. Хороший рассказ все равно что горькая пилюля, только сахар у нее не снаружи, а внутри. Я начну, если позволите, с того, как некоему воину из племени Чероки предсказали судьбу, а закончу нравоучительной мелодией на граммофоне.

Мы с Генри Хорсколларом привезли в эту страну первый граммофон. Генри был

на четверть индеец Чероки, обучившийся на Востоке футбольному языку, а на Западе — винной контрабанде, и такой же джентльмен, как мы с вами. Характер у него был легкий и резвый; росту он был примерно шести футов и двигался, как резиновая шина. Да, небольшой был человечек, примерно пять футов пять дюймов, либо пять футов одиннадцать. Ну, роста он был, что называется, среднего, не очень большой и не такой уж маленький. Генри один раз вылетел из университета и три раза вылетал из тюрьмы Маскоги — последнее потому, что вывозил из Штатов виски и продавал его, где не положено. Генри Хорсколлар никогда бы не позволил никакой табачной лавочке подобраться к нему и встать у него за спиной. Нет, он был не из этой породы индейцев<sup>1</sup>.

Мы с Генри встретились в Тексаркане и разработали наш граммофонный план. У него было триста шестьдесят долларов, вырученных за участок земли в резервации. Я только что прибыл из Литл-Рока, где оказался свидетелем очень прискорбной уличной сцены. Человек стоял на ящике и предлагал желающим золотые часы — футляры на винтиках, заводятся ключиком, очень элегантно. В магазинах они стоили двадцать монет. Здесь их продавали по три доллара, и толпа буквально дралась из-за них. Человек где-то нашел целый чемодан этих часов, и теперь

<sup>1</sup> В США принято перед магазинами табачных изделий ставить деревянные изображения индейцев.

их раскупали у него, как горячие пирожки. Крышки футляров отвинчивались туго, но люди прикладывали футляры к уху, и там тикало этак приятно и успокаивающе. Троє часов были настоящие; остальные — один обман. А? Ну да, пустые футляры, а в них — такие черные твердые жучки, которые кружат около электрических ламп. Эти самые жучки так искусно отстукивают секунды и минуты, что любо-дорого слушать. Так вот человек, о котором я говорю, выручил двести восемьдесят восемь долларов, а потом уехал, потому что знал, что когда в Литл-Роке настанет время заводить часы, то для этого потребуется энтомолог, а у него была другая специальность.

Так вот я и говорю: у Генри было триста шестьдесят долларов, а у меня двести восемьдесят восемь. Идея ввезти в Южную Америку граммофон принадлежала Генри, но я жадно за нее ухватился, потому что питал пристрастие ко всяkim машинам.

— Латинские расы,— говорит Генри, легко изъясняясь при помощи слов, которым его обучили в университете,— особенно склонны к тому, чтобы пасть жертвой граммофона. У них артистический темперамент. Они тянутся к музыке, к ярким краскам, к веселью. Они дают деньги шарманщику и четырехлапому цыпленку на ярмарке, когда за бакалею и за плоды хлебного дерева неплачено уже много месяцев.

— В таком случае,— говорю я,— будем экспортировать латинцам музыкальные консервы. Но я вспоминаю, что мистер Юлий

Цезарь в своем отчете о них сказал: «*Omnia Gallia in tres partes divisa est*<sup>1</sup>», что означает: «Умного галла в три партии не обстанишь — вот мой девиз».

Мне очень не хотелось хвастать своей образованностью, но я не мог допустить, чтобы в синтаксисе меня забил какой-то индеец, представитель народа, не давшего нам ничего, кроме той земли, на которой расположены Соединенные Штаты.

Мы купили в Тексаркане отличный граммофон — самой лучшей марки — и целую кучу пластинок. Мы уложили чемоданы и направились поездом в Новый Орлеан. Из этого прославленного центра паточной промышленности и непристойных негритянских песенок мы отплыли на пароходе в Южную Америку.

Мы высадились в Солитасе, в сорока милях отсюда. Местечко на вид вполне сносное. Домишкы были чистые, белые, и, глядя, как они воткнуты в окрестный пейзаж, я невольно вспоминал салат с крутыми яйцами. На окраине расположился квартал небоскребных гор; вели они себя тихо, словно подползли сюда и следят, что делается в городе. А море говорило берегу «шиш-ши». Изредка в песок плюхался спелый кокосовый орех; вот и все. Да, тихий был городок. Я так думаю: когда Гавриил кончит трубить в рог и вагончик тронется — представляете картину, — Филадельфия цепляется за ремень, Пайн-Галли, штат Арканзас, повисла на задней площадке, — только тогда этот самый

<sup>1</sup> Вся Галлия делится на три части (лат.).

Солитас проснется и спросит, не говорил ли кто чего.

Капитан сошел с нами на берег и предложил возглавить то, что ему угодно было назвать похоронной процессией. Он представил нас с Генри консулу Соединенных Штатов и еще одному пегому — начальнику какого-то там Меркантильного департамента.

— Я опять загляну сюда через неделю, — сказал капитан.

— К тому времени, — отвечали мы ему, — мы будем наживать сказочное состояние с помощью нашей гальванизированной примадонны и точных копий оркестра Сузы, извлекающего марши из залежей олова.

— Ничего подобного, — говорит капитан. — К тому времени вы будете загипнотизированы. Любой джентльмен из публики, который пожелает подняться на сцену и посмотреть в глаза этой стране, проникнется убеждением, что он не более как муха в стерилизованных сливках. Вы будете стоять по колено в море и ждать меня, а ваша машинка для изготовления гамбургских бифштексов из дотоле почтенного искусства музыки будет играть: «Ах, родина, что может с ней сравниться!»

Генри снял со своей пачки верхнюю двадцатку и получил от Меркантильного бюро бумагу с красной печатью и какой-то басней на туземном языке, а сдачи не получил.

Потом мы накачали консула красным вином и попросили его предсказать нам будущее. Человек он был тощий, вроде как молодой, лет за пятьдесят, по вкусам — помесь француза с ирландцем, сплошная тоска.

Да, этакий приплюснутый человек, которому и вино не шло впрок, и склонный к тучности и меланхолии. Да, ну, понимаете, этакий голландец, очень печальный и жизнерадостный.

— Поразительное изобретение, именуемое граммофоном,— говорит он,— еще никогда не вторгалось в эти края. Здешний народ никогда его не слышал. А если услышит, не поверит. Это простодушные дети природы. Прогресс еще не научил их принимать работу открывателя консервных жестянок за увертюру, а рэгтайм способен вдохновить их на кровавый мятеж. Но почему не попробовать? Лучшее, что может с вами случиться, когда вы начнете играть,— население просто не проснется. Они,— говорит консул,— могут принять это двояко. Либо они опьянеют от внимания, как плантатор из южных штатов при звуках марша «Шагая по Джорджии», либо рассердятся и перенесут мелодию в другой ключ топором, а вас — в каземат. Если случится последнее,— продолжает консул,— я исполню свой долг: пошлю каблограмму в государственный департамент, накрою вас звездным флагом, когда вас расстреляют, и пригрожу им отмщением самой великой, твердовалютной и золотозапасной державы в мире. Мой флаг и так уже весь продырявлен пулями,— говорит консул,— все результат подобных же инцидентов. Уже два раза,— говорит консул,— я телеграфировал правительству с просьбой выслать мне пару канонерок для защиты американских граждан. Один раз департамент прислал мне двух канареек. В

другой раз, когда здесь должны были казнить человека по фамилии Томат и я возбудил вопрос о помиловании, они направили мою депешу в департамент земледелия. А теперь не будет ли добр сеньор, что стоит за стойкой, выдать нам новую бутылку красного вина?

Вот какой монолог преподнес мне и Генри Хорсколлару консул в Солитасе.

Но мы, несмотря на это, в тот же день сняли комнату на Калье де лос Анхелес, главной улице, идущей вдоль морского берега, и водворились там со своими чемоданами. Комната была большая, этакая темная и веселенькая, только маленькая. Помещалась она на не бог знает какой улице, которой придавали некоторое разнообразие дома и оранжерейные растения. Городские поселяне проходили мимо окон, по прекрасному пастищу между тротуарами. Больше всего они напоминали оперный хор, когда на сцене вот-вот должен появиться шах Кафузлум.

Мы стирали со своей машины пыль, готовясь приступить к работе на следующий день, когда высокий, красивый белый человек в белом костюме остановился у нашей двери и заглянул в комнату. Мы сказали, что требовалось по части приглашений, и он вошел и оглядел нас с ног до головы. Он жевал длинную сигару и щурил глаза этак задумчиво, как девушка, когда она старается решить, какое платье лучше надеть на вечеринку.

— Нью-Йорк? — говорит он наконец, обращаясь ко мне.

— Первоначально и время от времени, — говорю я. — Неужели еще не стерся?

— Понять нетрудно, кто умеет, — говорит он. — Все дело в покрое жилета. Правильно скроить жилет не умеют больше нигде. Пиджак — может быть, но жилет — никогда.

Потом этот белый человек смотрит на Генри Хорсколлара и колеблется.

— Индеец, — говорит Генри, — ручной индеец.

— Меллинджер, — говорит белый. — Гомер П. Меллинджер. Ну, друзья, вы конфискованы. Вы тут младенцы в темном лесу, и нет у вас ни няньки, ни арбитра, и моя обязанность позаботиться о вашем движении вперед. Я выбью подпорки и спущу вас, как на колесиках, на прозрачные воды этой тропической лужи. Придется вас окрестить, и, если вы пойдете со мной, я по всем правилам раздавлю у вас на носовой части бутылочку вина.

Ну вот, целых два дня после этого мы были гостями Гомера П. Меллинджера. Этот человек знал свое дело. Не подкопаешься. Он был самый настоящий Кафузлум. Мы с ним и с Генри Хорсколларом взялись под ручки и стали повсюду таскать наш граммофон и всячески развлекаться. Где бы нам ни попалась открытая дверь, мы входили и заводили машинку, и Меллинджер предлагал публике обратить внимание на хитрую музыку и на его закадычных друзей, *Señors Americanos*. Оперный хор проникся к нам уважением и ходил за нами по пятам из дома в дом. Последней

пластинки появлялся новый сорт выпивки. Местные жители обладают очень приятным талантом по части одного напитка, который так и врезается в память. Они отрубают конец у незрелого кокосового ореха, а в сок наливают французского коньяку и прочие ингредиенты. Мы пили и это, и еще многое чего.

Наши с Генри деньги хождения не имели. За все платил Гомер П. Меллинджер. Этот человек умел извлекать пачки банкнот из таких мест на своей особе, где сам Герман Чародей, великий фокусник, не обнаружил бы ни кролика, ни яичницы. Он мог бы основать два-три университета и собрать коллекцию орхидей, и у него осталось бы достаточно денег, чтобы скупить голоса всего цветного населения страны. Мы с Генри все гадали, в чем секрет его незаконных богатств. Как-то вечером он просветил нас.

— Ребята, — сказал он, — я вас обманывал. Вы думаете, я — праздный мотылек; на самом же деле никто здесь не работает больше моего. Десять лет назад я пристал к этим берегам, два года назад я стал первым человеком в стране. Да, я в любую минуту могу направить дела этой пряничной республики, как мне захочется. Я доверяюсь вам, потому что вы — мои соотечественники и мои гости, хоть и наводнили мою приемную родину худшей из всех шумовых систем, когда-либо положенных на музыку.

Я занимаю пост личного секретаря при президенте республики, и мои обязанности состоят в том, чтобы управлять ею. Мое

имя не фигурирует в официальных документах, а между тем я — горчица в приправе к салату. Все законы, которые проходят через конгресс, все концессии, на которые мы даем разрешение, все ввозные пошлины, которые мы взимаем, — все это стряпня Г. П. Меллиндженера. В парадной приемной я наливаю чернила в чернильницу президента и обыскиваю приезжих чиновников на предмет кортиков и динамита, но в задней комнате я диктую всю политику правительства. Вам никогда в жизни не отгадать, какая махинация помогла мне так возвыситься. Такими махинациями, кажется, еще никто не занимался. Вот послушайте. Помните заголовки в наших школьных тетрадях — «Честность — лучшая политика»? В этом все и дело. Я возвел честность в азартную игру. Я — единственный честный человек в республике. Правительство это знает; народ это знает; темные элементы это знают; иностранцы-концессионеры это знают. Я заставляю правительство держать слово. Если человеку обещано место, он получает его. Если иностранный капитал покупает концессию, ему дают то, что ему нужно. У меня здесь монополия на честные сделки. Конкуренции никакой. Вздумай полковник Диоген явиться сюда со своим фонарем, ему моментально сказали бы мой адрес. Денег это дает не ахти сколько, но заработка верный, и ночью спишь спокойно.

Так сказал Г. П. Меллинджер нам с Генри. А позднее он разрешился следующим замечанием:

— Ребята, сегодня вечером я устраиваю

суарэ<sup>1</sup> для целой кучи видных граждан, и мне нужна ваша помощь. Вы притащите свою музыкальную щелкуншу для орехов, и получится как будто светский прием. Предстоят важные дела, но нельзя показывать виду. С вами я могу говорить откровенно. Я уже много лет страдаю оттого, что некому душу излить, не перед кем похвастаться. Иногда меня одолевает тоска по родине, и тогда, кажется, я отдал бы все свои доходы и привилегии, только бы посидеть где-нибудь на Тридцать четвертой улице, да съесть сэндвич с икрой, да запить пивом, а то просто стоять и смотреть на трамваи и вдыхать запах жареных орешков из фруктовой лавчонки старика Джузеппе.

— Да, — говорю я, — очень неплохая икра бывает в кафе Билли Ренфро, на углу Тридцать четвертой и...

— Истинная правда, — перебивает меня Меллинджер, — и если бы вы мне сказали, что знаете Билли Ренфро, чего только я не выдумал бы, чтобы доставить вам счастье. Мы с Билли были приятелями в Нью-Йорке. Вот человек, который ни разу не покривил душой. Я тут сделал из честности бизнес, а он так даже теряет на ней деньги. Sagamba!<sup>2</sup> И приедается же мне иногда эта страна! Здесь все продажно. От высшего сановника до последнего батрака на кофейных плантациях все только и думают, как бы потопить друг друга и содрать шкуру со своих друзей. Если погонщик мулов

<sup>1</sup> Вечеринка (*франц.*)

<sup>2</sup> Проклятие! (*исп.*)

снимает шляпу, здороваясь с чиновником, тот уже воображает себя народным кумиром и готовится устроить революцию и свергнуть существующую власть. В мелкие обязанности личного секретаря входит вынюхивать такие революции и не давать им вспыхивать и портить государственное добро. С этой-то целью я и нахожусь сейчас здесь, в этом заплесневелом приморском городишке. Здешний губернатор и его банда готовят восстание. Имена заговорщиков мне известны, и все они приглашены на сегодняшний вечер к Г. П. М. послушать граммофон. Таким образом я их сгоню в одно место, а дальше все у нас пойдет по программе.

Мы сидели втроем за столиком в харчевне Всех Святых. Меллинджер подливал нам вина, и вид у него был озабоченный; я думал о своем.

— Плути они ужасные, — говорит он вроде как тревожно. — Их финансирует один каучуковый синдикат, и они доверху нагружены деньгами для взяток. Осточертела мне вся эта оперетка, — продолжает Меллинджер. — Хочется вспомнить, как пахнет в Нью-Йорке Восточная река, и надеть подтяжки. Порой так и подмывает бросить эту должность, но черт меня подери — горжусь я ею, хоть это и глупо. «Вот идет Меллинджер, — говорят в здешних местах. — Por Dios!<sup>1</sup> Он не клюнет и на миллион». Хотел бы я увезти этот отзыв в Нью-Йорк и показать его как-нибудь Билли Ренфро; и это поддерживает меня

<sup>1</sup> Клянусь богом! (исп.)

всякий раз, как я вижу какое-нибудь жирное животное, которое я с легкостью мог бы скрутить — стоило бы только мигнуть глазом и... отказаться от своей игры. Да, черт возьми, ко мне не подъедешь. Они это знают. Те деньги, которые попадают мне в руки, я зарабатываю честным путем и тут же трачу. Когда-нибудь наживу состояние и поеду домой к Билли есть икру. Сегодня я покажу вам, как обращаться с этими ворами и взяточниками. Я покажу им, что такое Меллинджер, личный секретарь, когда его подают без гарнира и соуса.

И тут у Меллинджера начинают трястись руки, и он разбивает стакан о горлышко бутылки.

Я сразу подумал: «Ну, мой милый, если я не ошибаюсь, кто-то положил вкусную наживку в такое место, где тебе ее видно уголком глаза».

В тот вечер мы с Генри, как и было условлено, притащили свой граммофон в какой-то глинобитный дом на грязной узенькой уличке, по колено заросшей травой. Комната, куда нас провели, была длинная, освещенная вонючими керосиновыми лампами. В ней было много стульев, а в одном конце стоял стол. На него мы поставили граммофон. Меллинджер пришел еще раньше нас; он шагал по комнате совсем расстроенный, все жевал сигары, выплевывал их и кусал ноготь на большом пальце левой руки.

Скоро начали собираться приглашенные на концерт — они приходили двойками, тройками и целыми мастьями. Кожа у них была самых разнообразных цветов — от

необкуренной пенковой трубки до начищенных лакированных туфель. Вежливы были необычайно — их так и распирало от счастья приветствовать сеньора Меллинджера. Я понимал, что они там лопотали по-испански — я два года работал у насоса в мексиканском серебряном руднике и все помнил, — но тут я и виду не подал.

Собралось их человек пятьдесят, и все расселись, когда в комнату вплыл сам пчелиный король, губернатор. Меллинджер встретил его у дверей и проводил на трибуну. Когда я увидел этого латинца, я понял, что ждать больше некого. Это был огромный, рыхлый дядя калошного цвета, с глазами, как у главного лакея в гостинице.

Меллинджер без запинки объяснил на кастильском наречии, что душа его изнывает от восторга, потому что он имеет возможность показать своим уважаемым друзьям величайшее изобретение Америки, чудо нашего века. Генри понял намек и поставил шикарную пластинку — духовой оркестр, — и праздник, можно сказать, начался. Этот губернатор немножко кумекал по-английски, и, когда музыка захрипела и кончилась, он и говорит:

— Оч-чень красиво. Gr-r-r-gracias<sup>1</sup> американским джентльменам за такую прекрасную музыку играть.

Стол был длинный, и мы с Генри сидели на одном его конце, у стены. Губернатор сидел на другом конце. Гомер П. Меллинджер стоял сбоку. Я только что подумал,

<sup>1</sup> Спасибо (исп.).

как же Меллинджер возьмется за дело, как вдруг доморошенный талант сам открыл заседание.

Этот губернатор был создан для восстаний и всякой политики. Опрометчивый был человек: ничего не делал, не подумав. Да, он был полон выжидательности и всяких сюрпризов. Он положил руки на стол, а лицо обратил к секретарю.

— Что, сеньоры американцы понимают испанский язык? — спрашивает он по-своему.

— Нет, не понимают, — говорит Меллинджер.

— Ну так слушайте, — быстро продолжает латинец. — Музыка — это, конечно, очень мило, но не обязательно. Поговорим о деле. Я отлично понимаю, зачем меня пригласили, раз я вижу здесь моих соотечественников. Вчера, сеньор Меллинджер, вам шепнули кое-что о наших предложениях. Сегодня мы будем говорить начистоту. Мы знаем, что президент благоволит к вам, и знаем, каким вы пользуетесь влиянием. Правительство скоро падет. Мы сумели оценить вас. Мы так дорожим вашей дружбой и вашей помощью, что... — Меллинджер поднимает руку, но губернатор затыкает ему рот. — Не говорите ничего, пока я не кончу.

Потом этот губернатор вытаскивает из кармана завернутый в бумагу пакет и кладет его на стол, около руки Меллинджера.

— Вы найдете здесь пятьдесят тысяч долларов американскими деньгами. Вы бессильны против нас, но, служа нам, вы

можете отработать их. Возвращайтесь в столицу и выполняйте наши распоряжения. Возьмите эти деньги. Мы вам доверяем. В пакете вы найдете бумагу с подробным изложением того, что вы должны будете для нас сделать. Будьте благоразумны и не отказывайтесь.

Губернатор замолчал и устремил на Меллинджера взгляд, полный всяких экспрессий и наблюдений. Я посмотрел на Меллинджера и порадовался, что Билли Ренфро не видит его в эту минуту. Пот выступил у него на лбу, он стоял, точно онемев, и постукивал пальцами по пакету. Эта черно-пегая банда подкапывалась под его махинации. Ему нужно было только изменить свои политические взгляды и сунуть пятерню во внутренний карман.

Генри шепчет мне на ухо, просит разъяснить, почему такой перерыв в программе. Я шепчу в ответ: «Г. П. предлагают взятку сенаторских размеров, эти черные совсем сбили его с толку». Я увидел, что рука Меллинджера пододвигается к пакету. «Он сдается», — шепнул я Генри. «Мы ему напомним, — говорит Генри, — жареные орешки на Тридцать четвертой улице в Нью-Йорке».

Генри нагнулся, достал из корзины, которую мы принесли с собой, одну пластинку, поставил ее и пустил граммофон. Это было соло на корнете, очень чистенько и красивое, и называлось оно «Родина, милая родина». Из полусотни человек, сидевших в комнате, ни один не шелохнулся, пока пластинка вертелась, а губернатор все время

в упор смотрел на Меллинджера. Я видел, как голова Меллинджера поднималась все выше, а рука отползла от пакета. Пока не прозвучала последняя нота, никто не сдвинулся с места. А когда стало тихо, Гомер П. Меллинджер взял пачку денег и швырнул ее в лицо губернатору.

— Вот вам мой ответ, — говорит Меллинджер, личный секретарь, — а утром будет второй. У меня есть доказательства, что все вы, до последнего, в заговоре против правительства. Спектакль окончен, джентльмены.

— Нет, осталось еще одно действие, — перебивает его губернатор. — Насколько мне известно, вы находитесь в услужении у президента — переписываете письма и открываете дверь, когда стучат. Я здесь губернатор. Сеньоры, призываю вас во имя нашего общего дела: хватайте этого человека.

Буро-серая шайка заговорщиков отодвинула стулья и повела наступление крупными силами. Я понял, что Меллинджер сделал промах, собрав всех своих врагов вместе, чтобы изобразить эффектную сцену. Я-то лично считаю, что он допустил целых два промаха, отказавшись от денег, но на этом останавливаться не стоит, так как наши с Меллинджером представления о честной игре не совпадают с точки зрения оценки и взглядов.

В комнате было только одно окно и одна дверь, и были они в дальнем конце. И вот, представьте себе, полсотни латинцев объявляют обструкцию против законодательства Меллинджера. Нас, можно сказать, было

тroe, так как мы с Генри одновременно заявили, что Нью-Йорк и племя Чероки встают на сторону слабейшего.

И тут Генри Хорсколлар высказался к беспорядку дня и вмешался, наглядно продемонстрировав преимущества американского воспитания в применении к природным способностям и врожденной культурности индейца. Он встал и обеими руками пригладил волосы, как девочка, когда садится за рояль.

— Станьте за мной, вы оба, — говорит Генри.

— Что будем делать, начальник? — спросил я.

— Я буду играть цentra, — говорит Генри на своем футбольном наречии. — У них во всей команде нет ни одного приличного игрока. Не отставайте от меня, и больше жизни.

Потом этот культурный краснокожий изобразил своим ртом систему звуков, от которых вся латинская сходка застыла на месте в задумчивости и смятении. Его прокламация, в общем, сводилась к некоему сочетанию боевого клича Карлайлского колледжа с университетским припевом племени Чероки. Он ударил по шоколадной команде, как горошина из детского пугача. Правым локтем он уложил губернатора на поле и расчистил сквозь всю толпу проход такой широкий, что женщина могла бы пронести по нему лестницу и никого не задеть. Нам с Меллинджером оставалось только следовать за ним.

Нам потребовалось ровно три минуты на

то, чтобы добраться до штаба, где Меллинджер распоряжался, как у себя дома. Полковник и батальон босоногой пехоты вышли на улицу и проследовали за нами до места концерта, но заговорщики уже успели смыться. Зато мы вновь обрели граммофон и с этим трофеем зашагали обратно к казармам, поставив в дорогу пластинку «А все-таки наша взяла».

На следующий день Меллинджер отводит нас с Генри в сторонку и начинает швыряться десятками и двадцатками.

— Я хочу купить ваш граммофон, — говорит он. — Мне понравился последний мотивчик, который он играл на моем вечере.

— Тут больше денег, чем за него заплачено, — говорю я.

— Это из государственных средств, — говорит Меллинджер. — Платит правительство, и платит дешево.

Это мы с Генри хорошо знали. Мы знали, что граммофон спас Гомера П. Меллиндженера, когда он чуть не проиграл свою партию, но мы не сказали ему, что знаем.

— А теперь, друзья, отправляйтесь-ка вы куда-нибудь дальше по берегу, — говорит Меллинджер, — и помалкивайте, пока я не засажу этих молодцов за решетку. Иначе вы рискуете нарваться на неприятности. И если вам раньше меня случится увидеть Билли Ренфро, скажите ему, что я вернусь в Нью-Йорк, как только разбогатею... но честным путем.

Мы с Генри притаились и не показывались до того дня, когда вернулся наш пароход. Увидев, что капитан пристал в шлюпке

к берегу, мы вошли в воду и стали ждать. Капитан так и расплылся, когда нас увидел.

— Я же вам говорил, что вы будете ждать, — сказал он. — А где гамбургская машинка?

— Она остается здесь, — говорю я, — будет играть «Родина, милая родина».

— Я же вам говорил, — повторяет капитан. — Ну, лезьте в лодку.

— И вот каким образом, — сказал Кью, — мы с Генри Хорсколларом ввезли в эту страну граммофон. Генри вернулся в Штаты, а я с тех пор так и застрял в тропиках. Говорят, Меллинджер после того случая шагу не ступил без граммофона. Наверно, он напоминал ему кое-что всякий раз, как сладкогласная сирена взяточников манила его, помахивая у него перед носом зелененькими.

— А теперь, вероятно, он везет его домой как сувенир, — заметил консул.

— Какой там сувенир. — сказал Кью. — В Нью-Йорке ему их понадобится целых два, и чтоб играли круглые сутки.

## VII ДЕНЕЖНАЯ ЛИХОРАДКА

С энтузиазмом взялось новое правительство Анчурии осуществлять свои права и выполнять обязанности. Первым долгом оно послало в Коралио своего представителя с поручением разыскать во что бы то ни стало казенные деньги, похищенные злосчастным Мирафлоресом.

Полковник Эмилио Фалькон, личный секретарь нового президента Лосады, был командирован по этому важному делу в Коралио.

Быть личным секретарем у тропического президента нелегко. Нужно быть и дипломатом, и шпионом, и деспотом, и телохранителем своего господина. Нужно ежеминутно внюхиваться, не пахнет ли где революцией. Часто президент — только ширма, а подлинный хозяин страны — секретарь. Мудрено ли, что, когда президенту приходится выбирать секретаря, он выбирает его куда осторожнее, чем спутницу жизни.

Полковник Фалькон, человек изящный, обходительный, тонкий, с деликатными манерами, истый кастилец, приехал в Коралио искать пропавшие деньги по холодным следам. Здесь он совещался с военными властями, которые уже получили приказ всячески содействовать ему в его поисках.

Он устроил себе главную квартиру в одной из комнат Casa Morena. Здесь около недели велось неофициальное судебное следствие, сюда были приглашены те, кто своими показаниями могли осветить финансовую трагедию, которая сопровождала другую трагедию, помельче — смерть президента.

Двое или трое из допрошенных — и среди них цирюльник Эстебан — показали, что самоубийца был действительно президент Мирафлорес.

— Конечно, — говорил Эстебан всемогущему секретарю, — это был он, президент.

Подумайте: можно ли брить человека и не видеть его лица? Он позвал меня для бритья к себе в хижину. У него была борода, черная и очень густая. Вы спрашиваете, видел ли я президента до той поры? Почему бы и нет? Я видел его один раз. Он ехал в карете с парохода, из Солитаса. Когда я побрил его, он дал мне золотую монету и просил не говорить никому. Но я — либерал, я — преданный друг моей родины, и я сейчас же рассказал обо всем сеньору Гудвину.

— Мы знаем, — вкрадчиво сказал полковник Фалькон, — что покойный президент имел при себе кожаный саквояж, содержащий большую сумму денег. Видели ли вы этот саквояж?

— De veras<sup>1</sup>, нет! — отвечал Эстебан. — Свет в хижине был тусклый: маленькая лампочка, при которой даже брить было трудно. Может быть, и был саквояж, но, по совести, я его не видал. Нет. Была также в комнате молодая дама, сеньорита большой красоты — это я мог заметить даже при маленьком свете. Но деньги, сеньор, или саквояж — нет, я этого не видел.

Comandante и другие офицеры показали, что их разбудил и поднял на ноги звук выстрела в отеле де лос Эстранихерос. Попросив, чтобы спасти честь и спокойствие республики, они увидали человека, лежавшего на полу без признаков жизни с зажатым в руке револьвером. Возле него была молодая женщина, горько рыдавшая. Сеньор

<sup>1</sup> Правду говоря (исп.).

Гудвин тоже находился в этой комнате. Но никакого саквояжа они не видали.

Мадама Тимотеа Ортис, владелица отеля, где была сыграна «Лиса-на-рассвете», рассказала, как в ее отеле остановились двое гостей.

— В мой дом они пришли, — сказала она, — сеньор, не совсем старый, и сеньорита, довольно хорошенъкая. Они не пожелали ни есть, ни пить, отказались даже от моего *aguardiente*, который у меня самого первого сорта! В свои комнаты они поднялись — в *número nueve* и *número diez*<sup>1</sup>. Вскоре пришел сеньор Гудвин, он поднялся к ним, чтобы поговорить о делах. Потом я услышала страшный шум, вроде выстрела из пушки, и мне сказали, что *robre Presidente*<sup>2</sup> застрелился. *Está bueno*. Никаких денег я не видала, а также не видала той вещи, которую вы называете саквояж.

Полковник Фалькон скоро пришел к вполне логичному заключению, что если кто из жителей Коралио может дать ему путеводную нить для отыскания денег, так это, несомненно, Франк Гудвин. Но с американцем мудрый секретарь повел другую политику. Гудвин был мощной опорой для новых властей, с Гудвином нужно было обращаться деликатно и бережно: нельзя было набрасывать тень ни на его храбрость, ни на его порядочность. Даже личный секретарь президента и тот не осмеливался призвать

<sup>1</sup> Номер девятый и номер десятый (*исп.*).

<sup>2</sup> Бедный президент (*исп.*).

к допросу этого каучукового принца и бананового барона, словно рядового обывателя. Поэтому он отправил Гудвину в высшей степени цветистое послание, где мед так и капал со всех словесных лепестков, и просил Гудвина осчастливить его: назначить ему свидание. В ответ на это Гудвин пригласил его к себе отобедать.

За час до обеда американец отправился в Casa Morena и дружески-задушевно приветствовал гостя. Потом, когда наступила прохлада, они оба пошли потихоньку за город, в дом Гудвина.

Американец извинился и оставил полковника в просторной, прохладной, хорошо занавешенной комнате, где паркет был составлен из брусков такого гладкого дерева, что ему позавидовал бы любой миллионер в Соединенных Штатах. Гудвин пересек внутренний дворик, искусно затененный навесами и растениями, и прошел в противоположное крыло дома, в большую комнату, выходившую окнами на море. Широкие жалюзи были открыты, в комнату врывался ветерок с океана — невидимый источник прохлады и здоровья. Жена Гудвина сидела у окна и писала акварелью предвечерний морской вид.

Вот женщина, которая казалась счастливой. И даже больше — она казалась довольной. Если бы какой-нибудь поэт захотел изобразить ее с помощью сравнений, он сравнил бы ее серые, чистые, большие глаза, обведенные яркой белоснежной каймой, с цветами выюнка. Он не нашел бы в ней ни малейшего сходства с богинями, традицион-

ные чары которых сделались холодно-классическими. Нет, ее красота была не олимпийская, но эдемская. Вообразите себе Еву, которая после изгнания из рая зажгла страстью влюбчивых воинов и мирно и кротко возвращается в рай; не богиня, но женщина, в полной гармонии с окрестным эдемом.

Когда ее муж вошел в комнату, она подняла глаза и губы у нее полуоткрылись; веки задрожали, как (да простит нас Поэзия!) хвостик у верной собаки, и вся она затрепетала, как плакучая ива под еле заметным дуновением ветра. Так она всегда встречала мужа, как бы часто они ни видались. Если бы те, кто порою за стаканом вина вспоминали старые забавные истории о сумасбродной карьере Изабеллы Гилберт, видели сегодня вечером жену Франка Гудвина в мирном ореоле счастливой семейной жизни, они либо стали бы отрицать, либо согласились бы забыть навеки эти живописные события из биографии той, ради кого покойный Мирафлорес пожертвовал и родиной, и добрым именем.

— Я привел к обеду гостя, — сказал Гудвин, — некий Фалькон из Сан-Матео, полковник. Он здесь по казенному делу. Едва ли тебе хочется видеть его, и потому я прописал тебе спасительную женскую мигрень.

— Он пришел расспросить тебя о пропавших деньгах, не правда ли? — спросила миссис Гудвин, снова принимаясь за этюд.

— Ты угадала, — ответил Гудвин. — Он уже три дня как занимается инквизицией среди туземцев. Теперь дошло дело

до меня, но так как он боится призывать к суду и расправе подданного дяди Сэма, он решил превратиться из судьи в визитера и допрашивать меня за обедом. Он будет терзать меня пытками за моим собственным вином и десертом.

— Нашел ли он кого-нибудь, кто бы видел этот саквояж с деньгами?

— Никого. Даже мадама Ортис, у которой такой зоркий глаз на сборщиков налогов, и та не помнит, что у него был багаж.

Миссис Гудвин положила кисть и вздохнула.

— Мне так совестно, Франк, — сказала она, — что из-за этих денег у тебя столько хлопот. Но ведь мы не можем сказать правду, не так ли?

— Еще бы, — сказал Гудвин и передернул плечом, как делали здешние жители, у которых он и перенял этот жест, — это было бы совсем не умно. Хотя я и американец, они живо упрытали бы меня в *calabozo*<sup>1</sup>, если бы узнали, что этот саквояж присвоен нами. Нет, мы должны заявить, что знаем обо всем этом деле не больше, чем все остальные невежды в Коралио.

— А не думаешь ли ты, что этот человек подозревает тебя в присвоении денег? — спросила она, сдвинув брови.

— Я бы ему не советовал! — небрежно отвечал Гудвин. — Хорошо, что никто, кроме меня, не видал саквояжа. Так как во время выстрела в комнате был только я, то, естественно, власти с особым вниманием

<sup>1</sup> Тюрьма (*исп.*).

захотят исследовать мою роль в этом деле. Но беспокоиться нечего. Этот полковник отлично покушает и на закуску получит порцию американского блефа. Тем все дело и кончится.

Миссис Гудвин встала и подошла к окну. Гудвин последовал за нею, и она прислонилась к нему, как бы ища у него поддержки и защиты, как всегда с той мрачной ночи, когда он впервые стал ее защитником перед людьми. Так они постояли некоторое время.

Прямо перед ними в гуще тропических листьев, ветвей и лиан была прорублена просека, кончавшаяся у заросшего мангровыми деревьями болота на окраине Коралио. У другого конца этого воздушного туннеля им была видна могила, украшенная деревянной колодой, на которой было начертано имя несчастного президента Мирафлореса. В дождливую погоду миссис Гудвин смотрела на могилу из этого окна, а когда небеса улыбались, она выходила в тенистые зеленые рощи, разведенные на плодородных холмах ее сада, и тоже не спускала глаз с могилы; на лице ее появлялось тогда выражение нежной печали, которая теперь, впрочем, уже не могла омрачить ее счастье.

— Я так любила его, Франк, — я любила его даже после этого страшного бегства, которое окончилось такой катастрофой. И ты был так добр ко мне и сделал меня такой счастливой. Но все запуталось, все стало неразрешимой загадкой. Если дознаются, что мы взяли эти деньги себе, как ты думаешь, у тебя не потребуют, чтобы ты возместил эту сумму?

— Без сомнения, потребуют, — отозвался Гудвин. — Ты права, это действительно загадка. И пусть она останется загадкой для Фалькона и его соплеменников до тех пор, пока отгадка не придет сама собой. Мы с тобой знаем в этом деле больше всех, но и мы не знаем всего. Боже нас упаси обмолвиться об этих деньгах хотя бы намеком. Пусть люди думают, что президент прятал их в горах по дороге или что ему удалось переправить их куда-нибудь прежде, чем он прибыл в Коралио. Вряд ли этот Фалькон подозревает меня. Он делает то, что ему приказано, ведет следствие очень ретиво, но он не найдет ничего.

Такова была их беседа. Если бы кто посмотрел на их лица в то время, как они совещались о погибших финансах Анчурии, всякого поразила бы вторая загадка, ибо и на лицах, и на всей повадке супругов лежал отпечаток саксонской гордости, честности, благороднейших мыслей. Спокойные глаза Гудвина, выразительные черты его лица, воплощение бесстрашной, справедливой, доброй души совершенно не вязались с его словами.

Что же касается его жены, то одного взгляда на ее лицо было достаточно, чтобы не поверить обличающей их беседе. Благородства была исполнена вся ее поза; невинность сквозила в глазах. Ее ласковая преданность даже не напоминала то чувство, которое порой толкает женщину в порыве великодушной любви разделить вину своего возлюбленного. Нет, здесь было что-то

неладно, уж очень разные картины представились бы глазу и слуху.

Обед был сервирован для Гудвина и его гостя в *patio*<sup>1</sup>, под прохладной тенью листвы и цветов. Американец извинился перед именитым секретарем: миссис Гудвин никак не могла выйти к обеду, так как у нее от легкой *calentura*<sup>2</sup> болит голова.

После обеда они, согласно обычаю, еще посидели за кофе и сигарами. Полковник Фалькон с истинно кастильской деликатностью ждал, чтобы хозяин сам заговорил о том деле, ради которого они сегодня встретились. Ждать ему пришлось недолго. Едва появились сигары, американец первый коснулся этой темы — он спросил у секретаря, удалось ли ему набрести на следы пропавших денег.

— Увы, — признался полковник Фалькон, — я еще не нашел ни одного человека, который хотя бы видел у президента саквояж или деньги. Но я не теряю надежды. В столице твердо установлено, что президент Мирафлорес выехал из Сан-Матео, имея при себе сто тысяч долларов, принадлежащих правительству, и в сопровождении сеньориты Изабеллы Гилберт, оперной певицы. Наше правительство не может допустить и мысли, — заключил полковник с улыбкой, — что вкус нашего покойного президента позволил бы ему расстаться по дороге с той или с другой из этих двух драгоценностей, усложнивших его бегство.

<sup>1</sup> Внутренний дворик (*исп.*).

<sup>2</sup> Лихорадка (*исп.*).

— Вероятно, вы желали бы узнать от меня все, что мне известно по этому делу, — сказал Гудвин, прямо подходя к самой сути. — Мое показание будет короткое. В тот вечер я вместе с другими друзьями стоял на страже, поджиная президента, так как о его бегстве я был извещен шифрованной телеграммой Энглхарта, одного из наших агентов в столице. Около десяти я увидел мужчину и женщину, которые очень быстрошли по улице. Они подошли к отелю дес лос Эстранихерос и сняли там комнаты. Я последовал за ними на верхний этаж, оставив Эстебана вместо себя на улице. Эстебан только что рассказал мне, что он в тот вечер сбрил президенту бороду, так что я не был удивлен, когда увидел его гладко выбритое лицо. Когда я обратился к нему от лица народа с требованием возвратить народное добро, он вынул револьвер и застрелился. Через несколько минут на месте происшествия уже толпились офицеры и многие местные жители. Все дальнейшее вам, несомненно, известно.

Гудвин замолчал. Посланец Лосады тоже не произнес ни слова, как бы показывая, что ждет продолжения.

— И теперь, — продолжал американец, глядя прямо в глаза собеседнику и произнося каждое слово с особым ударением, — пожалуйста, запомните то, что я вам сейчас скажу. Я не видел никакого саквояжа, никакого ящика, сундука, чемодана, в котором хранились бы деньги, составляющие собственность республики Анчурии. Если президент Мирафлорес и

скрылся с деньгами, принадлежащими казначейству этой страны, или ему самому, или еще кому-нибудь, я не видел никаких следов этих денег. Ни в гостинице, ни в каком другом месте, ни в то время, ни в какое другое. Мне кажется, что этим показанием вполне исчерпываются все вопросы, которые вам было желательно мне предложить.

Полковник Фалькон поклонился и описал своей сигарой затейливый и широкий зигзаг. Он считал свой долг исполненным. Спорить с Гудвином не подобало. Гудвин был опорой правительства и пользовался безграничным доверием нового президента. Его честность была тем капиталом, который создал ему состояние в Анчурии так же, как в свое время она явилась прибыльной «игрой» Меллинджера, секретаря Мирафлореса.

— Благодарю вас, сеньор Гудвин, за ваш ясный и прямой ответ, — сказал Фалькон. — Президенту достаточно вашего слова. Но, сеньор Гудвин, мне приказано выследить всякую нить, которая может привести нас к решению вопроса. Есть обстоятельство, которого я до сих пор не касался. Наши друзья французы, сеньор, обычно говорят: «*Cherchez lea femme*<sup>1</sup>», когда нужно разрешить неразрешимую загадку. Но здесь даже искать не приходится. Женщина, которая сопровождала президента во время его злополучного бегства, несомненно, должна...

— Я вынужден остановить вас, — прервал его Гудвин. — Действительно, когда

<sup>1</sup> Ищите женщину (франц.).

я вошел в отель, чтобы задержать президента Мирафлореса, я встретил там даму. Но я позволю себе напомнить вам, что теперь она моя жена. То, что я сказал, я сказал и от ее лица. Ей ничего не известно о судьбе саквояжа или денег, о которых вы хлопочете. Скажите президенту, что я ручаюсь за ее невиновность. Едва ли я должен прибавить, полковник Фалькон, что я не хотел бы, чтобы ее подвергали допросу и вообще беспокоили.

Полковник Фалькон опять поклонился.

— *Rog supuesto!*<sup>1</sup> — воскликнул он. И чтобы показать, что допрос кончен, он прибавил: — А теперь, сеньор, покажите мне тот вид с вашей галереи, о котором вы сегодня говорили. Я большой любитель морских видов.

Вечером, еще не поздно, Гудвин проводил своего гостя в город и оставил его на углу Калье Гранде. Когда он шел домой, из двери одной пульперии к нему выскочил с радостным видом некий Блайт-Вельзевул, человек, обладавший манерами царедворца и внешним обликом огородного чучела.

Блайта наименовали Вельзевулом, чтобы отметить, как велико было его падение. Некогда, в горных кущах давно потерянного рая, он общался с другими ангелами земли. Но судьба швырнула его вниз головой в эти тропики и зажгла в его груди огонь, который ему редко удавалось погасить. В Коралио его называли бродягой, но на самом деле это был закоренелый идеалист, старавшийся

<sup>1</sup> Разумеется (*исп.*).

похерить скучные истины жизни при помощи водки и рома. Как и подлинный падший ангел, который, должно быть, во время своего страшного падения в бездну с безрассудным упрямством зажимал у себя в кулаче райскую корону или арфу, так этот его тезка держался за свое золотое пенсне, последний признак его былого величия. Это пенсне он носил с удивительной важностью, бродяжничая по берегу и вымогая у приятелей монету. Посредством каких-то таинственных чар его пунцово-пьяное лицо было всегда чисто выбрито. С большим изяществом он поступал в приживальщики к любому, кто мог обеспечить ему ежедневную выпивку и укрыть от дождя и полуночной росы.

— А-а, Гудвин! — развязно крикнул пропойца. — Я так и думал, что увижу вас. Мне нужно сказать вам по секрету два слова. Пойдемте куда-нибудь, где можно поговорить. Вы, конечно, знаете, что тут болтается приезжий субъект, который разыскивает пропавшие деньги старика Мирафлореса?

— Да, — сказал Гудвин, — у меня уже был с ним разговор. Пойдемте к Эспаде, я могу уделить вам минут десять.

Они вошли в пульперию и сели за маленький столик на табуретки с обитыми кожей сиденьями.

— Будем пить? — спросил Гудвин.

— Только бы поскорее, — сказал Блайт. — У меня с самого утра во рту засуха. Эй, muchacho, el aguardiente por aca<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Мальчик, подай коньяку (исп.).

— А зачем я вам нужен? — спросил Гудвин, когда выпивка была поставлена на стол.

— Черт возьми, милый друг, — сказал сиплым голосом Блайт. — Почему вы омрачаете делами такие золотые мгновения? Я хотел повидаться с вами... Но сначала вот это. — Он одним глотком выпил коньяк и с тоской заглянул в пустой стакан.

— Еще один! — спросил Гудвин.

— По совести говоря, — отозвался падший ангел, — мне не нравится ваше слово «один». Это не совсем деликатно. Но конкретная идея, которая воплощена в этом слове, неплоха.

Стаканы были наполнены снова. Блайт с упоением потягивал напиток и вскоре опять сделался идеалистом.

— Скоро мне пора уходить, — сказал Гудвин, — есть у вас какое-нибудь дело ко мне?

Блайт ответил не сразу.

— Старый Лосада здорово припечет того вора, — заметил он наконец, — который свистнул этот саквояж. Как по-вашему?

— Несомненно, — спокойно ответил Гудвин и медленно поднялся со стула. — Ну, теперь я пойду домой. Миссис Гудвин одна. Вы так и не сказали мне вашего дела.

— Нет, — отозвался Блайт. — Когда будете проходить мимо стойки, пошлите мне еще один стакан. И заплатите за все. Старый Эспада уже не верит мне в долг.

— Ладно, — сказал Гудвин. — Buenas noches<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Спокойной ночи (исп.).

Вельзевул склонился над стаканом и вытер свое пенсне не внушающим доверия платком.

— Я думал, что удастся, — пробормотал он после паузы. — Но нет, не могу. Джентльмен не может шантажировать человека, с которым он пьет за одним столом.

## VIII АДМИРАЛ

Анчурийским властям не свойственно горевать о том, чего нельзя воротить. Источников дохода у них сколько угодно; любой час дня и ночи — самый подходящий для выкачивания средств. И даже обильные сливки, снятые околодованным Мирафлоресом, не заставили удачливых патриотов тратить попусту время на бесплодные со- жаления. Правительство поступило мудро: оно немедленно стало пополнять дефицит — повысило ввозные пошлины и намекнуло ряду богатых граждан, что посильные пожертвования с их стороны будут расценены как проявление патриотизма, и притом очень своевременное. Казалось, что правление Лосады, нового президента, сулит государству немало добра. Обойденные чиновники и фавориты из армии организовали новую «либеральную» партию и снова стали строить всевозможные планы для свержения власти. Политическая жизнь Анчурии снова начала, как китайская пьеса, медленно развертывать бесконечные, похожие друг на друга картины. Порой из-за кулис выглядывает Шутка и озаряет цветистые строки.

Дюжина шампанского в сочетании с неофициальным заседанием президента и министров привела к тому, что в стране появился военный флот, а Фелипе Кэррера был назначен его адмиралом.

Шампанское, впрочем, было не единственной причиной возникновения флота. Не малую роль в этом деле сыграл также новый военный министр дон Сабас Пласидо.

Президент предложил кабинету собраться, чтобы обсудить ряд политических вопросов и провести несколько текущих государственных дел. Сначала заседание шло вяло и нудно; дела и вино были сухи. Несожиданная шалость, зародившаяся в уме дона Сабаса, придала не в меру серьезной правительственный процедуре оттенок приятной игривости.

На беспорядочной повестке дня стояло донесение береговой полиции о том, что в городе Коралио таможенные захватили шлюпку «Ночная звезда» с контрабандой: галантерейные товары, медицинские снадобья, сахарный песок и коньяк с тремя звездочками, а также шесть винтовок системы Мартини и бочонок американского виски. Так как шлюпка была схвачена в то время, когда она перевозила контрабанду, она по закону считалась собственностью государства.

Начальник таможни в своем донесении осмелился отступить от строго установленных правил и указал, что конфискованное судно могло бы послужить для нужд республики. Это первое судно, захваченное

таможенным департаментом за десять лет. Начальник таможни воспользовался случаем погладить свой департамент по головке.

Судно действительно могло пригодиться. Чиновникам нередко случалось передвигаться вдоль берега по делам службы, и перевозочных средств у них не хватало. Кроме того, шлюпку можно было бы представить верным и надежным матросам, которые в качестве береговой охраны, отбили бы у контрабандистов охоту заниматься столь неблаговидным ремеслом. Начальник таможни позволил себе даже указать на то лицо, которому, по его мнению, с великой пользой для дела могло быть поручено управление судном. Это молодой уроженец Коралио, некто Фелипе Каррера. Правда, он не слишком умен, но он предан правительству и слывет лучшим моряком на побережье.

Вот это-то указание и дало военному министру возможность спастись от скуки заседания при помощи забавной буффонады.

В конституции этой маленькой приморской банановой республики была полузаытая статья, которая предусматривала создание военного флота. Эта статья вместе со многими другими, более мудрыми, лежала без всякого движения с первого дня основания республики. У Анчурии не было флота, и флот ей не был нужен. Характерно, что именно военный министр дон Сабас, человек веселый, ученый, отважный и своенравный, стряхнул пыль с этой дряхлой и спящей статьи ради того, чтобы в мире стало немного больше веселья, чтобы его снисходительные коллеги улыбнулись.

С великолепной наигранной серьезностью он внес в Высший совет предложение создать флот. Он с таким веселым и остроумным пылом доказывал, каким образом эта государственная мера покроет республику славой и сослужит ей великую службу, что перед его пародией спасовала даже та чванная важность, которая отличала президента Лосаду.

Шампанское игриво кипело в жилах веселых сановников. Не в обычай солидных управителей Анчурии было оживлять свои заседания этим напитком, который набрасывает всеизменяющий покров на всякое серьезное дело. Вино было любезным подношением от представителя фруктовой компании «Везувий» в знак дружбы и кое-каких деловых отношений, существующих между этой компанией и Анчурийской республикой.

Шутка была доведена до конца. Был изготовлен внушительный официальный документ, украшенный печатями всех цветов радуги, а также развевающимися пестрыми лентами. На документе были кудрявые подписи всех анчурийских министров. Эта бумага давала сеньору Фелипе Кэррера звание флаг-адмирала республики. Таким-то путем в какие-нибудь двадцать минут с помощью дюжины бутылок extra dry<sup>1</sup> Анчурия заняла подобающее ей место среди морских держав мира, а Фелипе Кэррера получил право требовать салюта из девятнадцати пушек всякий раз, когда он появлялся в порту.

<sup>1</sup> Сухое (шампанское) (англ.).

Южные расы не обладают тем особым юмором, который находит приятность в несчастиях иувечьях людей. Отсутствием этого юмора объясняется то, что они никогда не смеются, как смеются их братья на Севере, над юродивыми, сумасшедшими, больными, калеками.

Фелипе Каррера был послан на землю с половиной ума. Поэтому жители Коралио называли его «*El pobre cito loco*» — бедненький помешанный — и говорили, что бог послал его на землю лишь в половинном размере и что другая его половина находится где-нибудь на небе.

Мрачный и горделивый Фелипе почти никогда не произносил ни единого слова. Его сумасшествие сказывалось лишь негативно. На берегу он обычно уклонялся от всяких разговоров. Он как будто догадывался, что на суше, где требуется столько различных родов понимания, ему лучше молчать, но на воде его единственный талант уравнивал его с другими людьми. Даже те мореплаватели, которых бог делал тщательно, не наспех, не в половинном размере, и те едва ли могли управлять парусной лодкой так искусно. Когда стихии бушевали и заставляли всех людей дрожать, тогда слабоумие Фелипе не служило ему помехой. Он был несовершенный человек, но морское дело знал в совершенстве. Собственного судна у него не было, но он работал матросом на тех шхунах и шлюпках, которые постоянно шныряют вдоль берега, перевозя фрукты на пароходы в тех местах, где нет пристани. Начальник таможни и советовал

предоставить в его распоряжение конфискованную шлюпку именно потому, что уважал его отвагу и талант, а кроме того, чувствовал к нему сострадание.

Когда маленькая шутка дона Сабаса приобрела форму внушительного государственного акта, начальник таможни улыбнулся. Он не ожидал, что его предложение будет выполнено так скоро и в таких преувеличенных формах. Он сейчас же послал *muchacho* за будущим адмиралом.

Начальник таможни ожидал его в своей канцелярии. Управление таможни помещалось на Калье Гранде, и в окна всегда врывались легкие морские ветерки. Начальник в белом костюме и в парусиновых туфлях сидел за древним письменным столом, перебирая бумаги. Попугай, забравшись на подставку для перьев, смягчал скуку, исходившую от казенных бумаг, огнем отборных кастильских ругательств. Рядом с комнатой начальника помещались две другие. В одной из них мелкочиновная рать, состоящая из юношей всевозможных оттенков кожи, исполняла с большой пышностью свои многообразные обязанности. В другой комнате можно было усмотреть бронзового младенца, нагишом резвящегося на полу. Тут же в гамаке худощавая женщина бледно-лимонного цвета играла на гитаре и с удовольствием покачивалась под дуновением прохладного ветра. Сочетая таким образом выполнение своих высоких обязанностей с видимыми признаками семейного благополучия, начальник таможни чувствовал себя еще более счастливым оттого, что ему

была предоставлена власть даровать счастье «скудоумному Фелипе».

Фелипе пришел и стал перед начальником таможни. Это был юноша лет двадцати, довольно благообразный, но с выражением какой-то рассеянности и задумчивой пустоты. На нем были белые хлопчатобумажные брюки, украшенные по швам красными полосами, в чем сказывалось смутное желание приблизиться к военной форме. Его синяя рубаха была открыта у ворота; ноги были босы; в руке он держал самую дешевую соломенную шляпу американской работы.

— Сеньор Каррера, — сказал начальник важно, показывая пышную бумагу. — Я послал за вами по приказу самого президента. Этот документ, который ныне я передаю в ваши руки, возводит вас в чин адмирала нашей великой республики и предоставляет вам полную власть над всеми морскими силами нашей страны. Вы, может быть, скажете, милый Фелипе, что флота у нас еще нет, но знайте: шлюпка «Ночная звезда», отнятая у контрабандистов моими храбрыми людьми, отдается вам под начало. Шлюпка будет служить государству. Вы должны быть готовы во всякое время перевозить чиновников по морю в любое место, куда им понадобится. Вы также будете по мере сил охранять берег от контрабандистов. Вы будете поддерживать на море честь и престиж вашей родины и примете все меры, чтобы Анчурия заняла первое место среди морских держав мира. Вот инструкции, которые военный министр поручил мне передать вам. *Por dios!* Я не знаю, как вы

исполните эту волю властей, так как в приказе министра ни слова не говорится ни о матросах, ни о суммах, ассигнованных на флот. Может быть, матросов вы должны добыть себе сами, сеньор адмирал, этого я не знаю, но все же вам оказана высокая честь. Теперь я передаю вам этот государственный акт. Когда вы будете готовы принять под свою команду наше судно, я распоряжусь, чтобы оно немедленно было предоставлено вам. Других инструкций у меня нет.

Фелипе взял из рук начальника бумагу. Некоторое время он смотрел в открытое окно на блиставшее море с обычным видом глубокого, но бесплодного раздумья. Потом повернулся, не сказав ни единого слова, и быстро зашагал по горячему песчанику улицы.

— Pobrecito loco! — вздохнул начальник таможни, и попугай, сидящий на подставке для перьев, закричал: «Loco! loco! loco!»

На следующее утро по улицам к зданию таможни потянулась странная процессия. Впереди шел адмирал флота. Кое-как ему удалось наскрести жалкое подобие военной формы — красные штаны, грязную короткую синюю куртку, обильно расшитую золотой тесьмой, и старую солдатскую фуражку, которую, должно быть, бросил за ненадобностью в Белисе какой-нибудь британский солдат, а Фелипе подобрал во время одного из своих плаваний. К его поясу была пристегнута пряжкой старинная морская сабля, подаренная ему булочником Педро Лафитом, который с гордостью утверждал, что унасле-

довал ее от своего великого предка, знаменитого пирата. За адмиралом шествовали его матросы, только что призванные на его корабль, — тройка улыбающихся, лоснящихся черных карибов, обнаженных до пояса и поднимавших босыми ногами целые тучи песку.

В кратких выражениях, с большим достоинством потребовал Фелипе у начальника таможни свое судно. Тут ожидали его новые почести. Супруга начальника, которая весь день играла на гитаре и читала в гамаке романы, таила в своей желтой беззлобной груди большую любовь ко всему романтическому. Она разыскала в одной старой книге изображение флага, который в незапамятные времена был якобы морским флагом Анчурии. Может быть, идея его принадлежала еще родоначальникам нации; но так как флота им создать не удалось, флаг погрузился в забвение. Старательно, своими собственными ручками романтическая дама изготовила флаг по рисунку: малиновый крест на сине-белом поле. Она поднесла его Фелипе с такими словами:

— Отважный мореплаватель, это флаг твоей родины. Будь верен ему и, если нужно, умри за него! Да хранит тебя бог!

Впервые на лице адмирала появился проблеск какого-то чувства. Он взял шелковый стяг и благоговейно погладил его.

— Я адмирал, — сказал он, обращаясь к супруге начальника. К более подробному выражению чувств на суще он не мог себя принудить. Но на море, когда он увенчает переднюю мачту своего флота флагом, у

него, может быть, найдутся более красноречивые слова.

После этого адмирал удалился в сопровождении своих подчиненных. Три дня они трудились на берегу над «Ночью звездою»: красили ее в белый цвет с голубою каймой. После этого Фелипе украсил себя новыми знаками отличия — воткнул себе в фуражку яркие перья попугая. Затем он снова проследовал со своей верной командой к зданию таможни и официально уведомил ее начальника, что шлюпке дано новое название: «El Nacional».

Нелегко пришлось флоту в первые месяцы. Ведь и адмиралы не знают, что им делать, если они не получают приказов. Но приказов ниоткуда не поступало. Не поступало и жалованья. «El Nacional» праздно качался на якоре.

Когда жалкие сбережения Фелипе истощились, он пошел в таможню и поднял вопрос о финансах.

— Жалованье! — воскликнул начальник таможни, поднимая руки к небесам. — Valgame dios!<sup>1</sup> Я сам не получаю жалованья, ни сентаво за последние семь месяцев! Сколько полагается адмиралу, вы спрашиваете? Кто знает! Не меньше, чем три тысячи песо! Скоро в стране будет опять революция. Первый знак, что идет революция: правительство только и делает, что требует у нас золота, золота, а само не платит нам ни реала.

<sup>1</sup> Боже милостивый! (исп.)

Фелипе повернулся и ушел. На его мрачном лице появилось даже какое-то подобие радости. Революция — это война, а если война, значит, адмирал не останется без дела. Довольно унизительно быть адмиралом и не делать ровно ничего. А тут еще голодные матросы ходят за тобою по пятам и надеются, чтобы ты дал им на табак и бананы.

Когда он вернулся туда, где его ждала команда его беспечальных карибов, все они вскочили на ноги и отдали ему честь, как он сам научил их.

— Вот в чем дело, *muchachos*, — сказал он им, — оказывается, наше правительство бедное. У него нет денег ни для меня, ни для вас. Будем же сами зарабатывать на прожитье. Этим мы послужим родине. Скоро, — и тут его тусклый взгляд засвятился, — она обратится к нам за помощью.

С этого времени «El Nacional» перестал выделяться из числа других прибрежных лодок. Он превратился в обыкновенное рабочее судно. Наравне с плоскодонками работал он, перевозя бананы и апельсины на пароходы, которые останавливались за милю от берега. Военный флот, не требующий у казны ассигновок, заслуживает того, чтобы быть отмеченным ярко-красными буквами в бюджете любой страны.

Заработав достаточно, чтобы обеспечить и себя и команду на целую неделю вперед, Фелипе ставил свое судно на якорь и отправлялся, в сопровождении свиты, к маленькому зданию почтово-телеграфной конторы. Глядя со стороны, можно было поду-

мать, что это прогоревшая опереточная труппа осаждает укрывающегося антрепренера. В сердце у Фелипе никогда не умирала надежда, что вот-вот ему пришлют какой-нибудь приказ из столицы. Большой обидой для его самолюбия и его патриотизма было то, что в нем, как в адмирале, никто не нуждался. Всякий раз, приходя на телеграф, он спрашивал очень серьезно, с надеждой во взоре, нет ли телеграммы на его имя.

Телеграфист делал вид, что роется среди телеграмм, и неизменно отвечал одно и то же:

— Покуда нет, *Señor el Almirante ! Poco tiempo !*<sup>1</sup>

А на улице, в холодке под лимонными деревьями, его команда жевала сахарный тростник или безмятежно спала. Какое удовольствие служить государству, которое довольствуется столь малой службой !

Однажды, в начале лета, в стране вспыхнула революция, предсказанная начальником таможни. Она давно уже тлела под спудом. При первом же раскате революционной грозы адмирал направил свое судно к берегам соседней республики и променял наскоро собранные фрукты на патроны для пяти винтовок системы Мартини — единственных орудий, которыми мог похвалиться флот. Потом он вернулся домой и поспешил на телеграф. Мундир его вылинял, длинная сабля цепляла о пунцовые штаны. Он растягивался в своем излюбленном углу и снова принимался ждать телеграмму — эту те-

<sup>1</sup> Подождите ! (исп.)

леграмму, которая так долго не приходит, но теперь придет непременно.

— Покуда нет, *Señor el Almirante*, — говорил телеграфист. — *Poco tiempo!*

При этом ответе адмирал, гремя саблей, опускался на стул и снова ждал, когда затикает аппарат на столе.

— Придет! — говорил он / с уверенностью. — Я адмирал!

## IX РЕДКОСТНЫЙ ФЛАГ

Во главе повстанцев на этот раз оказался Гектор и Пиндар<sup>1</sup> южных республик, дон Сабас Пласидо. Путешественник, воин, поэт, ученый, государственный деятель, тонкий ценитель искусств — что интересного мог он найти в мелких делах родного захолустья?

— Политические интриги для нашего друга Пласидо — просто каприз, — объяснял один его приятель. — Революция для него то же самое, что новые темпы в музыке, новые бациллы в науке, новый запах, или новая рифма, или новое взрывчатое вещество. Он выжмет из революции все возможные ощущения и через неделю забудет о ней и снова пустится на своей бригантине черт знает куда, за океан, чтобы пополнить какой-нибудь редкостью свою и так уже всемирно знаменитую коллекцию.

<sup>1</sup> Гектор — троянский воин в «Илиаде» Гомера; Пиндар — древнегреческий поэт (VI—V вв. до н. э.).

Коллекцию чего? Боже мой, решительно всего: начиная с почтовых марок и кончая доисторическими каменными идолами.

Однако события под руководством этого эстета и дилетанта развертывались довольно бурно. Население обожало его. Его яркая личность привлекала к нему сердца. Кроме того, всем было лестно, что такой большой человек мог заинтересоваться такой малостью, как собственная родина. В столице многие примкнули к его знаменам, хотя войска (вразрез с его планами) оставались верны старому правительству. В прибрежных городишках уже начались весьма оживленные схватки. Говорили, будто за оппозиционной партией стоит пароходная компания «Везувий» — великая сила, которая всегда смотрела на республику Анчурию с укоризненной улыбкой и поднятым пальцем, внушая ей, чтобы она не шалила и была паинькой. Пароходная компания «Везувий» предоставила свои пароходы «Путник» и «Спаситель» для перевозки революционных отрядов.

Но в Коралио все было тихо. Город был объявлен на военном положении, и, таким образом, революционные дрожжи до поры до времени были прочно закупорены. А потом разнеслись слухи, что повстанцы повсюду разбиты. В столице войска президента одержали победу; передавали, будто вожди восстания были вынуждены скрыться и бежать и что за ними будто мчалась погоня.

В маленькой почтовой конторе всегда толпились чиновники и преданные прави-

тельству граждане, ожидая новостей из столицы. Однажды в конторе застучал телеграфный аппарат и через минуту телеграфист закричал во все горло:

— Телеграмма для *el Almirante* дона сеньора Фелипе Кэррера!

Послышался суетливый шорох, потом резкое бряцание жестяных ножен; адмирал быстро вскочил со своего обычного места и побежал через всю комнату к телеграфисту.

Ему дали телеграмму. Он стал читать ее медленно, по складам. Это был первый приказ, полученный им от начальства. В приказе было начертано:

«Немедленно доставьте свое судно к устью реки Руис, откуда повезете говядину и другие припасы для солдатских казарм в Альфоране.

*Генерал Мартинес».*

Невелика честь везти говядину, но как бы то ни было, адмирала наконец-то призвали на службу отечеству, и радость охватила его. Он еще туже затянул свой кушак, разбудил дремавшую команду, и через четверть часа *«El Nacional»* уже несся вдоль берега на всех парусах под свежим ветром, дувшим с океана.

Рио-Руис — небольшая речонка, впадающая в море за десять миль от Коралио. Этот участок берега дик и безлюден. С высот Кордильер несется Руис, холодная и пенистая, а потом, успокоившись на низи-

не, широко и лениво течет по наносному болоту в море.

Через два часа «El Nacional» прибыл к устью реки. Берега были покрыты уродливыми, страшными деревьями. Буйные заросли тропиков опутали все берега и погрузились в красно-бурую воду. Беззвучно вошла туда шлюпка и была встречена еще более глубоким беззвучием. Сверкая зеленью, охрой, ярко-пунцовыми красками, Рио-Руис покоилась в тени, без движения, без звука. Только и было слышно, как вливавшаяся в море вода ворковала у носа шлюпки. Можно ли было надеяться получить в этом пустынном безлюдье говядину и другие припасы?

Адмирал решил бросить якорь, и едва загремела цепь, как в лесу раздался неожиданный шум, мгновенно подхваченный эхом. Устье реки Руис пробудилось от утреннего сна. Попугаи и павианы завизжали и залаяли в листве; свист, писк, рычанье: животная жизнь проснулась; мелькнуло что-то синее — это вспугнутый тапир пробивал себе дорогу сквозь лианы.

Военный флот по приказу адмирала простоял в устье речки несколько долгих часов. Команда соорудила обед: похлебка из акульих плавников, бананы, вареные крацы и кислое вино. Адмирал в трехфутовый телескоп внимательно разглядывал непрходимую чащу листвы в пятидесяти футах от себя.

Дело шло к вечеру, когда внезапно в лесу, с левой стороны, послышались раскатистые крики: «Ал—ло—о!» С судна ответили, и три человека, верхом на мулах, про-

дрались сквозь густую листву и остановились ярдах в десяти от воды. Там они соскочили с мулов, и один из них расстегнул пояс и так яростно ударил ножнами своей шпаги всех мулов одного за другим, что животные, вскинув ногами, галопом кинулись обратно в лес.

Странно: неужели этим людям поручено доставить на берег говядину? Совсем неподходящие люди! Один крупный, энергичный мужчина, весьма незаурядной наружности. Чистый испанский тип — темные курчавые волосы, тронутые кое-где сединой, глаза голубые, блестящие и осанка важного сеньора, *caballero grande*. Двое других были невысокого роста, темнолицы, в военных мундирах, в высоких ботфортах и при шпагах. Платье у всех было мятное, рваное, грязное. Очевидно, какая-то очень серьезная причина погнала их сломя голову через джунгли, болота и реки.

— О—гэ! *Señor Almirante!* — крикнул высокий мужчина. — Пошлите-ка нам ваш членок.

Членок был спущен на воду; Фелипе с одним из карибов взялись за весла и причалили к левому берегу.

Рослый, дородный мужчина стоял у самого края воды, по пояс в перепутанных лианах. Взглянув на воронье пугало, сидевшее на корме членока, он, видимо, почувствовал к нему живой интерес; его подвижное лицо так и засветилось.

Месяцы бескорыстной службы — без всякого жалованья — сильно омрачили блестательную внешность адмирала. Его малино-

вые брюки превратились в лохмотья. Блестящие пуговицы почти все отвалились. Желтая тесьма тоже. Козырек его фуражки был оторван и болтался над самыми глазами. Ноги адмирала были босы.

— Дорогой адмирал! — крикнул дородный мужчина, и его голос зазвучал, словно охотничий рог. — Целую ваши руки, дорогой адмирал! Я знал, что мы можем положиться на вас. Вы такой надежный патриот! Вы получили нашу телеграмму от... генерала Мартинеса? Пожалуйста, вот сюда, ближе, ближе, дорогой адмирал. На этих зыбких дьявольских болотах мы все еще не чувствуем себя в безопасности.

Фелипе посмотрел на него с неподвижным лицом.

— Говядину и другие припасы для Альфоранских казарм, — процитировал он.

— Право, дорогой адмирал, мясники были бы рады поработать ножом, да не вышло. Скот будет спасен: вы приехали вовремя. Поскорее возьмите нас к себе на корабль, сеньор. Сначала вы, *caballeros*, а *prisa!*<sup>1</sup> А потом приедете за мной. Лодочка слишком мала.

Челнок подвез двух офицеров к шлюпке и вернулся к берегу за толстяком.

— А есть ли у вас, дорогой адмирал, такая презренная вещь, как еда? — крикнул он, очутившись на судне. — И, может быть, кофе?.. «Говядина и другие припасы». *Nombr de dios!*<sup>2</sup> Еще немного, и мы при-

<sup>1</sup> Господа, живо! (*исп.*)

<sup>2</sup> Клянусь богом! (*исп.*)

нуждены были съесть одного из этих мулов, которых вы, полковник Рафаэль, приветствовали так нежно в последнюю минуту ножнами вашей шпаги. Давайте же подкрепимся едою — и в путь!.. Прямо к Альфорранским казармам, не так ли?

Карибы приготовили пищу, на которую три пассажира «El Nacional» накинулись с радостью сильно проголодавшихся людей. С наступлением вечера ветер, как всегда в этих местах, переменился; подуло с гор; повеяло прохладой, стоячими болотами, гнилыми растениями топей. Грот был поднят и надулся, и в ту же минуту с берега, из глубины лесной чащи, послышался нарастающий гул. Стали доноситься какие-то крики.

— Это мясники, — засмеялся большой человек, — мясники, дорогой адмирал! Но они опоздали. Скотинки для убоя уж нет.

Адмирал командовал судном и больше не произносил ни слова. Когда поставили кливер и марсель, шлюпка быстро выбралась из устья. Толстяк и его спутники устроились на голой палубе с наибольшим доступным в их положении комфортом. Очевидно, до сих пор они были охвачены единственной мыслью, как бы отчалить от этого неприятного берега; теперь, когда опасность уменьшилась, они могли позволить себе подумать о дальнейшем избавлении. Впрочем, увидев, что шлюпка повернула и понеслась в направлении Коралио, они успокоились, вполне довольные курсом, которого держался адмирал.

Толстяк сидел развалившись; его живые

синие глаза задумчиво вглядывались в командующего военным флотом. Он пытался разгадать этого мрачного, нелепого юношу. Что таится за его непроницаемым, неподвижным лицом? Таков уж был характер у этого пассажира. Он еще не ушел от опасности, его ищут, за ним погоня, только что он был разбит и побежден, и все же, несмотря ни на что, в нем уже пылает любопытство к новому, неизведанному явлению жизни. Да и кто, кроме него, мог бы придумать такой рискованный и сумасшедший план: послать депешу этому несчастному, безмозглому *fanatico* в несусветном мундире, носителю опереточного титула? Его спутники потеряли голову; убежать, казалось, было невозможно. И все же они убежали, и все же план, который они называли безумным, удался превосходно. Толстяк был положительно доволен собой.

Краткие тропические сумерки быстро растворились в жемчужном великолепии лунной ночи. Справа, на фоне потемневшего берега, появились огоньки Коралио. Адмирал стоял молча у румпеля. Карибы, как темные пантеры, бесшумно прыгали с места на место, подчиняясь коротким словам его команды. Три пассажира внимательно вглядывались в море, и, когда наконец перед ними возник силуэт парохода с отраженными глубоко в воде огнями, стоящего на якоре за милю от берега, у них засиял оживленный секретный разговор. Шлюпка шла не к берегу, но и не к судну. Она держала курс посередине.

Спустя некоторое время толстяк отде-

лился от своих товарищей и приблизился к пугалу, стоящему у руля.

— Мой дорогой адмирал, — сказал он, — наше правительство положительно слепо: оно ухитрилось не заметить, как верно и доблестно вы служите ему. Мне стыдно, что оно до сих пор не вознаградило вас по заслугам. Это непростительно. Но ничего, подождите: в награду за вашу верную службу вам дадут новый корабль, новый мундир и новых матросов. А покуда вот вам еще поручение. Пароход, который вы видите впереди, — «Спаситель». Мне и моим друзьям желательно попасть туда возможно скорее по делу государственной важности. Будьте любезны, направьте свое судно туда.

Адмирал ничего не ответил, но резко скомандовал что-то и направил судно вправо. «El Nacional» накренился и стрелой помчался к берегу.

— Сделайте милость, — сказал пассажир с чуть заметным раздражением, — дайте же, по крайней мере, знак, что вы слышите мои слова и понимаете их.

Может быть, у этого несчастного нет не только ума, но и слуха?

У адмирала вырвался жесткий, каркающий смех, и он заговорил:

— Тебя поставят лицом к стене и застрелят. Так убивают изменников. Я узнал тебя сразу, чуть ты вошел в мою лодку. Я видел тебя на картинке. Ты Сабас Пласидо, изменник своей родине. Лицом к стене, да, да, лицом к стене. Так ты померешь. Я адмирал, и я повезу тебя в город. Лицом к стене. Да, да, лицом к стене.

Дон Сабас повернулся к двум другим беглецам и с громким смехом сделал движение рукою.

— Вам, *caballeros*, я рассказывал историю заседания, когда мы сочинили эту... о! эту смешную бумагу. Поистине наша шутка обернулась против нас же самих. Взгляните на чудовище Франкенштейна<sup>1</sup>, которое мы создали!

Дон Сабас кинул взор по направлению к берегу. Огни Коралио все приближались. Он уже мог различить полосу песчаного берега, государственные склады рома — *Bodega Nacional*, длинное низкое здание казармы, набитое солдатами, и там, позади, — озаренную луной высокую глиняную стену. Не раз в своей жизни он видел, как людей ставили лицом к этой стене и расстреливали.

И снова он обратился к причудливой фигуре на корме.

— Правда, — сказал он, — я хочу убежать отсюда. Но уверяю вас, что разлука с отчизной очень мало волнует меня... Меня, Сабаса Пласидо, всюду встретят с распростертыми объятиями — при любом дворе, в любом военном лагере. *Vaya!*<sup>2</sup> А это свиное логово, кротовая нора, эта республика — что делать в ней такому человеку, как я? Я *paisano*<sup>3</sup> всех стран. В Риме, в Лондоне, в Париже, в Вене — всюду мне скажут одно:

<sup>1</sup> В романе Мэри Шелли «Франкенштейн» (1818) чудовище, которое некий студент создал из трупов и наделил жизнью при помощи гальванической силы, убивает своего создателя.

<sup>2</sup> Хорошо! (*исп.*)

<sup>3</sup> Житель (*исп.*).

добро пожаловать, дон Сабас! Вы снова приехали к нам! Ну, ты, *tonto*<sup>1</sup>, павиан... адмирал, как бы там тебя ни величали, поверни свою лодку. Посади нас на борт парохода «Спаситель» и получай — здесь пятьсот песо деньгами *Estados Unidos*<sup>2</sup> — это больше, чем заплатит тебе твое лживое начальство в двадцать лет.

Дон Сабас стал втискивать в руку молодого человека пухлый кошелек с деньгами. Адмирал не обратил никакого внимания ни на его слова, ни на его жесты. Он был словно прикован к рулю. Шлюпка неслась прямо к берегу. На неосмыщенном лице адмирала появилось что-то светлое, почти разумное, как будто он придумал какую-то хитрость, которая доставляла ему много веселья. Он снова закричал, как попугай:

— Вот для чего они делают так: чтобы ты не видел винтовок. Выстрелят — бум! — и ты мертвый. Лицом к стене. Да.

Потом внезапно он отдал своей команде какой-то приказ. Ловко и беззвучно карибы закрепили шкоты, которые они держали в руках, и нырнули в трюм через люк. Когда скрылся последний из них, дон Сабас, как большой бурый леопард, кинулся вперед, захлопнул люк и сказал с улыбкой:

— Ружей не нужно, дорогой адмирал. Когда-то для забавы я составил словарь карибского языка, и потому я понял ваш приказ... Может быть, теперь...

Но он не договорил, потому что раздалось

<sup>1</sup> Дурак (*исп.*).

<sup>2</sup> Соединенных Штатов (*исп.*).

пренеприятное «звяк» какого-то железа, которое царапало жесть. Адмирал извлек из ножен саблю Педро Лафита и кинулся с нею на своего пассажира. Занесенный клинок опустился, и лишь благодаря изумительной ловкости великан ускользнул, отделавшись царапиной на плече. Вскочив на ноги, он вынул револьвер и выстрелил в адмирала. Адмирал упал.

Дон Сабас нагнулся над ним, но через минуту встал на ноги.

— В сердце, — сказал он. — Сеньоры, военный флот уничтожен.

Полковник Рафаэль бросился к рулю, другой офицер стал развязывать шкоты; передняя рея описала дугу, «El Nacional» повернулся и поплыл к пароходу «Спаситель».

— Сорвите флаг, сеньор! — сказал полковник Рафаэль. — Наши друзья на пароходе не поймут, почему мы крейсируем под этаким флагом.

— Справедливо, — сказал дон Сабас. Подойдя к мачте, он спустил флаг прямо к тому месту, где на палубе лежал доблестный защитник этого флага. Таково было окончание маленькой послеобеденной шутки, придуманной военным министром... Кто начал ее, тот и кончил.

Но вдруг дон Сабас испустил крик радости и побежал по откосой палубе к полковнику Рафаэлю. Через руку он перекинул флаг погибшего флота.

— Mire! Mire!<sup>1</sup> Señor! Ah, dios! Ну и зарычит этот австрийский медведь! «Ты

<sup>1</sup> Смотрите! (исп.)

разбил мое сердце!» — скажет он. «Du hast mein Herz gebrochen!» Mire! Вы слыхали, я уже рассказывал вам о моем венском приятеле, о герре Грюнитце. Этот человек ездил на Цейлон, чтобы добыть орхидею, в Патагонию — за головным украшением... в Бенарес — за туфлей... в Мозамбик — за наконечником копья. Тебе известно, amigo Рафаэль, что я тоже собиратель всяких редкостей. Моя коллекция военно-морских флагов была до прошлого года самая обширная в мире. Но герр Грюнитц раздобыл два таких экземпляра, о! два таких экземпляра, что его коллекция стала считаться полнее моей. К счастью, их можно достать, и я их достану! Но этот флаг, сеньор, знаете ли вы, какой это флаг? Видите: малиновый крест на сине-белом поле. Вы не видели его до сих пор ни разу? Seguramente, no!<sup>1</sup>. Это морской флаг вашей родины. Mire! Эта гнилая лохань, в которой мы сейчас находимся, — ее флот; этот мертвый какаду — начальник флота; этот взмах сабли и единственный выстрел из револьвера — морской бой. Глупость, чепуха, но это жизнь! Другого такого флага никогда не было и не будет. Это уникум. Подумайте, что это значит для собирателя флагов. Знаете ли вы, полковник, сколько золотых крон дал бы герр Грюнитц за этот флаг? Тысяч десять, не меньше. Но я не отдам его и за сто. Дивный флаг! Единственный флаг! Неземной флаг, черт тебя возьми! О-гэ, старый ворчун, герр Грюнитц, подожди, когда дон

<sup>1</sup> Конечно, нет! (исп.)

Сабас вернется на Кенигинштрассе. Он позволит тебе пасть на колени и дотронуться пальцем до этого флага. О-т! Ты шнырял по всему миру со своими очками, а его проморгал.

Забыты были неудачи революции, опасности, утраты, боль и обида разгрома. Охваченный всепоглощающей страстью коллекционера, он шагал взад и вперед по маленькой палубе, прижимая свою находку к груди. Он с торжеством поглядывал на восток. Голосом звонким, как труба, он воспевал свое сокровище, словно старый герр Грюнитц мог услышать его в своей затхлой берлоге за океаном.

На «Спасителе» их ждали и встретили радостно. Шлюпка скользнула вдоль борта парохода и остановилась у глубокого выреза, устроенного в борту для погрузки фруктов. Матросы «Спасителя» зацепили шлюпку баграми и подтащили к борту.

Через борт перегнулся капитан Мак-Леод.

— Говорят, сеньор, делу-то крышка...

— Крышка? Какая крышка? — С минуту дон Сабас был в недоумении, с минуту, не больше. — А! Революция. Да! — И он повел плечом, отбрасывая от себя всякие мысли о ней.

Капитану рассказали о побеге и о команде, запертой в трюме.

— Карибы? — сказал он. — Они не причинят нам вреда.

Он спрыгнул в шлюпку, отодвинул скобу, и из трюма стали выползать черномазые — потные, но улыбающиеся.

— Эй, вы, черненькие! — сказал капитан. — Возьмите свою лодку и валяйте назад, домой.

Он указал на шлюпку, на них и на Коралио. Их лица озарились еще более широкой улыбкой, они закивали и заговорили:

— Да, да!

Дон Сабас, оба офицера и капитан собирались покинуть шлюпку. Дон Сабас отстал от других, взглянул на тело адмирала, раскинувшееся на палубе в ярких отрепьях.

— *Pobrecito loco!* — сказал он нежно.

Дон Сабас был блестящий космополит, первоклассный знаток и ценитель искусств; но в конце концов по инстинктам и крови он был сын своего народа. Как сказал бы самый простой коралийский крестьянин, так сказал и дон Сабас; без улыбки посмотрел он на адмирала и сказал:

— Бедный несмышленыш!

Нагнувшись, он приподнял мертвого за тощие плечи и подостлал под них свой бесценный, единственный флаг. Потом он снял с себя бриллиантовую звезду — орден Сан-Карлоса — и, словно булавкой, скрепил ее концы флага на груди у адмирала.

Потом догнал остальных и встал вместе с ними на палубе «Спасителя». Матросы, державшие шлюпку, оттолкнули ее от борта. Карибы отчалили, натянули паруса, и шлюпка понеслась к берегу.

А коллекция военно-морских флагов, принадлежащая герру Грюнитцу, так и осталась самой полной и первой в мире.

Однажды в душный безветренный вечер, когда казалось, что Коралио еще ближе придинулся к раскаленным решеткам ада, пять человек собрались у дверей фотографического заведения Кью и Клэнси. Так во всех экзотических дьявольски жарких местах на земле белые люди сходятся вместе по окончании работ, чтобы, браня и порицая чужое, тем самым закрепить за собою права на великое наследие предков.

Джонни Этвуд лежал на траве, голый, как кариб в жаркое время года, и еле слышно лепетал о холодной воде, которую в таком автомобилии дают осененные магнолиями колодцы его родного Дэйлсбурга. Доктору Грэггу, из уважения к его бороде, а также из желания подкупить его, чтобы он не начал делиться своими медицинскими воспоминаниями, был предоставлен гамак, протянутый между дверным косяком и тыквенным деревом. Кью вынес на улицу столик с принадлежностями для фотографической ретуши. Он единственный из всех пятерых занимался делом. Горный инженер Бланшар, француз, в белом прохладном полотняном костюме, сидел, словно не замечая жары, и следил сквозь спокойные стекла очков за дымом своей папиросы. Клэнси сидел на ступеньке и курил короткую трубку. Ему хотелось болтать. Остальные так размякли от жары, что являлись идеальными слушателями: ни возражать, ни уйти они не могли.

Клэнси был американцем с ирландским

темпераментом и вкусами космополита. Многими профессиями он занимался, но каждой — только короткое время. У него была натура бродяги. Цинкография была лишь небольшим эпизодом его скитальческой жизни. Иногда он соглашался передать своими словами какое-нибудь событие, отметившее его вылазки в мир экзотический и неофициальный. Сегодня, судя по некоторым симптомам, он был склонен кое-что разгласить.

— Элегантная погодка для боя! — начал он. — Это мне напоминает то время, когда я пытался освободить одно государство от убийственного гнета тиранов. Трудная работа: спины не разогнуть, на ладонях мозоли.

— Я и не знал, что вы отдавали свой меч угнетенным народам, — промямлил Этвуд, лежа на траве.

— Да! — сказал Клэнси. — Но мой меч перековали на орало.

— Что же это за страна, которую вы осчастливили своим покровительством? — спросил Бланшар немного свысока.

— Где Камчатка? — отозвался Клэнси без всякой видимой связи с вопросом.

— Где-то в Сибири... у полюса, — неуверенно вымолвил кто-то.

Клэнси удовлетворенно кивнул головой.

— Я так и думал... Камчатка — это где холодно! Я всегда путаю эти два названия. Гватемала — это где жарко. Я был в Гватемале. На карте вы найдете это место в районе, который называется тропиками. По милости providения страна лежит на морском берегу, так что составитель географических

карт может печатать названия городов прямо в морской воде. Названия длинные, не меньше дюйма, если даже напечатать их мелкими буквами, составлены из разных испанских диалектов и, сколько я понимаю, по той же системе, от которой взорвался «Мэйн»<sup>1</sup>. Да, вот в эту страну я и помчался, чтобы в смертном бою поразить ее деспотов, стреляя в них из одноствольной кирки, да еще незаряженной. Не понимаете, конечно? Да, тут кое-что нужно разъяснить.

Это было в Новом Орлеане, утром, в начале июня. Стою я на пристани, смотрю на корабли. Прямо против меня, внизу, вижу, небольшой пароход готов тронуться в путь. Из труб его идет дым, и босяки нагружают его какими-то ящиками. Ящики большие — фута два ширины, фута четыре длины — и как будто довольно тяжелые. Они штабелями лежали на пристани.

От нечего делать я подошел к ним. Крышка у одного из них была отбита, я приподнял ее из любопытства и заглянул внутрь. Ящик был доверху набит винтовками Винчестера.

«Так, так, — сказал я себе. — Кто-то хочет нарушить закон о нейтралитете Соединенных Штатов. Кто-то хочет помочь кому-то оружием. Интересно узнать, куда отправляются эти пугачи».

Слышу, сзади кто-то кашляет! Оборачиваюсь. Передо мною кругленький, жирнень-

<sup>1</sup> «Мэйн» — американский крейсер, в 1898 г. взорвавшийся по неизвестным причинам на рейде Гаваны (Куба), что послужило поводом для испано-американской войны.

кий, небольшого роста человечек. Личико у него темненькое, костюмчик беленький, а на пальчике брильянт в четыре карата. Замечательный человечек, лучше не надо. В глазах у него вопрос и уважение. Похож на иностранца — не то русский, не то японец, не то житель Архипелагов.

— Тс! — говорит человек шепотом, словно секрет сообщает. — Не будет ли сеньор такой любезный, не согласится ли он с уважением отнести к той тайне, которую ему случайно удалось подсмотреть, — чтобы люди на пароходе не узнали о ней? Сеньор будет джентльменом, он не скажет никому ни слова.

— Мусью, — сказал я (потому что он казался мне вроде француза), — позвольте принести вам уверение, что вашей тайны не узнает никто. Джеймс Клэнси не такой человек. К этому разрешите добавить: вив ля либерте — да здравствует свобода! Я, Джеймс Клэнси, всегда был врагом всех существующих властей и правительств.

— Сеньор очень караш! — говорит человечек, улыбаясь в черные усы. — Не пожелает ли сеньор подняться на корабль и выпить стаканчик вина?

Так как я — Джеймс Клэнси, то не прошло и минуты, как я уже сидел вместе с этим заграничным мусью в каюте парохода за столиком, а на столике стояла бутылка. Я слышал, как грохотали ящики, которые швыряли в трюм. По моему расчету, во всех этих ящиках было никак не меньше двух тысяч винтовок. Выпили мы бутылочку, появилась другая. Дать Джеймсу Клэнси

бутылку вина — все равно что спровоцировать восстание. Я много слышал о революциях в тропических странах, и мне захотелось приложить к ним руку.

— Что мусью, — спросил я, подмигивая, — вы немного хотите расшевелить вашу родину, а!

— Да, да! — закричал человечек, ударяя кулаком по столу. — Произойдут большие перемены! Довольно дурачить народ обещаниями! Пора наконец взяться за дело. Предстоит большая работа! Наши силы двинутся в столицу. Сарамба!

— Правильно, — говорю я, пьянея от восторга, а также от вина. — Другими словами, вив ля либерте, как я уже сказал. Пусть древний трилистник... то есть банановая лоза и пряничное дерево или какая ни на есть эмблема вашей угнетенной страны цветет и не вянет вовеки.

— Весьма благодарен, — говорит человечек, — за ваши братские чувства. Больше всего нашему делу нужны сильные и смелые работники. О, если бы найти тысячу сильных, благородных людей, которые помогли бы генералу де Вега покрыть нашу родину славой и честью. Но трудно, о, как трудно завербовать таких людей для работы.

— Слушайте, мусью, — кричу я, хватая его за руку, — я не знаю, где находится ваша страна, но сердце у меня обливается кровью, так горячо я люблю ее. Сердце Джеймса Клэнси никогда не было глухо к страданиям угнетенных народов. Мы все, вся наша семья, флибустьеры по рождению и иностранцы по ремеслу. Если вам нужны

руки Джеймса Клэнси и его кровь, чтобы свергнуть ярмо тирана, я в вашем распоряжении, я ваш.

Генерал де Вега был в восторге, что заручился моим сочувствием к своей конспирации и политическим трудностям. Он попробовал обнять меня через стол, но ему помешали его толстое брюхо и вино, которое раньше было в бутылках. Таким образом я стал флибустьером. Генерал сказал мне, что его родину зовут Гватемала, что это самое великое государство, какое когда-либо омывал океан. В глазах у него были слезы, и время от времени он повторял:

— А, сильные, здоровые, смелые люди! Вот что нужно моей родине!

Потом этот генерал де Вега, как он себя называл, принес мне бумагу и попросил подписать ее. Я подписал и сделал замечательный росчерк с чудесной завитушкой.

— Деньги за проезд, — деловито сказал генерал, — будут вычтены из вашего жалованья.

— Ничего подобного! — сказал я не без гордости. — За проезд я плачу сам.

Сто восемьдесят долларов хранилось у меня во внутреннем кармане. Я был не то что другие флибустьеры: флибустьерил не ради еды и штанов.

Пароход должен был отойти через два часа. Я сошел на берег, чтобы купить себе кое-что необходимое. Вернувшись, я с гордостью показал свою покупку генералу: легкое меховое пальто, валенки, шапку с наушниками, изящные рукавицы, обшитые пухом, и шерстяной шарф.

— Сарамба! — воскликнул генерал. — Можно ли в таком костюме ехать в тропики?

Потом этот хитрец смеется, зовет капитана, капитан — комиссара, комиссар зовет по трубке механика, и вся шайка толпиться у моей каюты и хохочет.

Я задумываюсь на минуту и с серьезным видом прошу генерала сказать мне еще раз, как зовется та страна, куда мы едем. Он говорит: «Гватемала», — и я вижу тогда, что в голове у меня была другая: Камчатка. С тех пор мне трудно отделить эти нации — так у меня спутались их названия, климаты и географическое положение.

Я заплатил за проезд двадцать четыре доллара — еду в каюте первого класса, столуюсь с офицерами. На нижней палубе пассажиры второклассные. Люди — человек сорок — какие-то итальянки, не знаю. И к чему их столько и куда они едут?

Ну, хорошо. Ехали мы три дня и причалили наконец к Гватемале. Это синяя страна, а не желтая, как ее малютят на географических картах. Вышли мы на берег. Там стоял городишко. Нас ожидал поезд, несколько вагонов на кривых, расшатанных рельсах. Ящики перенесли на берег и погрузили в вагоны. Потом в вагоны набились итальянки, я вместе с генералом сел в первый. Да, мы с генералом де Вега были во главе революции! Приморский городишко остался позади. Поезд шел так быстро, как полисмен на склоку. Пейзаж вокруг был такой, какой можно увидеть только в учебниках географии. За семь часов мы сделали сорок миль, и поезд остановился. Рельсы кончились.

Мы приехали в какой-то лагерь, гнусный, болотистый, мокрый. Запустение и меланхolia. Впереди рубили просеку и вели земляные работы. «Здесь, — говорю я себе, — романтическое убежище революционеров, здесь Джеймс Клэнси, как доблестный ирландец, представитель высшей расы и потомок фениев, отдаст свою душу в борьбе за свободу».

Из вагона вынули ящики и стали сбивать с них крышки. Из первого же ящика генерал де Вега вынул винтовки Винчестера и стал раздавать их отряду каких-то омерзительных солдат. Другие ящики тоже открыли, и — верьте мне или не верьте, черт возьми, — ни одного ружья в них не оказалось. Все ящики были набиты лопатами и кирками.

И вот, провалиться бы этим тропикам, гордый Клэнси и презренные итальяшки — все получают либо кирку, либо лопату, и всех гонят работать на этой поганой железной дороге. Да, вот для чего ехали сюда макаронники, вот какую бумагу подписал флибустьер Джеймс Клэнси, подписал, не зная, не догадываясь. После я разведал, в чем дело. Оказывается, для работ по проведению железной дороги трудно было найти рабочую силу. Местные жители слишком умны и ленивы. Да и зачем им работать? Стоит им протянуть одну руку, и в руке у них окажется самый дорогой, самый изысканный плод, какой только есть на земле; стоит им протянуть другую — и они заснут хоть на неделю, не боясь, что в семь часов утра их разбудит фабричный гудок или что сейчас к ним войдет сборщик квартирной платы. Поневоле при-

ходится отправляться в Соединенные Штаты и обманом завлекать рабочих. Обычно привезенный землекоп умирает через два-три месяца — от гнилой, перезрелой воды и необузданного тропического пейзажа. Поэтому, нанимая людей, их заставляли подписывать контракты на год и ставили над ними вооруженных часовых, чтобы они не вздумали дать стрекача.

Вот так-то меня обманули тропики, а всему виною наследственный порок — любил совать нос во всякие беспорядки.

Мне вручили кирку, и я взял ее с намерением тут же взбунтоваться, но неподалеку были часовые с винчестерами, и я пришел к заключению, что лучшая черта флибустьера — скромность и умение промолчать, когда следует. В нашей партии было около ста рабочих, и нам приказали двинуться в путь. Я вышел из рядов и подошел к генералу де Вега, который курил сигару и с важностью и удовольствием смотрел по сторонам. Он улыбнулся мне вежливой сатанинской улыбкой.

— В Гватемале, — говорил он, — есть много работы для сильных, рослых людей. Да. Тридцать долларов в месяц. Деньги не маленькие. Да, да. Вы человек сильный и смелый. Теперь уж мы скоро достроим эту железную дорогу. До самой столицы. А сейчас ступайте работать. *Adios*, сильный человек!

— Мусью, — говорю я, — скажите мне, бедному ирландцу, одно: Когда я впервые взошел на этот ваш тараканий корабль и дышал свободными революционными чувствами в ваше кислое вино, думали ли вы, что я вос-

певаю свободу лишь для того, чтобы долбить киркой вашу гнусную железную дорогу? И когда вы отвечали мне патриотическими возгласами, восхваляя усыпанную звездами борьбу за свободу, замышляли ли вы и тогда принизить меня до уровня этих скованных цепями итальяшек, корчущих пни в вашей низкой и подлой стране?

Человечек выпятил свой круглый живот и начал смеяться. Да, он долго смеялся, а я, Клэнси, я стоял и ждал.

— Смешные люди! — закричал он наконец. — Вы смешите меня до смерти, ей-богу. Я говорил вам одно: трудно найти сильных и смелых людей для работы в моей стране. Революция? Разве я говорил о р-р-революции? Ни одного слова. Я говорил: сильные, рослые люди нужны в Гватемале. Так. Я не виноват, что вы ошиблись. Вы заглянули в один-единственный ящик с винтовками для часовых, и вы подумали, что винтовки во всех. Нет, это не так, вы ошиблись. Гватемала не воюет ни с кем. Но работа? О да. Тридцать долларов в месяц. Возьмите же кирку и ступайте работать для свободы и процветания Гватемалы. Ступайте работать. Вас ждут часовые.

— Ты жирный коричневый пудель, — сказал я спокойно, хотя в душе у меня было негодование и тоска. — Это тебе даром не пройдет. Дай только мне собраться с мыслями, и я найду для тебя отличный ответ.

Начальник приказывает приниматься за работу. Я шагаю вместе с итальяшками и слышу, как почтенный патриот и мошенник весело смеется.

Грустно думать, что восемь недель я проводил железную дорогу для этой непотребной страны. Флибустьерствовал по двенадцати часов в сутки тяжелой киркой и лопатой, вырубая роскошный пейзаж, который был помехой для намеченной линии. Мы работали в болотах, которые издавали такой аромат, как будто лопнула газовая труба, мы тощали ногами самые лучшие и дорогие сорта оранжерейных цветов и овощей. Все кругом было такое тропическое, что не придумать никакому географу. Все деревья были небоскребы; в кустарниках — иголки и булавки; обезьяны так и прыгают кругом, и крокодилы, и краснохвостые дрозды, а нам — стоять по колено в вонючей воде и выкорчевывать пни для освобождения Гватемалы. Вечерами разводили костры, чтобы отвадить москитов, и сидели в густом дыму, а часовые ходили с винтовками. Рабочих было двести человек — по большей части итальянцы, негры, испанцы и шведы. Было три или четыре ирландца.

Один из них, старик Галлоран, — тот мне все объяснил. Он работал уже около года. Большинство умирало, не протянув и шести месяцев. Он высох до хрящей, до костей, и каждую третью ночь его колотил озноб.

— Когда только что приедешь сюда, — рассказывал он, — думаешь: завтра же улепетнешь. Но в первый месяц у тебя удерживают жалованье для уплаты за проезд на пароходе, а потом, конечно, — ты во власти у тропиков. Тебя окружают сумасшедшие леса и звери с самой дурной репутацией —

львы, павианы,アナコンды,<sup>1</sup> — и каждый норовит тебя сожрать. Солнце жарит немилосердно, даже мозг в костях тает. Становишься вроде этих пожирателей лотоса, про которых в стихах написано. Забываешь все воззванные чувства жизни: патриотизм, жажду мести, жажду беспорядка и уважение к чистой рубашке. Делаешь свою работу да глотаешь керосин и резиновые трубки, которые повар-итальянка называет едой. Закуриваешь папироску и говоришь себе: на будущей неделе уйду непременно, и идешь спать, и зовешь себя лгуном, так как прекрасно знаешь, что никуда не уйдешь.

— Кто этот генерал, — говорю я, — который зовет себя де Вега?

— Он хочет возможно скорее закончить дорогу, — отвечает Галлоран. — Вначале этим занималась одна частная компания, но она лопнула, и тогда за работу взялось правительство. Этот де Вега — большая фигура в политике и хочет быть президентом. А народ хочет, чтобы железная дорога была закончена возможно скорее, потому что с него дерут налоги, и де Вега двигает работу, чтобы угодить избирателям.

— Не в моих привычках, — говорю я, — угрожать человеку местью, но Джеймс О’Дауд Клэнси еще предъявит этому железнодорожнику счет.

— Так и я говорил, — отвечает Галлоран с тяжелым вздохом, — пока не отведал этих лотосов. Во всем виноваты тропики. Они

<sup>1</sup> Ана конда — гигантская змея южноамериканских лесов.

выжимают из человека все соки. Это такая страна, где, как сказал поэт, вечно послеобеденный час. Я делаю мою работу, курю мою трубку и сплю. Ведь в жизни ничего другого и нет. Скоро ты и сам это поймешь. Не птиай никаких сентиментов, Клэнси.

— Нет, нет, — говорю я. — Моя грудь полна сентиментами. Я записался в революционную армию этой богомерзкой страны, чтобы сражаться за ее свободу. Вместо этого меня заставляют уродовать ее пейзаж и подрывать ее корни. За это заплатит мне мой генерал.

Два месяца я работал на этой дороге, и только тогда выдался случай бежать.

Как-то раз нескольких человек из нашей партии послали назад, к конечному пункту проложенного пути, чтобы мы привезли в лагерь заступы, которые были отданы в Порт-Барриос к точильщику. Они были доставлены нам на дрезине, и я заметил, что дрезина осталась на рельсах.

В ту ночь, около двенадцати часов, я разбудил Галлорана и сообщил ему свой план побега.

— Убежать? — говорит Галлоран. — Господи боже, Клэнси, неужели ты и вправду затеял бежать? У меня не хватает духу. Очень холодно, и я не выспался. Убежать? Говорю тебе, Клэнси, я объелся этого самого лотоса. А все тропики. Как там у поэта — «Забыл я всех друзей, никто не помнит обо мне; буду жить и покоиться в этой сонной стране». Лучше отправляйся один, Клэнси. А я, пожалуй, останусь. Так рано, и холодно, и мне хочется спать.

Пришлось оставить старика и бежать одному. Я тихонько оделся и выскользнул из палатки. Проходя мимо часового, я сбил его, как кеглю, неспелым кокосовым орехом и кинулся к железной дороге. Вскакиваю на дрезину, пускаю ее в ход и лечу. Еще до рассвета я увидел огни Порт-Барриоса — приблизительно за милю от меня. Я остановил дрезину и направился к городу. Признаюсь, не без робости я шагал по улицам этого города. Войска Гватемалы не страшили меня, а вот при мысли о рукопашной схватке с конторой по найму рабочих сердце замирало. Да, здесь, раз уж попался в лапы, — держись. Так и представляется, что миссис Америка и миссис Гватемала как-нибудь вечерком сплетничают через горы. «Ах, знаете, — говорит миссис Америка, — так мне трудно доставать рабочих, сеньора, мэм, просто ужас». — «Да что вы, мэм, — говорит миссис Гватемала, — не может быть! А моим, мэм, так и в голову не приходит уйти от меня, хи-хи».

Я раздумывал, как мне выбраться из этих тропиков, не угодив на новые работы. Хотя было еще темно, я увидел, что в гавани стоит пароход. Дым валил у него из труб. Я свернулся в переулок, заросший травой, и вышел на берег. На берегу я увидел негра, который сидел в челноке и собирался отчалить.

— Стой, Самбо! — крикнул я. — По-английски понимаешь?

— Целую кучу... очень много... да! — сказал он с самой любезной улыбкой.

— Что это за корабль и куда он идет? —

спрашиваю я у него. — И что нового? И который час?

— Это корабль «Кончита», — отвечает черный человек добродушно, свертывая папироску. — Он приходил за бананы из Новый Орлеан. Прошедшая ночь нагрузилась. Через час... или через два он снимается с якорь. Теперь будет погода хороший. Вы слыхали, в городе, говорят, была большая сражения. Как, по-вашему, генерала де Вега поймана? Да? Нет?

— Что ты болтаешь, Самбо? — говорю я. — Большое сражение? Какое сражение? Кому нужен генерал де Вега? Я был далеко отсюда, на моих собственных золотых рудниках, и вот уже два месяца не слыхал никаких новостей.

— О, — тараторит негр, гордясь своим английским языком, — очень большая революция... в Гватемале... одна неделя назад... Генерала де Вега, она пробовала быть президент... Она собрала армию, — одна, пять, десять тысяч солдат. А правительство послало пять, сорок, сто тысяч солдат, чтобы разбить революцию. Вчера была большая сражения в Ломагранде — отсюда девятнадцать или пятьдесят миль. Солдаты правительства так отхлестали генералу де Вегу, очень, очень. Пятьсот, девятьсот, две тысячи солдат генералы де Веги убито. Революция чик — и нет. Генерала де Вега села на большого-большого мула и удрали. Да, caramba! Генерала удрали, и все солдаты генералы убиты. А солдаты правительства ищут генералу де Вегу Генерала им нужно очень, очень. Они хочет ее застрелить. Как

по-вашему, сеньор, поймают они генералу де Бегу?

— Дай бог! — говорю я. — Это была бы ему господня кара за то, что он использовал мой революционный талант для ковыряния в вонючем болоте. Но сейчас, мой милый, меня увлекает не столько вопрос о восстании, сколько стремление спастись из кабалы. Важнее всего для меня сейчас отказаться от высокоответственной должности в департаменте благоустройства вашей великой и униженной родины. Отвези меня в твоем челноке вон на тот пароход, и я дам тебе пять долларов, синка пасе, синка пасе, — говорю я, снисходя к пониманию негра и переводя свои слова на тропический жаргон.

— Cinco pesos, — повторяет черный. — Пять долла?

В конце концов он оказался далеко не плохим человеком. Вначале он, конечно, колебался, говорил, что всякий, покидающий эту страну, должен иметь паспорт и бумаги, но потом взялся за весла и повез меня в своем челноке к пароходу.

Когда мы подъехали, стал только-только заниматься рассвет. На борту парохода — ни души. Море было очень тихое. Негр подсадил меня, и я взобрался на нижнюю палубу, там, где выемка для ссыпки фруктов. Люки в трюм были открыты. Я глянул вниз и увидел, бананы, почти до самого верха наполнившие трюм. Я сказал себе: «Клэнси! Ты уж лучше поезжай зайцем. Безопаснее. А то как бы пароходное начальство не вернуло тебя в контору по найму. Попадешься ты тропикам, если не будешь глядеть в оба».

После чего я прыгаю тихонько на банны, выкапываю в них ямку и прячусь. Через час, слышу, загудела машина, пароход закачался, и я чувствую, что мы вышли в открытое море. Люки были открыты у них для вентиляции; скоро в трюме стало довольно светло, и я мог оглядеться. Я почувствовал голод и думаю: почему бы мне не подкрепиться легкой вегетарианской закуской? Я выкарабкался из своей берлоги и приподнял голову. Вижу: ползет человек, в десяти шагах от меня, в руке у него банан. Он сдирает с банана шкуру и пихает его себе в рот. Грязный человек, темнолицый, вида гнусного и очень потрепанного — прямо карикатура из юмористического журнала. Я всмотрелся в него и увидел, что это мой генерал — великий революционер, наездник на мулах, поставщик лопат, знаменитый генерал де Вега. Когда он увидел меня, банан застрял у него в горле, а глаза стали величиною с кокосовые орехи.

— Тсс... — говорю я. — Ни слова! А то нас вытащат отсюда и заставят прогуляться пешком. Вив ля либерте! — шепчу я, запихвая себе в рот банан. Я был уверен, что генерал не узнает меня. Зловредная работа в тропиках изменила мой наружный вид. Лицо мое было покрыто саврасо-рыжеватой щетиной, а костюм состоял из синих штанов да красной рубашки.

— Как вы попали на судно, сеньор? — заговорил генерал, едва к нему вернулся дар речи.

— Вошел с черного хода, вот как, — говорю я. — Мы доблестно сражались за свободу

ду, — продолжал я, — но численностью мы уступали врагу. Примем же наше поражение, как мужчины, и скушаем еще по банану.

— Вы тоже бились за свободу, сеньор? — говорит генерал, поливая бананы слезами.

— До самой последней минуты, — говорю я. — Это я вел последнюю отчаянную атаку против наемников тирана. Но враг обезумел от ярости, и нам пришлось отступить. Это я, генерал, достал вам того мула, на котором вам удалось убежать... Будьте добры, передайте мне ту ветку бананов, она отлично созрела... Мне ее не достать. Спасибо!

— Так вот в чем дело, храбрый патриот, — говорит генерал и пуще заливается слезами. — Ah, dios! И я ничем не могу отблагодарить вас за вашу верность и преданность. Мне еле-еле удалось спастись. Сарамба! Ваш мул оказался истинным дьяволом. Он швырял меня, как буря швыряет корабль. Вся моя кожа исцарапана терновником и жесткими лианами. Эта чертова скотина терлась о тысячу пней и тем причинила ногам моим немалые бедствия. Ночью приезжаю я в Порт-Барриос. Отделяюсь от подлеца мула и спешу к морю. На берегу членок. Отвязываю его и плыву к пароходу. На пароходе никого. Карабкаюсь по веревке, которая спускается с палубы, и зарываюсь в бананах. Если бы капитан корабля увидал меня, он швырнул бы меня назад в Гватемалу. Это было бы очень плохо. Гватемала застрелила бы генерала де Вега. Поэтому я спрятался, сижу и молчу. Жизнь сама по себе восхитительна. Свобода тоже хороша, никто не спорит, но жизнь, по-моему, еще лучше.

До Нового Орлеана пароход идет три дня. Мы с генералом стали за это время закадычными друзьями. Бананов мы съели столько, что глазам было тошно смотреть на них и глотке было больно их есть. Но все наше меню заключалось в бананах. По ночам я осторожненько выползал на нижнюю палубу и добывал ведерко пресной воды.

Этот генерал де Вега был мужчина, обожравшийся словами и фразами. Своими разговорами он еще увеличивал пути жизни. Он думал, что я революционер, принадлежащий к его собственной партии, в которой, как он говорил, было немало иностранцев — из Америки и других концов земли. Это был лукавый хвастунишка и трус, хотя он сам себя считал героем. Говоря о разгроме своих войск, он жалел одного себя. Ни слова не сказал этот глупый пузырь о других идиотах, которые были расстреляны или умерли из-за его революции.

На второй день он сделался так важен и торд, как будто он не был несчастный беглец, спасенный от смерти ослом и крадеными бананами. Он рассказывал мне о великом железнодорожном пути, который собирался достроить, и тут же сообщил мне комический случай с одним простофилей-ирландцем, которого он так хорошо одурачил, что тот покинул Новый Орлеан и поехал в болото, в мертвецкую гниль, работать киркой на узкоколейке. Было больно слушать, когда этот мерзавец рассказывал, как он насыпал соли на хвост неосмотрительной глупой пичуге Клэнси. Он смеялся искренно и долго. Весь так и трясся от хохота, чернорожий

бунтовщик и бродяга, зарытый по горло в бананы, без родины, без родных и друзей.

— Ах, сеньор, — заливался он, — вы сами хотели бы до смерти над этим забавным ирландцем. Я говорю ему: «Сильные и рослые мужчины нужны в Гватемале». А он отвечает: «Я отдам все свои силы вашей угнетенной стране». — «Ну, конечно, говорю, отадите». Ах, такой смешной был ирландец! Он увидел на пристани сломанный ящик, в котором было несколько винтовок для часовых. Он думал — винтовки во всех ящиках. А там были кирки да лопаты. Да. Ах, сеньор, посмотрели бы вы на лицо этого ирландца, когда его послали работать!

Так этот бывший агент конторы по найму рабочих усиливал скуку путем шуточками и анекдотами. А в промежутках он снова орошал бананы слезами, ораторствуя о погибшей свободе и о проклятом муле.

Было приятно слышать, как пароход ударился бортом о новоорлеанский мол. Скоро мы услышали шлепанье сотни босых ног по сходням, и в трюм вбежали итальянцы — разгружать пароход. Мы с генералом сделали вид, как будто мы тоже грузчики, стали в цепь, чтобы передавать гроздья, а через час незаметно ускользнули с парохода в гавань.

Клэнси выпала честь ухаживать за представителем великой иноземной державы. Первым долгом я раздобыл для него и для себя много выпивки и много еды, в которой не было ни одного банана. Генерал семенил со мною рядом, предоставляя мне заботиться о нем. Я повел его в сквер Лафайета и посадил там на скамью. Еще раньше я купил

ему папирос, и он комфортабельно развалился на скамье, как жирный, самодовольный бродяга. Я посмотрел на него издали, и, признаюсь, его вид доставил мне немалую радость. Он и от природы черный, и душа у него была черная, а тут еще грязь и пыль. По милости мула его платье превратилось в отрепья. Да, Джеймсу Клэнси было очень приятно смотреть на него.

Я спрашиваю у него с деликатностью, не привез ли он из Гватемалы случайно чьих-нибудь денег. Он вздыхает и пожимает плечами: ни цента. Отлично. Он надеется, что его друзья из-под тропиков пришлют ему впоследствии небольшое пособие. Словом, если был на свете нищий безо всяких средств к пропитанию — это был генерал де Вега.

Я попросил его никуда не ходить, а сам отправился на тот перекресток, где стоял мой знакомый полисмен О'Хара. Жду его минут пять и вот вижу, идет: рослый, красивый мужчина, лицо красное, пуговицы так и сияют. Идет и помахивает дубинкой. О, если бы Гватемала была в полицейском участке О'Хары! Раз или два в неделю он подавлял бы тамошние революции дубинкой — просто для развлечения, играючи. Я подошел к нему и без дальнейших предисловий спросил:

— Что, статья пять тысяч сорок шесть еще действует?

— Действует с утра до поздней ночи! — ответил О'Хара и смотрит на меня подозрительно. — По-твоему, она подходит к тебе?

Статья пять тысяч сорок шесть была зна-

менитая статья городового устава, подвергающая аресту и тюремному заключению лиц, скрывших от полиции свои преступления.

— Что, не узнал Джимми Клэнси? — говорю я.— Ах ты, чудовище красножаброе!

Когда О'Хара распознал меня под той скандальной внешностью, которой наделили меня тропики, я втолкнул его в какой-то подъезд и рассказал ему все, что мне нужно и почему.

— Отлично, Джимми! — говорит О'Хара.— Воротись назад и садись на скамейку. Я приду через десять минут.

Вот идет О'Хара по скверу Лафайета и видит: два босяка оскорбляют своим видом скамейку, на которой они сидят. Еще через десять минут Джимми Клэнси и генерал де Вега, вчерашний кандидат в президенты республики, оказываются в полицейском участке. Генерал испуган, он говорит о своих высоких орденах и чинах и ссылается на меня как на свидетеля.

— Этот человек, — говорю я, — был железнодорожным агентом. Но его прогнали. Он потерял должность, и теперь он просто сумасшедший.

— Сарамба! — говорит генерал, шипя, как сифон с сельтерской.— Ведь вы сражались в рядах моего войска, сеньор, почему же вы говорите неправду? Вы должны сказать, что я генерал де Вега, солдат, caballero...

— Железнодорожный агент! — говорю я опять.— За душой ни цента. Темная личность. Три дня питался крадеными бананами. Посмотрите на него. Сами убедитесь.

Двадцать пять долларов штрафа или шестьдесят дней заключения закатили генералу в участке. Денег у него не было, пришлось посидеть. А меня отпустили! Я знал, что меня не задержат: при мне были деньги, да и О'Хара шепнул обо мне два-три слова. Да! На два месяца засадили его. Ровно столько времени ковырял я киркой великую республику Кам... Гватемалу.

Клэнси замолчал. При ярком сиянии звезд было видно, что в его взоре, устремленном в прошлое, светятся довольство и счастье. Кью откинулся на спинку стула и хлопнул своего товарища по еле прикрытой спине.

— Расскажи ты им, дьявол этакий, — сказал он, хихикая, — как ты сквитался с этим генералом на почве земледельческих махинаций.

— Так как у генерала не было денег, — заговорил Клэнси с большим удовольствием, — то для того чтобы получить с него штраф, полиция заставила его работать с партией других арестантов, по уборке улицы Урсулинок. За углом находился салун, художественно убранный электрическими вентиляторами и холодными напитками. Я сделал этот салун своей главной квартирой и каждые четверть часа выбегал оттуда на улицу поглядеть на маленького человека, флибустьерствующего граблями и лопатой. Жара стояла страшная, не меньше, чем сейчас.

— Эй, мусью, — кричал я ему, и он смотрел на меня, злой, как черт; на рубашке у него были мокрые пятна.

— Жирные, здоровые люди,— говорил я генералу де Вега,— очень нужны в Новом Орлеане. Да, им предстоит великая работа. Сарамба! Да здравствует Ирландия!

## XI ОСТАТКИ КОДЕКСА ЧЕСТИ

В Коралио завтракают не раньше одиннадцати. Поэтому на рынок уходят поздно. Маленькое деревянное строение крытого рынка стоит на короткой, подстриженной травке под ярко-зеленою листвой хлебного дерева.

Однажды утром в обычный час пришли на рынок торговцы и принесли с собой свои товары. Здание рынка со всех сторон окружала галерея в шесть футов шириной, защищенная от полуденного зноя соломенной крышей, далеко выступавшей над стенами. Обычно на этой галерее торговцы раскладывали свои товары — свежую говядину, рыбу, крабов, фрукты, кассаву<sup>1</sup>, яйца, сласти и высокие дрожащие груды маисовых лепешек, каждая такой ширины, как сомбреро испанского гранда.

Но в это утро те торговцы, которые обычно занимали сторону галереи, обращенную к морю, не разложили товаров, а сбились в кучу и, размахивая руками, негромко запотели о чем-то. Потому что там, на галерее, лежала объятая сном — нисколько

<sup>1</sup> Кассава — южноамериканское тропическое растение, корни которого богаты крахмалом.

не прекрасная — фигура Блайта-Вельзевула. Он покоился на измызганном кокосовом коврике, больше, чем когда-либо похожий на падшего ангела. Его грубый полотняный костюм, весь испачканный, разодранный по швам, был испещрен тысячами всевозможных морщин и так нелепо облекал его туловище, словно Вельзевул был не человек, а чучело, на которое забавы ради напялили одежду, а потом, когда вдоволь наиздевались над ним, бросили. Но непоколебимо на его переносице сверкало золотое пенсне — единственный уцелевший знак его былого величия.

Лучи солнца, отразившиеся в мелкой ряби моря и заигравшие на лице Вельзевула, а также голоса рыночных торговцев разбудили его. Он приподнялся на своем ложе, мигая глазами, оперся о стену рынка. Вынув из кармана злокачественный шелковый носовой платок, он тщательно протер и отполировал пенсне. И постепенно ему стало ясно, что в его спальне чужие и что учтивые бурые и желтые люди умоляют именно его уступить свое ложе товарам.

— Если сеньор будет так добр... Тысяча извинений за беспокойство... но скоро придут покупатели... покупать провизию... Десять тысяч горьких сожалений, что пришлось потревожить сеньора!

В таком стиле они возвещали ему, что он должен убраться и не тормозить колес торговли.

Блайт покинул площадку с видом принца, покидающего осененное великолепным балдахином ложе. Этого вида он не терял ни-

когда, даже в периоды самого глубокого падения. Всякому ясно, что курс нравственности не обязателен в программе аристократического образования.

Блайт почистил свой измятый костюм и медленно зашагал по горячим пескам Калье Гранде. Куда он идет, он не знал. Городок лениво предавался своим повседневным занятиям. В траве копошились младенцы с золотистыми телами. Морской ветер навеял ему аппетит, но не навеял средств для утоления оного. Как всегда по утрам, Коралио был полон тяжелым запахом тропических цветов, и запахом печеного хлеба, приготовляемого тут же, на улице, и запахом дыма от глиняных печек. В тех местах, где не было дыма, виднелись горы, и казалось, что хрустальный воздух, обладая могуществом евангельской веры, придвинул их почти к самому морю,— придвинул так близко, что можно было сосчитать все скалистые прогалины на покрытых лесами склонах. Легконогие карибы спешили на берег к ежедневным трудам. Уже среди кустов, по тропинкам, медленно спускались лошади одна за другой — от банановых плантаций к морю. Видны были только их головы да ноги. Все остальное было прикрыто огромными связками золотисто-зеленых плодов, свешивающихся у них со спины. На порогах сидели женщины и расчесывали длинные черные волосы, перекликаясь друг с другом через узкую улицу. В Коралио царил покой — скучный, выжженный зноем, но все же покой.

В это яркое, ясное утро, когда Природа,

казалось, подавала лотос забвения на золотой тарелке Рассвета, Блайт-Вельзевул докатился до dna. Дальше падать было уже некуда. Ночевка на базаре опозорила его окончательно. Покуда у него над головой был кров, все еще оставалось что-то, отличающее джентльмена от лесного зверя и птиц поднебесных. Но теперь он — жалкая устрица, которую ведут на съедение по песчаному берегу Южного моря хитрый Морж — Случай и безжалостный Плотник — Судьба<sup>1</sup>.

Деньги давно уже были для Блайта легендой. Он выкачал из своих приятелей все, что их дружба могла ему дать; потом он выжал до последней капли то, что могло дать ему их великодушие, и, наконец, подобно Аарону, выбил из их затвердевших сердец, как из камня, скучные капли унизительной милостины.

Он истощил свой кредит до последнего реала. С той ясной отчетливостью, которая отличает ум потерявшего стыд паразита, он знал наперечет все места в Коралио, где можно раздобыть стакан рома, порцию съестного, серебряную монетку. Теперь он перебирал в уме все эти источники благ, вникая в них с тем прилежным вниманием, котороедается лишь жаждой и голодом. Весь его оптимизм не мог найти ни зерна надежды в мякине его жизненных планов. Игра сыграна. Эта ночевка на улице доконала его. До сих пор он мог просить взаймы. Теперь он может только попрошайничать. Самая наглая софистика бессильна была бы назвать

<sup>1</sup> См. предисловие переводчика.

возвышенным именем ссуды монету, небрежно швыряемую в лицо шалопаю, который ночует на голых досках базара.

Но в это утро он, как последний нищий, с благодарностью принял бы любое подаяние, ибо демон жажды схватил его за горло,— демон утренней жажды привычного пьяницы, требующей утоления на каждой станции по пути в геенну огненную.

Блайт медленно шел по улице, зорко высматривая какое-то чудо, которое пошлет манну в его пустыню. Проходя мимо простонародной харчевни мадамы Ваккес, он увидел, как завсегдатай этой харчевни сидят за столом и поглощают ломти свежеиспеченного хлеба, авокадо, ананасы и очаровательный кофе, аромат которого свидетельствовал о его отменных достоинствах. Мадама прислуживала за столом; отвернувшись на мгновение к окну и кинув на улицу робкий, бессмысленный, меланхолический взор, она увидела Блайта; взгляд ее стал еще более смущенным и робким. Вельзевул был должен ей двадцать песо. Он поклонился ей так, как некогда кланялся менее робким дамам, которым ничего не был должен, и пошел дальше.

Купцы и их подручные открывали массивные деревянные двери магазинов. Вежливы, но холодны были их взоры, когда они смотрели на Блайта, как он гордо шагает по улице, с остатками своей прежней элегантной осанки, потому что они все без изъятия были его кредиторами.

На площади у фонтана он совершил туалет при помощи смоченного в воде носового платка.

По площади тянулась печальная вереница людей. То были друзья заключенных в тюрьме; они несли арестантам их утренний завтрак. Пища не возбудила в Блайте никаких вожделений. Ему нужна была не пища, но выпивка или монета для ее приобретения.

По дороге ему встретилось немало людей, которые некогда были его друзьями и близкими. Но у всех у них он уже истощил и терпение и щедрость. Уиллард Джедди и Паула проскакали мимо него, возвращаясь с ежедневной прогулки верхом по старой индейской дороге, и ответили ему самым холодным поклоном. На другом углу ему встретился Кью, который шел, весело на свистывая и неся, словно приз, свежие яйца на завтрак себе и Клэнси. Лихой искатель счастья был одной из жертв Блайта; чаще всех он опускал руку в карман, чтобы дать Вельзевулу подачку. Но теперь оказалось, что даже он забаррикадировался против дальнейших вторжений. Его небрежный поклон и зловещий блеск в серых больших глазах заставили Вельзевула ускорить шаги, хотя за минуту до этого он помышлял о добавочном «займе».

После этого злосчастный отверженец посетил три пивные одну за другой. Во всех трех его деньги и его кредит давно уже были истрачены; но сегодня Блайт готов был валяться в ногах у самого лютого врага за один глоток *aguardiente*. В двух пульпераиях его дерзкие просьбы встретили такой учтивый отказ, что эта учтивость показалась обиднее ругани. Третье заведение усвоило себе американские методы: посетителя схва-

тили за шиворот и дали ему такого пинка, что он вылетел на улицу и упал на колени.

Физическое оскорбление изменило его самым неожиданным образом. Когда он встал с колен и пошел дальше, весь облик его выражал полное и абсолютное спокойствие. Та ис-  
кательная и притворная улыбка, которая словно застыла у него на лице, сменилась упорной и злобной решимостью. До сих пор Вельзевул барахтался в море бесчестия, держась за веревочку, которая соединяла его с порядочным обществом, вышвырнувшим его за борт. И вот он почувствовал, что эту веревочку внезапно выдернули у него из рук, и на него снизошло то блаженное спокойствие духа, которое испытывает всякий пловец, когда, утомившись бороться с волнами, он видит, что ему осталось одно: утонуть.

Блайт отошел к ближайшему углу, счистил там со своего костюма песок и протер стекла пенсне.

— Ничего другого не осталось, — сказал он вслух самому себе. — Будь у меня бутылка рома, я бы подождал еще немного. Но для Вельзевула, как они называют меня, рома нет больше нигде. Клянусь пламенем Тартара... Если меня сажают по правую руку самого сатаны, кто-нибудь должен платить за эту царственную роскошь. Придется расплачиваться вам, мистер Франк Гудвин. Вы славный малый, я знаю, но нельзя же, чтобы джентльмена выбрасывали из питейной на улицу. Шантаж — нехорошее слово, но шантаж есть ближайшая станция на той дороге, по которой я теперь путешествую.

Решительной поступью Блайт зашагал

через город, держась наиболее удаленных от моря окраин. Он миновал грязные домишкы беззаботных негров и живописные лачуги беднейших метисов, по пути он то и дело, со многих улиц, видел сквозь тенистые просеки дом Франка Гудвина в роще на холме. И когда он шел по мостику через болото, он видел старого индейца Гальвеса, скребущего деревянную колоду, на которой было выжжено имя президента Мирафлореса. За болотом по склону горы начинались владения Гудвина. Заросшая травой дорога вилась от края банановой рощи к дому. Тропические деревья самого разнообразного вида давали ей обильную тень. Блайт пошел по этой дороге, шагая широко и решительно.

Гудвин сидел на той галерее, где было прохладнее, и диктовал письма своему секретарю, местному уроженцу, способному юноше с болезненно-желтым лицом. В доме завтракали по-американски — рано. Прошло уже больше получаса с тех пор, как Гудвин встал из-за стола.

Отверженный подошел к ступенькам и помахал рукой.

— Доброе утро, Блайт,— сказал Гудвин.— Входите и садитесь. У вас есть ко мне дело?

— Мне нужно поговорить с вами наедине.

Гудвин сделал знак секретарю; тот вышел в сад, стал под манговым деревом и закурил папиросу. Блайт сел на освободившийся стул.

— Мне нужны деньги,— сказал он отрывисто и хмуро.

— Извините, пожалуйста,— сказал Гудвин, — но денег я вам не дам. Вы сопьетесь до смерти. Ваши друзья делали все, что могли, чтобы поставить вас на ноги, но их помошь шла вам во вред: вы сами губили себя. Больше денег вам давать нельзя.

— Милый человек,— сказал Блайт, откачнувшись назад вместе с креслом,— оставим политическую экономию в покое. Я говорю о другом. Я люблю вас, Гудвин, но я пришел всадить вам нож между ребер. Сегодня меня выгнали из салуна Эспады, и я хочу, чтобы общество заплатило мне за нанесенное оскорбление.

— Но ведь выгнал вас не я.

— Все равно: вы представитель общества, и, в частности, вы моя последняя надежда. Что делать! Не нравится мне эта история, но иного пути нет. Еще месяц тому назад, когда здесь был секретарь Лосады, я попробовал это сделать, но тогда я не мог. Тогда я не мог. А теперь могу. Теперь времена другие. Мне нужна тысяча долларов, Гудвин, и вам придется выдать мне эти деньги немедленно.

— Только на прошлой неделе вы просили не больше одного серебряного доллара,— сказал Гудвин с улыбкой.

— Что доказывает,— нахально подхватил Блайт,— что даже в тисках нищеты я все еще сохранял благородство. Согласитесь, что какого-то несчастного мексиканского доллара мало, чтобы заплатить за грех. Будем же говорить, как деловые люди. Я негодяй из третьего акта пьесы. Мне подобает полный, хоть и времененный триумф. Я видел, как вы

зажали в кулак чемоданчик покойного президента... с монетой. О, я знаю, это шантаж, но зато я недорого беру. Я знаю, я дешевый негодяй, прямо из мелодрамы... но так как вы мой задушевный приятель, я не хочу выжимать из вас последние соки.

— А не можете ли вы поподробнее? — сказал Гудвин, спокойно разбирай письма у себя на столе.

— С удовольствием, — сказал Блайт. — Мне нравится, как вы относитесь к делу. Театральщина мне ненавистна, и я предупреждаю заранее, что в моем рассказе не будет ни фейерверков, ни бенгальских огней, ни фиоритур на саксофоне.

В ту ночь, когда беглое превосходительство прибыло в город, я был очень пьян. Мне престительно гордиться этим фактом, ибо я достигаю такого блаженства нечасто. Кто-то поставил скамью под апельсинными деревьями в садике мадамы Ортис. Я перелез через ограду, лег и заснул. Разбудил меня апельсин, который упал мне на нос. Я очень рассердился и стал проклинать сэра Исаака Ньютона — или как его звали? — за то, что, выдумав притяжение земли, он не ограничил своей теории яблоками.

А тут прибыл мистер Мирафлорес со своей возлюбленной и с деньгой в саквояже и прошел в отель. Вскоре явились вы и завели разговор с артистом парикмахерского цеха, который обязательно желал разговаривать на профессиональные темы, хоть время уже было нерабочее. Я пытался заснуть опять, но меня опять разбудили, на этот раз выстрелом из пистолета во втором этаже. А через

минуту, смотрю, на меня летит саквояж и застревает в ветвях моего апельсинного дерева. Я встаю и думаю: уж не чемоданный ли дождь? Но тут со всего города сбежалась полиция, армия в орденах и медалях, наскоро приколотых к пижамам, с обнаженными ножиками, и я предпочел затаиться под тенью благодетельных бананов. Там я просидел около часа; к этому времени все успокоилось. И тогда, мой милый Гудвин,— простите, пожалуйста,— я видел, как вы пробрались в сад и тихомолком сорвали с апельсинного дерева этот спелый, сочный саквояж. Я поплелся за вами и видел, как вы внесли его к себе в дом. Чтобы единственное апельсинное дерево в один сезон принесло такой огромный урожай — сто тысяч долларов чистого дохода — это ли не рекорд для фруктовой промышленности?

В то время я был еще джентльменом и, конечно, не сказал никому ни слова. Но сегодня меня выгнали из питейной, у меня нет больше ни чести, ни совести; сегодня я продал бы за рюмку коньяку молитвенник моей матери! Я не ставлю вам тяжелых условий... Я прошу только тысячу долларов за то, что во время всей вашей кутерьмы я спал непробудным сном и ничего не видел.

Гудвин распечатал еще два письма и сделал на них карандашные пометки. Потом он кликнул секретаря:

— Мануэль!

Секретарь мгновенно появился.

— Когда отходит «Ариэль»? — спросил Гудвин.

— Сеньор, — ответил молодой человек, —

сегодня в три. Он зайдет еще в порт Соледад за дополнительным грузом, а оттуда прямо в Новый Орлеан.

— Bueno,— сказал Гудвин.— Эти письма могут подождать.

Секретарь снова удалился под манговое дерево к своей папиросе.

— Круглым счетом,— спросил Гудвин, глядя прямо в лицо Вельзевулу,— сколько денег вы должны в этом городе, не считая тех, которые вы «брали взаймы» у меня?

— Долларов пятьсот... приблизительно,— ответил, не задумываясь, Блайт.

— Ступайте в город и составьте там точный список всех ваших долгов. Этот список принесите мне через два часа, и я пошлю Мануэля с деньгами, чтобы он заплатил все до последнего гроша. Я также распоряжусь, чтобы вам купили приличный костюм. Вы уедете на «Ариэле» в три. Мануэль проводит вас к самому судну, и, перед тем как оно тронется в путь, он вручит вам тысячу долларов. Но, надеюсь, вы понимаете сами, что за это...

— Вполне понимаю! — весело выкрикнул Блайт.— Всю ту ночь я проспал без просыпу под апельсинным деревом мадамы Ортис и теперь должен навеки отряхнуть от себя прах Коралио. Не беспокойтесь, я выполню свое обязательство честно. Лотоса мне больше не есть. Ваше предложение отличное, и сами вы отличный человек и дешево отделались. Я подчиняюсь всем вашим условиям. Но покуда... у меня страшная жажда... и, милый Гудвин...

— Не дам ни реала,— твердо сказал Гуд-

вин,— покуда вы не сядете на пароход. Если вам дать деньги сейчас, вы через полчаса так напьетесь...

Но тут Гудвин всмотрелся в покрасневшие глаза Вельзевула, увидел, как дрожат у него руки и какой он весь расхлябанный. Он шагнул через стеклянную дверь террасы в столовую и вынес оттуда стакан и графинчик водки.

— Выпейте покуда, на дорогу! — сказал он, угощая шантажиста, как своего лучшего друга.

У Блайта-Вельзевула даже глаза заблестели при виде той благодати, по которой все утро томилась его душа. Сегодня в первый раз его отравленные нервы не получили той установленной дозы, которая была им нужна. И в отместку они мучили его жестоко. Он схватил графин, и хрустальное горлышко застучало об стакан в его дрожащих руках. Он налил полный стакан и встал навытяжку, держа стакан перед собою в руке. На минуту ему удалось высунуть голову из заливающих его гибельных волн. Он небрежно кивнул Гудвину, поднес стакан ко рту и пропоротал: «Ваше здоровье», соблюдая древний ритуал своего потерянного рая. А потом, так внезапно, что вино расплескалось у него по руке, он отставил стакан, не отпив ни единого глотка.

— Через два часа,— прошептал он Гудвину сухими губами, сходя вниз по ступенькам и направляя стопы свои в город.

Дойдя до тенистой банановой рощи, Вельзевул остановился и туже затянул пояс.

— Этого я сделать не мог,— лихорадочно

сказал он, обращаясь к верхушкам банановых деревьев. — Хотел, но не мог. Джентльмен не может пить с человеком, которого он шантажирует.

## XII

### БАШМАКИ

Джон де Граффенрид Этвуд объедался лотосом сверх всякой меры: ел корни, стебли и цветы. Тропики околдовали его. С энтузиазмом принял он за работу, а работа у него была одна: забыть во что бы то ни стало Розину.

Те, кто объедается лотосом, никогда не вкушают его без приправы. А приправа к нему — подливка *au diable*, и изготавливают ее водочные заводы. Все вечера Джонни и Билли Кью проводили за бутылкой на террасе консульского домика, так громко распевая непристойные песни, что прохожие туземцы только пожимали плечами и бормотали что-то по поводу «*Americanos diablos*».

Однажды слуга принес Джонни почту и положил ее на стол. Джонни протянул руку с гамака и меланхолически взял четыре или пять писем. Кью сидел на столе и от нечего делать отрубал разрезным ножом ноги у большой сороконожки, которая ползла среди бумаг. Джонни находился в той стадии объедения лотосом, когда все слова отдают горечью.

— Все то же!.. — роптал он. — Идиоты! Пишут мне письма, задают вопросы об этой

стране. Все желают узнать, как им устроить плантации и как нажить миллионы, не затрачивая никакого труда. Многие даже марок на ответ не прилагают. Они думают, у консула нет другого дела, как только писать им письма. Распечатайте конверты, мой милый, и прочитайте, в чем дело, а мне что-то лень.

Кью, который так обжился среди тропиков, что они уже не могли испортить ему настроение, придвинул стул к столу и с покладистой улыбкой на румяном лице стал разбирать корреспонденцию консула. Четыре письма были из разных концов Соединенных Штатов, от лиц, очевидно, смотревших на консула в Коралио как на некий энциклопедический словарь. Они присыпали ему длинные столбцы всевозможных вопросов — каждый вопрос за особым номером — и требовали сведений о климате, естественных богатствах, статистических данных, возможностях, законах и перспективах страны, где консул имел честь быть представителем их государства.

— Каждому напишите, пожалуйста, Билли, — сказал апатично консул, — одну строчку, не больше: «Смотрите последний отчет коралийского консульства». Да прибавьте, что всякие беллетристические подробности им с радостью сообщат в государственном департаменте. И подпишите мое имя. Вот и все. И, пожалуйста, не скрипите пером: это не дает мне заснуть.

— Если вы не будете храпеть, — сказал благодушный Кью, — я сделаю за вас всю работу. Вам нужен целый штат секретарей.

я и вообразить не могу, как вы справились с вашим отчетом. Проснитесь на минуту! Вот еще одно письмо — оно из вашего родного города, из Дэйлсбурга.

— Да? — протянул Джонни, обнаруживая снисходительное любопытство.— О чём оно?

— Пишет почтмейстер, — пояснил Кью. — Он говорит, что один из его сограждан хотел бы воспользоваться вашими советами и опытом. Этот человек не прочь приехать сюда, чтобы открыть здесь башмачный магазин. И ему хотелось бы знать, выгодное ли это предприятие. Он, видите ли, слыхал, что для наживы тут места благодатные и хочет воспользоваться.

Джонни жестоко страдал от жары, состояние духа у него было убийственное, и все же его гамак так и затрясся от хохота. Кью тоже не мог удержаться от смеха; и ручная обезьяна, сидевшая на самой верхней книжной полке, тоже отнеслась иронически к этому письму из провинции: захихикала пронзительным голосом.

— Боже милосердный! — крикнул консул. — Башмачный магазин! Что еще придумают эти ослы? Мастерскую меховых изделий? Ну-ка, Билли, скажите на милость, сколько человек из наших трех тысяч жителей когда-нибудь надевали башмаки, а?

Кью задумался.

— Сколько человек? Погодите... Вы да я...

— Нет, не я! — сказал Джонни и вытянул ноги, облаченные в истоптаные туфли.— Я не был жертвой башмаков уже несколько месяцев.

— Но все же у вас они есть,— возразил Кью.— Дальше: Гудвин, Бланшар, Джедди, старый Лютц, доктор Грэгг, и этот, как его? итальянец... агент по закупке бананов... и старик Дельгадо... впрочем, нет, он носит сандалии. Ну, кто еще? Мадама Ортис, хозяйка гостиницы. На вчерашней *baile*<sup>1</sup> я видел у нее на ногах красные козловые туфельки. И ее дочка, мисс Паса... ну, та училась в Штатах и знает, что такая культурная обувь... Кто же еще? Сестра сопанданте; по большим праздникам она действительно носит ботинки. И миссис Джедди: у нее номер тридцать третий, с высоким подъемом. А больше, кажется, нет никого. Стойте, а солдаты? Впрочем, нет, им обувь полагается только в походе, а в казармах они все босиком.

— Правильно,— согласился консул.— Из трех тысяч человек едва ли двадцать чувствовали когда-нибудь прикосновение кожи к ногам. О да! Коралио самое подходящее место для продажи обуви... если, конечно, торговец не желает расстаться со своим товаром. Нет, это, должно быть, написано в шутку. Просто дядя Паттерсон хотел рассмешить меня. Он всегда считал себя большим остряком. Напишите ему письмо, Билли, я продиктую. Мы покажем ему, что мы тоже умеем шутить!

Кью обмакнул перо и стал писать под диктовку Джонни. Были большие паузы, бутылка и стаканы путешествовали от одного к другому, и в результате получилось такое послание:

<sup>1</sup> Танцевальная вечеринка (*исп.*).

«МИСТЕРУ ОБЕДАЙЯ ПАТТЕРСОНУ

Дэйлсбург, штат Алабама.

Милостивый государь,

В ответ на ваше уважаемое письмо от 2 июня с. г. честь имею уведомить вас, что, по моему убеждению, на всем земном шаре нет другого места, где первоклассная обувная торговля имела бы больше шансов на успех, чем именно город Коралио. В этом городе 3000 жителей, и ни одного магазина обуви! Положение говорит само за себя. Наше побережье понемногу становится ареной деятельности предпримчивых коммерсантов, но, к великому сожалению, башмачное дело до сих пор не привлекло никого. Подавляющее большинство обитателей города до сих пор обходится без обуви.

Но эта нужда не единственная. Есть много других неудовлетворенных потребностей. Настоятельно необходимы: пивоваренный завод, институт высшей математики, уголь для отопления домов, а также кукольный театр с участием Панча и Джуди<sup>1</sup>.

Остаюсь  
ваш покорный слуга

Джон де Граффенрид Этвуд.

Консул Соединенных Штатов

в Коралио!

P.S. Дядя Паттерсон, ау! Наш городишко еще не провалился сквозь землю? Что бы

<sup>1</sup> Панч и Джуди — популярные герои английского национального кукольного театра. Панч во многом сходен с Петрушкой.

делало правительство без нас с вами? Ждите, на днях я пришлю вам попугая с зеленой головкой и пучок бананов.

*Ваш старый приятель*

*Джонни.*

— Я сделал эту приписку, чтобы дядюшка не принял мое послание всерьез и не обиделся бы за официальный тон. Теперь, Билли, запечатайте письма и дайте их Панчо: пусть отнесет на почту. Завтра «Ариадна» увезет почту, если успеет сегодня закончить погрузку.

Вечерняя программа Коралио — всегда одна и та же. Развлечения сноторвны и скучны. Люди слоняются без цели, босые, вяло болтают друг с другом. В зубах у них сигара или папироса. Глядя вниз на слабо освещенные улицы, можно подумать, что там беспорядочно движутся черномазые призраки и спятившие с ума светляки. Треньканье заунывной гитары усугубляет ночную тоску. Гигантские лягушки сидят на деревьях и квакают оглушительно, как трещотки в негритянском оркестре. Около десяти часов на улицах уже нет никого.

В консульстве царила такая же рутина. Каждый вечер появлялся Кью — посидеть в самом прохладном месте города, на веранде консульского дома.

Графинчик водки скоро приходил в движение, и около полуночи в сердце изгнанника-консула начинали пробуждаться сентименты. Тогда он излагал Кью свою любовную историю, завершившуюся таким

печальным концом. И каждый вечер Кью безропотно выслушивал друга, не уставая выражать ему сочувствие.

Свои ламентации Джонни неизменно заканчивал так:

— Но, ради бога, не думайте, что у меня сохранились какие-нибудь чувства к этой девушке. Я никогда не вспоминаю о ней. Мне нет до нее дела. Если бы она сейчас вошла в эту дверь, пульс у меня бился бы так же спокойно. Это все в прошлом.

— Еще бы! — отвечал Кью.— Не сомневаюсь, что вы забыли ее. Таких и надо забывать. С ее стороны было даже совсем некрасиво поддаться на удочку этого грубияна... Динка Поусона.

— Пинка Доусона! — произносил Джонни тоном величайшего презрения. — Ничтожество. Я считаю его полным ничтожеством. Но у него была земля, пятьсот акров, и потому его сочли достойным. Погодите, я еще с ним сквитаюсь. Кто такие Доусоны? Никто. А Этвуды известны по всей Алабаме. Скажите, Билли, знаете ли вы, что моя мать — урожденная де Граффенрид?

— Нет, — отвечал неизменно Кью. — Неужели?

Он слыхал об этом обстоятельстве никак не меньше трехсот раз.

— Факт! Де Граффенрид из округа Хэнкок... Но об этой девушке я больше не думаю. Я выкинул ее из головы. Не так ли, Билли?

— Так, так, — поддакивал Кью, и это было последнее, что слышал победитель Купидона.

На этой реплике Джонни обычно погружался в легкий сон, а Кью покидал террасу и брел через площадь в свою хижину под тыквенным деревом.

Через два-три дня коралийские изгнанники забыли письмо почтмейстера. Забыли они и свой забавный ответ на него. Но двадцать шестого июня плод этого ответа появился на древе событий.

В коралийские воды прибыл пароход «Андадор», совершивший регулярные рейсы. Он стал на якорь за милю от города. Побережье было усеяно зрителями. Каортинский доктор и таможенные отбыли в шлюпке на судно.

Через час Билли Кью вошел в консульство, сверкая белоснежным костюмом и ухмыляясь, как довольная акула.

— Что я вам скажу? Угадайте,— сказал он консулу, разлегшемуся в гамаке.

— Куда там угадывать в такую жару,— лениво промямлил консул.

— Приехал ваш человек с сапогами, тот самый,— медленно заговорил Кью, с удовольствием ворочая на языке этот сладкий леденец.— И привез с собой столько сапог, что хватило бы на весь континент — до Огненной Земли. Сейчас их перевозят на таможню. Шесть лодок, переполненных доверху, уже привезли и уехали за новой партией. Святители небесные! Вот будет дело, когда он поймет вашу шутку и придет побеседовать с вами, мистер консул. Стоило прокорпеть в тропиках девять лет, чтобы дождаться такого веселого зрелища.

Кью любил веселиться с комфортом. Он

выбрал чистое место на коврике и повалился на пол. Стены дрожали от его удовольствия.

Джонни повернулся к нему и, мигая глазами, сказал:

— Неужели нашелся такой идиот, который принял мое письмо всерьез?

— Товару на четыре тысячи долларов! — захлебываясь Кью в экстазе. — Привез бы уголь в Ньюкасл! Или пальмовые веера на Шпицберген. Я видел старого чудака на взморье. Посмотрели бы вы на него, когда он вздел себе на нос очки и разглядывал босые ноги туземцев. Пятьсот человек, и все босиком!

— И это правда? — спросил консул слабым голосом.

— Правда? Вы посмотрели бы, какую дочку привез с собой этот околпаченный гражданин. Красота! Рядом с нею кирпичные лица наших сеньорит показались черными, как вакса.

— Дальше! Рассказывайте дальше, — сказал Джонни, — если только вы способны прекратить ваше ослиное ржанье. Терпеть не могу, когда взрослый человек гогочет, как гиена!

— Зовут его Гемстеттер, — продолжал Кью. — Он... ах, что это с вами?

Джонни стукнул подошвами о пол и выкарабкался из гамака.

— Да встаньте вы, идиот, — закричал он в сердцах, — или я размозжу вам голову этой чернильницей! Ведь это Розина и ее отец. Ах, боже мой, что за болван этот старый почтмейстер! Ну встаньте же, Билли Кью,

и помогите мне. Что же нам делать? Или весь мир сошел с ума?

Кью поднялся и стряхнул с себя пыль. Кое-как ему удалось придать себе благопристойный вид.

— Нужно что-нибудь предпринять, Джонни, — сказал он, с трудом переходя на серьезный тон. — Я ведь не думал, что это ваша возлюбленная. Раньше всего нужно найти им квартиру. Вы идите на берег, встречайте гостей, а я сбегаю к Гудвину: может быть, миссис Гудвин приютит их у себя. Ведь у них лучший дом во всем Коралио.

— Милый Билли! — сказал консул. — Я знал, что вы не оставите меня. Наступил конец света, в этом нет никакого сомнения, но попробуем отсрочить катастрофу... на день или на два.

Кью раскрыл зонтик и направился к дому Гудвина. Джонни надел пиджак и шляпу. Он схватил было графинчик с водкой, но поставил его снова на стол, не отпив ни глотка, и смело двинулся к берегу.

Он нашел мистера Гемстеттера и его дочь в холодке, у таможни. Окружавшая их толпа молча глазела на них. Таможенные чиновники кланялись и расшаркивались, в то время как капитан «Андадора» переводил им, с какой целью эти люди приехали в Коралио. Розина была, по-видимому, в полном здоровье, она с веселым интересом рассматривала все вокруг. Все было так ново! Ее круглые щечки чуть-чуть покраснели, когда она увидела своего былого поклонника. Мистер Гемстеттер пожал ему руку весьма дружелюбно. Это был пожилой человек без

всяких житейских талантов, один из тех многочисленных неудачников, дельцов-непосед, которые никогда не бывают довольны и вечно мечтают о чем-нибудь новом.

— Очень рад вас видеть, милый Джон... Можно называть вас просто Джоном? — спросил он. — Позвольте мне поблагодарить вас за то, что вы так скоро ответили на запрос нашего почтмейстера. Он был очень любезен, — предложил похлопотать обо мне. Он знал, что я ищу такое дело, где прибыль была бы побольше. Я читал в газетах, что здешние места привлекают много капиталов. Спасибо за ваш совет. Я продал все, что имел, и купил вот эти башмаки. Хорошие башмаки, первый сорт. Живописный у вас городишко, Джон! Я надеюсь, что дела у меня пойдут превосходно. Судя по вашему письму, спрос на обувь здесь будет огромный.

Страдания злополучного консула вскоре, к счастью, прекратил Кью, появившийся с известием, что миссис Гудвин будет очень рада предоставить комнаты в своем доме мистеру Гемстеттеру и его дочери. Туда-то и были отведены новоприезжие. Там их и оставили: пусть отдыхают с дороги. Консул пошел последить, чтобы обувь пока что, в ожидании досмотра, убрали в таможенный склад. Кью, улыбаясь, как акула, побежал по городу разыскивать Гудвина и внушить ему, чтобы он не открывал своему гостю, каковы истинные перспективы башмачной торговли в Коралио, пока Джонни не придумает что-нибудь, чтобы спасти положение, если это вообще возможно.

Вечером у Кью с консулом состоялся на

подветренной террасе отчаянный военный совет.

— Отправьте их домой,— начал Кью, читая у консула в мыслях.

— Отправил бы,— сказал Джонни помолчав,— только, Билли, дело в том, что я все это время безбожно обманывал вас.

— Это ничего,— сказал покладистый Кью.

— Я говорил вам сто раз,— медленно продолжал Джонни,— что я забыл эту девушку, выбросил ее из головы.

— Триста семьдесят пять раз вы говорили об этом,— согласился монумент терпения.

— Я лгал,— повторил консул,— я лгал каждый раз. Я не забывал ее ни на секунду. Я был упрямый осел: убежал черт знает куда лишь потому, что она мимоходом сказала «нет». И, как спесивый болван, не хотел вернуться. Но сегодня я обменялся с нею двумя-тремя словами у Гудвина и узнал одну вещь. Вы помните этого фермера, который волочился за нею?

— Динка Доусона?

— Пинка Доусона. Он для нее — ноль. Она, оказывается, не верила его рассказням обо мне. Но все равно, я погиб. Это дурацкое письмо, которое мы с вами сочинили тогда, расстроило все мои шансы. Она с пренебрежением отвернется от меня, когда узнает, что я сыграл такую жестокую шутку над ее старым отцом,— шутку, недостойную самого глупого школьника. Башмаки! Боже мой, да сиди он здесь двадцать лет, он не продаст и двадцати пар башмаков. Напяльте-ка башмаки на кариба или на чумазого

испанца — и что сделают эти люди ? Встанут на голову и будут визжать, пока не сняхнут их. Никогда не носили они башмаков и не будут носить. Если я пошлю их домой, я должен буду рассказать им всю историю, и что подумает Розина обо мне ? Я люблю эту девушку больше прежнего, Билли, и теперь, когда она тут, в двух шагах, я теряю ее навеки лишь потому, что я попробовал шутить, когда термометр показывал сто два градуса.

— Не падайте духом ! — сказал оптимист Кью. — И пусть они откроют магазин. Я недаром поработал нынче. На первое время мы можем устроить бум. Чуть откроется магазин, я войду и куплю шесть пар. Я уже говорил кое с кем и объяснил им, какая случилась катастрофа, и все наши накупят себе столько башмаков, как будто они стоножки. Франк Гудвин купит целый ящик или два. Джедди покупают одиннадцать пар. Клэнси вложит в это дело всю свою недельную выручку, и даже старый доктор Грэгг готов купить три пары туфлей из крокодиловой кожи, если у них найдется достаточно большой размер. Бланшар видел мельком мисс Розину Гемстеттер, и, так как он француз, он потребует не меньше двенадцати пар.

— Десяток покупателей, — сказал Джонни, — а товару на четыре тысячи долларов. Это не годится. Тут нужны широкие масштабы. Идите, Билли, домой и оставьте меня одного. Мне нужно подумать. И прихватите с собой этот коньяк, да, да, без разговоров ! Больше консул Соединенных Штатов не

выпьет ни капли вина. Я буду сидеть всю ночь и думать. Если есть в этом деле какая-нибудь зацепка, я найду ее. Если нет, на совести роскошных тропиков' прибавится еще одна гибель.

Кью ушел, видя, что он больше не нужен. Джонни разложил на столе три или четыре сигары и растянулся в кресле. Когда внезапно на землю пал тропический рассвет и посеребрил морские струи, консул все еще сидел за столом. Потом он встал, насвистывая какую-то арию, и принял ванну.

В девять часов утра он направился в грязную почтово-телефрафную контору и провозился больше получаса с бланком. В результате получилась следующая каблограмма, которую он подписал и отправил, заплатив тридцать три доллара:

«П. ДОУСОНУ.

*Дэйлсбург. Алабама.*

Сто долларов посланы вам почтою. Пришлите мне немедленно пятьсот фунтов крепких колючих репейников. Здесь большой спрос. Рыночная цена двадцать центов фунт. Возможны дальнейшие заказы. Торопитесь».

### XIII КОРАБЛИ

В течение ближайшей недели на Калье Гранде было найдено отличное помещение для магазина. Мистер Гемстеттер снял его за довольно дешевую плату и разложил всю свою обувь на полках. Магазин украсился

изящными белыми коробками, выглядевшими очень заманчиво.

Друзья Джонни постояли за него горой. В первый день Кью заглядывал в магазин как бы мимоходом каждый час и покупал башмаки. После того как он купил башмаки на резинках, башмаки на шнурках, башмаки на пуговках, башмаки с гетрами, башмаки для тенниса, башмаки для танцев, туфли всевозможных цветов и оттенков и вышитые ночные туфли, он кинулся разыскивать Джонни — спросить у него, какие сорта обуви существуют еще, дабы закупить и их. Столь же благородно сыграли свою роль остальные: покупали часто и помногу. Кью руководил операциями и распределял клиентов так, чтобы растянуть торговлю на несколько дней.

Мистер Гемстеттер был доволен, но его смущало одно: почему никто из туземцев не приходит покупать башмаки?

— Ах, они такие застенчивые, — говорил Джонни, нервно вытирая лоб. — Дайте им немного попривыкнуть. От них отбою не будет; раскупят весь товар моментально.

Однажды предвечерней порой в конторе консула появился Кью, задумчиво пожевывая кончик незажженной сигары.

— Ну, придумали какой-нибудь фокус? — спросил он Джонни. — Если придумали, то сейчас самое время показать его. Если вы сумеете взять у одного из зрителей шляпу и вынуть оттуда несколько сот покупателей, которые желаю купить башмаки, действуйте немедленно. Мы все накупили себе столько обуви, что хватит на десять лет.

Теперь в башмачном магазине затишье, *dolce far niente*<sup>1</sup>. Я сейчас оттуда. Ваша жертва — почтенный Гемстеттер — стоит у порога и с изумлением взирает сквозь очки на босые ноги, проходящие мимо его магазина. У этих туземцев наклонности чисто художественные. Сегодня утром мы с Клэнси за два часа сфотографировали восемнадцать человек. А башмаков за весь день продана одна пара. Ее купил Бланшар. Ему показалось, что в магазине дочь хозяина. Он вошел и купил комнатные туфли, меховые. Потом я видел, как он размахнулся и швырнул их в залив.

— Завтра или послезавтра придет фруктовый пароход из Мобила, — сказал Джонни. — А до той поры нам делать нечего.

— Но что вы намерены делать? Создать спрос?

— Много вы понимаете в политической экономии, — ответил консул довольно невежливо. — Спроса создать нельзя. Но можно создать условия, которые вызовут спрос. Вот этим-то я и занят.

Через две недели после того как консул послал каблограмму, в Коралио прибыл фруктовый пароход и привез консулу огромный серый тюк, наполненный чем-то загадочным. Так как консул был официальное лицо, таможенники сделали ему поблажку и не распаковали тюка. Тюк был доставлен к нему в контору и с комфортом водворен в задней комнате.

Вечером консул сделал в холсте надрез,

<sup>1</sup> Блаженное безделье (*итал.*).

сунул туда руку и вытащил горсть репейников. Долго он осматривал их, как воин осматривает оружие, перед тем как ринуться в бой за жизнь и любимую женщину. Репейники были первого сорта, августовские, крепкие, как лесные орехи. Они были покрыты колючей и прочной щетиной, словно стальными иголками. Джонни тихонько засвистал какую-то арию и отправился к Билли Кью.

Позже, когда Коралио погрузился в сон, консул и Билли прокрались на опустелые улицы. Их пиджаки раздувались наподобие воздушных шаров. Медленной поступью прошли они по Калье Гранде, засевая пески колючками; тщательно обработали боковые дорожки, не пропустили и травы меж домами: засеяли каждый фут. Потом прошлись в боковые улицы, не пропустив ни одной. Не забыто было ни одно место, куда могла ступить нога мужчины, женщины или ребенка. Не раз возвращались они в консульство за пополнением колючих запасов. Лишь на рассвете, вернувшись домой, они с чистым сердцем легли почивать, как великие полководцы накануне сражения, после того как, разработав план кампании, они видят, что победа обеспечена.

Когда встало солнце, на базарную площадь пришли торговцы, продававшие фрукты и мясо, и разложили свои товары в здании рынка и на окружавшей его галерее. Базарная площадь была почти на самом морском берегу, так далеко сеятели колючек не заходили. Наступил установленный час, а покупателей не было. Еще полчаса — ни-

кого! «Que hay!»<sup>1</sup> — стали они восклицать, обращаясь друг к другу.

Между тем в обычное время из каждого глинобитного домика, каждой пальмовой лачуги, каждого patio выпорхнули женщины, черные женщины, коричневые женщины, лимонно-желтые женщины, каштановые женщины, краснокожие женщины, загорелые женщины. Все они стремились на рынок — купить для своей семьи кассаву, бананы, мясо, кур и маисовых лепешек. Все они были декольте, с голыми руками, босыми ногами, в юбках чуть ниже колен. Скудоумные и волоокие, они отошли от дверей и зашагали по узким тротуарам или посреди улицы по мягкой траве.

Вдруг самая первая издала странный писк и высоко подняла ногу. Еще немного, и несколько женщин сразу так и сели на землю с пронзительными воплями испуга, — поймать ту опасную, неведомую тварь, которая кусает их за ноги. «Que picadores diablos!»<sup>2</sup> — визжали они, перекликаясь друг с другом через узкую улицу. Некоторые перебежали с дорожек на траву, но и там их кусали и жалили непонятные колючие шарики. Они тоже повалились на землю, и их причитания слились с причитаниями тех, что сидели на песчаных тропинках. Весь город наполнился женским вытьем. А торговцы на рынке все гадали, почему не идут покупатели.

<sup>1</sup> Что случилось? (исп.)

<sup>2</sup> Какие колючие дьяволы! (исп.)

Вот на улицу вышли владыки земли, мужчины. Они тоже начали прыгать, танцевать, приседать и ругаться. Одни, словно лишившись рассудка, остановились как вкопанные, другие нагнулись и стали ловить ту нечисть, которая кусала им пятки и щиколотки. Некоторые во всеуслышание заявляли, что это ядовитые пауки новой, неизвестной породы.

А вот хлынули на улицу дети — порезвиться с утра на воле. И тут к общему гаму прибавился вой уязвленных и захромавших младенцев. Жертвы множились с каждой минутой.

Донна Мария Кастильяс-и-Буэнвентура-де-лас-Касас вышла, как всегда по утрам, из своего достопочтенного дома купить в *panaderia*<sup>1</sup> напротив свежего хлеба. На ней была золотистая атласная юбка, вся в цветочках, батистовая сорочка, вся в складочках, и пурпурная мантилья из Испании. Ее лимонно-желтые ноги были, увы, босы. Поступь у нее была величавая, ибо разве ее предки не чистокровные арагонские гидалго? Три шага она сделала по бархатным травам и вдруг наступила аристократической пяткой на одну из колючек Джонни. Донна Мария Кастильяс-и-Буэнвентура-де-лас-Касас завизжала, как дикая кошка. Упав на колени, упираясь руками в землю, она поползла, да, поползла, как животное, назад, к своему достопочтенному дому.

Дон сеньор Ильдефонсо Федерико Вальдасар, мировой судья, весом в двадцать

<sup>1</sup> Булочная (*исп.*).

английских стон<sup>1</sup>, повлек свое грузное туловище на площадь в пульперию — утолить утреннюю жажду. С первого же шага его незащищенная нога наткнулась на скрытую мину. Дон Ильдефонсо рухнул, как обвалившийся кафедральный собор, крича, что его насмерть укусил скорпион. Всюду, куда ни глянь, прыгали безбашмачные граждане, дрыгая ногами и отрывая от пяток ядовитых насекомых, которые появились в одну ночь неизвестно откуда и доставили им столько хлопот.

Первый, кто догадался, как спастись от беды, был парикмахер Эстебан, человек бывалый и ученый. Сидя на камне и вынимая у себя из большого пальца занозы, он произнес такую речь:

— Посмотрите, милые друзья, на этих клопов сатаны. Я знаю их отлично. Они летают в небе, как голуби, стаями. Живые улетели, а мертвые засыпали своими телами наш город. Это еще мелочь, а в Юкатане я видел вот таких, величиной с апельсин. Да! Там они шипят, как змеи, а крылья у них, как у летучей мыши. От них одно спасение — башмаки. Zapatos, zapatos para mí! — Эстебан заковылял к магазину Гемстеттера и купил себе пару ботинок. Выйдя оттуда, он гордо зашагал по улицам, не боясь ничего и громко пенося сатанинских клопов. Пострадавшие либо сидели, либо стояли на одной ноге и смотрели на счастливца парикмахера. Женщины, мужчины и дети — все подхватили клич:

<sup>1</sup> То есть больше ста килограммов.

— Zapatos! Zapatos!

Условия, порождающие спрос, были созданы. Спрос не замедлил последовать. В этот день мистер Гемстеттер продал триста пар башмаков.

— Удивительно, — сказал он консулу, который заглянул к нему вечером помочь ему навести порядок в магазине, — какое внезапное оживление торговли. Вчера я продал всего три пары.

— Я говорил вам, что, если уж они начнут покупать, от них буквально не будет отбоя.

— Завтра же выпишу еще ящиков десять, не меньше, в запас, — сказал Гемстеттер, сияя сквозь очки. — Чтобы, знаете, не остаться вдруг без товара.

— Я бы не советовал, — сказал Джонни. — Не нужно торопиться. Посмотрим, как пойдет торговля дальше.

Каждую ночь Джонни и Кью бросали в землю семя, всходившее поутру долларами. Через десять дней в магазине Гемстеттера разошлось две трети товара; репейник у Джонни разошелся весь без остатка. Джонни выписал у Пинка Доусона еще пятьсот фунтов по двадцати центов за фунт. Мистер Гемстеттер выписал еще башмаков на полторы тысячи долларов от северных фирм. Джонни околачивался в магазине, чтобы перехватить заказ, и уничтожил его прежде, чем он поступил на почту.

В этот вечер он ушел с Розиной под то манговое дерево, что росло у террасы Гудвина, и рассказал ей все. Она посмотрела ему прямо в глаза и сказала:

— Вы очень нехороший человек. Мы с папой сейчас же уедем домой. Вы говорите, что это была шутка? По-моему, это очень серьезное дело.

Но через полчаса тема их беседы изменилась. Они горячо обсуждали вопрос, какими обоями — розовыми или голубыми — лучше украсить колониальный дом Этвудов в Дэйлсбурге после их свадьбы.

На следующее утро Джонни покаялся перед мистером Гемстеттером. Сапожный торговец надел очки и сказал:

— Вы большой негодяй, молодой человек. Таково мое мнение. Хорошо, что я, как опытный делец, поставил все дело на солидную ногу, а не то я был бы банкротом. Что же вы предлагаете сделать теперь, чтобы распродать остальное?

Когда прибыла новая партия репейников, Джонни нагружил ими шхуну, захватил оставшуюся обувь и направился вдоль берега в Аласан.

Там таким же дьявольским манером он устроил свое темное дело и вернулся с туго набитым бумажником и без единого башмачного шнурка.

После этого он упросил своего великого Дядюшку, щеголяющего в звездном жилете и трясущего козлиной бородкой<sup>1</sup>, принять его отставку, так как лотос уже не прельщал его. Он мечтал о шпинате и редиске с огородов Дэйлсбурга.

<sup>1</sup> Дядя Сэм — символ Соединенных Штатов. Его принято изображать в виде сухопарого верзилы с длинной бородкой, в жилете, усеянном звездами (национальный флаг).

Временно замещающим должность консула Соединенных Штатов был назначен, по совету Джонни, мистер Уильям Теренс Кью, и вскоре Джонни отплыл с Гемстеттерами к берегам своей далекой отчизны.

Кью принял свою синекуру с той легкостью, которая никогда не покидала его даже на высоком посту. Его фотографическая мастерская вскоре прекратила свое бытие, хотя следы ее смертоносной работы никогда не изгладились на этих мирных, беззащитных берегах. Компаньонам не сиделось на месте. Они снова готовы были пуститься в погоню за быстроногой Фортуной. Но теперь дороги у них были разные. Воинственный Клэнси просыпал о том, что в Перу готовится восстание, и жаждал направить туда свой предприимчивый шаг. А Кью — у того созрел и уже уточнялся на официальных бланках консульства новый план, перед которым работа по искажению человеческих лиц совершенно стушевывалась.

— Мне бы, — часто говорил Кью, — подошло какое-нибудь этакое дельце, не скучное, и чтобы казалось труднее, чем есть на самом деле, какое-нибудь деликатное жульничество, еще не настолько разработанное, чтобы его можно было включить в программу заочного обучения. Я не гонюсь за быстрыми доходами, но мне хочется иметь хотя бы столько же шансов на успех, как у того человека, который учится играть в покер на океанском пароходе. А когда я начну считать прибыль, мне

совершенно не улыбается найти у себя в кошельке лепты вдовиц и сирот.

Весь земной шар, заросший травой, был тем зеленым столом, за которым Кью предавался азартной игре. Он играл только в те игры, которые сам изобрел. Он не хватался за каждый подвернувшийся под руку доллар, не преследовал его с охотничим рогом и гончими, но предпочитал ловить его на блестящую редкостную мушку в водах диковинных рек.

И все-таки он был хороший делец, и его планы, несмотря на всю их фантастичность, были так же всесторонне обдуманы, как планы какого-нибудь строительного подрядчика. Во времена короля Артура сэр Уильям Кью был бы рыцарем Круглого Стола. В наши дни он разъезжает по свету, но цель его — не Грааль, а Игра.

Через три дня после отъезда Джонни два маленьких парусных судна появились у берегов Коралио. Вскоре одно из них спустило на воду шлюпку, и в ней прибыл загорелый молодой человек. У мододого человека был острый, сметливый глаз; с удивлением осматривал он диковинки, которые видел вокруг. Кто-то на берегу указал ему, где контора консула, и туда он направился нервной походкой. Кью сидел, развалившись, в казенном кресле, рисуя на кипе казенных бумаг карикатуры на дядюшку Сэма. Когда посетитель вошел, он поднял голову.

— Где Джонни Этвуд? — деловым тоном спросил загорелый молодой человек.

— Уехал, — ответил Кью, тщательно отделявая галстук дядюшки.

— Узнаю моего Джонни! — сказал загорелый, опираясь руками о стол. — Такой он всегда был. Чем заниматься делом, шляется где-нибудь по пустякам. А скоро он вернется?

Кью подумал и сказал:

— Едва ли.

— Бездельничает, как всегда, — сказал посетитель убежденно добродетельным тоном. — Никогда у него не было выдержки: работать и работать, до конца, чтобы добиться успеха. Как же он может вести дело здесь, если он даже в конторе не бывает?

— Теперь это дело поручено мне, — сказал заместитель консула.

— Вам! А, вот оно что! Скажите же мне, где фабрика?

— Какая фабрика? — спросил Кью с учтивым любопытством.

— Да та, где обрабатывают эти репейники! Что с ними там делают, кто его знает. Вот эти два судна доверху набиты репейниками, я сам зафрахтовал их. Продам вам всю партию, и дешево. В Дэйлсбурге я нанял всех женщин, мужчин и детей специально для сбора репейника. Собирали целый месяц без отдыха. Все думали, что я сумасшедший. Ну, теперь я могу продать вам всю свою партию по пятнадцать центов за фунт. С доставкой, пересылкой и другими накладными расходами. И если вам нужно еще, мы поднимем на ноги всю Алабаму. Джонни, когда уезжал сюда, обещал мне, что, если наклонется какое-нибудь выгодное дело, он тотчас даст мне знать. Могу ли я подъехать к берегу и разгрузиться?

Огромная, почти невероятная радость засветилась на розовой физиономии Кью. Он уронил карандаш. Его глаза обратились к загорелому молодому человеку, в них отразились и веселье и страх. Он боялся, как бы все это прелестное событие не оказалось сновидением.

— Ради бога, — сказал он взволнованно, — скажите мне: вы Динк Поусон?

— Меня зовут Пинкни Доусон, — ответил король репейного рынка.

В тихом упоении Кью соскользнул с кресла на пол, на свой любимый коврик.

Немного было звуков в Коралио в тот душный и знойный полдень. Среди них мы могли бы упомянуть восторженный и неправедный хохот простертого на коврике ирландского янки, пока загорелый молодой человек стоит и смотрит на него проницательным глазом в великом изумлении и замешательстве. А также топ-топ-топ-топ многих обутых ног, шагающих по улицам. А также тихий шелест волн Карибского моря, омывающего этот исторический берег.

#### XIV ХУДОЖНИКИ

Огрызок синего карандаша служил Кью жезлом, с помощью которого он совершал предварительные действия своего волшебства. Зажав его в пальцах, он покрывал бумагу диаграммами и цифрами, выжидая, когда Соединенные Штаты пришлют в Коралио заместителя вышедшему в отставку Этвуду.

Новый план, зародившийся у него в уме, поддержанный его отважным сердцем и зафиксированный его синим карандашом, строился на свойствах и человеческих слабостях нового президента Анчурии. Эти свойства, а также ситуация, из которой Кью надеялся вытянуть золотую дань, заслуживают того, чтобы мы изложили их более подробно, дабы связь событий стала понятнее.

Великие таланты президента Лосады — многие звали его диктатором — были бы заметны даже среди англо-саксов, если бы к этим талантам не примешивались другие черты, мелочные и пагубные. Благородный патриот (в духе Джорджа Вашингтона, которому он поклонялся), он обладал душевными силами Наполеона и в значительной мере — мудростью великих мудрецов. Все это давало бы ему несомненное право именоваться «Достославным Освободителем Народа», если бы не его изумительное и несуразное чванство, которое отодвигало его в менее достойные ряды диктаторов.

Правда, он сослужил своей родине великую службу. Могучей дланью он встряхнул ее так, что с нее чуть не спали оковы оцепенения, лени, невежества. Анчурия чуть было не стала державой, с которой считаются другие нации. Он учреждал школы и больницы, строил мосты и шоссе, строил железные дороги, дворцы. Щедрой рукой раздавал он субсидии для поощрения наук и художеств. Он был абсолютный тиран и в то же время кумир народа. Богатства страны так и текли к нему в руки. Другие

президенты грабили без толку. Лосада, хоть и стяжал несметные суммы денег, все же некоторую долю уделял и народу.

Его наиболее уязвимым местом была ненасытная жажда монументов, похвал, славословий. В каждом городе он приказал воздвигнуть себе статуи и на пьедесталах высечь слова, восхваляющие его величие. В стены каждого общественного здания вделывались мраморные доски с надписями, повествующими о его великолепном правлении и о благодарности его верноподданных. Статуэтки и портреты президента наполняли всю страну, их можно было видеть в каждом доме, в каждой лачуге. Один из лизоблюдов при его дворе изобразил его в виде апостола Иоанна, с золотым ореолом вокруг головы и целой шеренгой приближенных в полной парадной форме. Лосада не усмотрел в этой картине ничего непристойного и распорядился повесить ее в одной из церквей столицы. Одному французскому скульптору он заказал мраморную группу, где рядом с ним, президентом, стояли Наполеон, Александр Великий и еще два-три человека, которых он счел достойными этой чести.

Он обшарил всю Европу, чтобы добыть себе знаки отличия. Деньги, интриги, политика — все годилось как средство получить лишний орден от королей или правителей. В особо торжественных случаях вся его грудь, от одного плеча до другого, была покрыта лентами, звездами, орденами, крестами, золотыми розами, медалями, ленточками. Говорили, что всякий, кто мог раздобыть для него новую медаль или как-

нибудь по-новому прославить его, получал возможность глубоко запустить руку в казначество республики.

На этом-то человеке и сосредоточились помыслы Кью. Благородный разбойник заметил, что на тех, кто льстит непомерному честолюбию Лосады, целыми потоками льется дождь богатых и щедрых милостей. Кто же вправе требовать от него, от Кью, чтобы он раскрыл зонтик для защиты от этого ливня!

Вскоре в Коралио прибыл новый консул и освободил Кью от временного исполнения обязанностей. Новоприбывший был молодой человек, только что с университетской скамьи, и цель жизни у него была одна: ботаника. Консульская служба в Коралио давала ему возможность изучать тропическую флору. Очки у него были дымчатые, а зонтик зеленый. На прохладной террасе консульства он поместил такое количество всевозможных растений, что не осталось места ни для бутылки, ни для кресла. Кью посмотрел на него с тоскою, но без всякой вражды, и начал упаковывать свой чемодан, ибо его новые планы требовали путешествия за море.

Вскоре снова прибыл «Карлсефин» — пароход-бродяга — и стал грузиться кокосовыми орехами для нью-йорского рынка. Кью устроился пассажиром на этот пароход.

— Да, я еду в Нью-Йорк, — говорил он знакомым, собравшимся на берегу проводить его. — Но не успеете вы соскучиться, как я буду здесь опять. Надо же заняться ху-

должественным воспитанием этой желто-черно-красной страны. И не такой я человек, чтобы оставить ее в ранних конвульсиях цинкографической стадии.

С этой загадочной декларацией он взошел на пароход.

Через десять дней, дрожа от холода и высоко подняв воротник своего легкого пальто, он ворвался в мастерскую Кэролоса Уайта на верхнем этаже многоэтажного дома на Десятой улице в Нью-Йорке.

Кэролос Уайт курил папиросы и поджаривал на керосиновой печке колбасу. Ему было всего двадцать три года, и его идеи об искусстве были чрезвычайно благородны.

— Билли Кью! — вскричал Уайт, протягивая левую руку (в правой была сковородка). — Откуда? Из каких нецивилизованных стран?

— Здравствуй, Кэрри! — сказал Кью, пододвигая стул к печке и грея около нее окоченелые пальцы. — Хорошо, что я разыскал тебя так скоро. Я целый день рылся в телефонных книжках и картиных галереях и ничего не нашел, а в расшивочной за углом мне сразу сказали твой адрес. Я был уверен, что ты все еще не бросил своего малевания.

Кью окинул стены мастерской испытующим взором.

— Да, ты настоящий художник, — объявил он, несколько раз кивнув головой. — Вот эта картина, большая, в углу, где ангелы, зеленые тучи и фургон с оркестром, превосходно подойдет для нас. Как назы-

вается эта картина? «Сцена на Кони-Айленд»?<sup>1</sup>

— Эта? Я хотел назвать ее «Илья-пророк возносится на небо», но, может быть, ты ближе к истине.

— Дело не в названии! — философски заметил Кью. — Самое главное — рама и пестрые краски. Теперь я скажу тебе без околичностей, зачем я пришел к тебе. Я проехал на пароходе две тысячи миль, чтобы вовлечь тебя в одно предприятие. Чуть только я затеял это дело, я сразу же подумал о тебе. Хочешь поехать со мною, чтобы смастерить одну картину? Работать три месяца. Пять тысяч долларов.

— А какая работа? — спросил Уайт. — Рекламы средств для ращения волос? Или овсяной каши?

— Никакой рекламы тебя малевать не заставят!

— Что же это за картина?

— Долго рассказывать.

— Ничего, рассказывай. А я, уж извини, буду следить за колбасой. Чуть она примет ван-дейковский коричневый тон, нужно снимать. Иначе пиши пропало.

Кью рассказал ему весь свой проект. Они должны были поехать в Коралио, где Уайту надлежало разыграть из себя знаменитого американского художника-портретиста, который будто бы разъезжает по тропикам для отдохновения от напряженной и

<sup>1</sup> Кони-Айленд — остров близ Нью-Йорка, где сосредоточены балаганы, качели, американские горы и пр.

высокооплачиваемой работы. Можно было с уверенностью сказать, что художник с такой репутацией непременно получит казенный заказ — увековечить на полотне бессмертные черты Лосады — и окажется под тем ливнем червонцев, который обеспечен каждому, кто умеет играть на слабой струне президента.

Кью решил назначить десять тысяч долларов. Случалось, художникам платили за портреты и больше. Расходы по путешествию пополам, все доходы тоже пополам. Такова была схема; он сообщил ее Уайту. С Уайтом он познакомился на Западе еще до того, как один посвятил себя искусству, а другой ушел в бедуины.

Заговорщики покинули мастерскую и заняли уютный уголок в кафе, где и просидели до ночи в обществе старых конвертов и огрызка синего карандаша, принадлежавшего Кью.

Ровно в полночь Уайт скрючился на стуле, положив подбородок себе на кулак, и закрыл глаза, чтобы не видеть безобразных обоев.

— Хорошо, я поеду, Билли, — сказал он спокойно и твердо. — У меня есть две-три сотни, чтобы платить за колбасу и мастерскую, я рискну. Пять тысяч! Эти деньги дадут мне возможность уехать на два года в Париж и на год в Италию. Завтра же начну собираться.

— Ты начнешь собираться через десять минут. Завтра уже наступило. «Карлсефин» отходит в четыре часа. Пойдем в твою краильню, я помогу тебе.

На пять месяцев в году Коралио становится фешенебельным центром Анчурии. Только тогда в городе кипит жизнь. С ноября по март город, в сущности, является столицей. Там имеет пребывание президент со своей официальной семьей; высшее общество тоже перебирается туда. Люди, живущие в свое удовольствие, превращают весь этот сезон в сплошной праздник: развлечениям и забавам нет конца. Празднества, балы, игры, морские купанья, прогулки, спектакли — все способствует увеселению. Знаменитый швейцарский оркестр из столицы играет каждый вечер на площади, и все четырнадцать карет и экипажей, имеющихся в городе, кружат по улицам в похоронно-медленном, но сладостном темпе. Индейцы, похожие на доисторических каменных идолов, спускаются с гор и продают на улицах свои изделия. Узенькие улички полны народу — журчащий, беззаботный, веселый поток человечества. Нахальные мальчишки, вся арматура которых состоит из коротенькой туники и золотых крыльышек, визжат под ногами кипучей толпы. Особенно помпезно обставлено прибытие в город президента и его приближенных. Это великое торжество начала сезона, и сопровождается оно всегда парадами и патриотическими изъявлениями восторга и преданности.

Когда Кью и Уайт прибыли на «Карлсфине» в Коралио, веселый зимний сезон был уже в полном разгаре. Ступив на берег, они услышали швейцарский оркестр. Деревенские девы, украсив светляками свои черные кудри, уже скользили по тропинкам,

босые, с пугливыми взорами. Франты в белых полотняных костюмах, помахивая тросточками, уже начали свою вечернюю прогулку, столь опасную для женских сердец. Человеческое заполнило собою весь воздух: искусственные чары, кокетство, праздность, развлечения — созданный человеком смысл жизни.

В первые два-три дня по прибытии в Коралио Кью и его приятель занялись подготовкой почвы. Кью сопровождал художника во всех его прогулках по городу, познакомил его с маленьким кружком англичан и американцев и всеми возможными способами внушал окружающим, что приезжий — знаменитый художник.

Желая нагляднее показать, что это действительно так, Кью наметил целую программу.

Приятели сняли комнату в отеле де лос Эстронхерос. Оба щеголяли в новых костюмах из девственно-чистой парусины, у обоих были американские соломенные шляпы и трости, очень экстравагантного вида и совершенно ненужные. Даже среди пышномундирных офицеров анчурийского воинства числилось не много таких *caballeros* — таких элегантных и непринужденных в обращении джентльменов, как Кью и его друг, великий американский художник сеньор Уайт.

Уайт поставил свой мольберт на берегу и сделал несколько ярких этюдов моря и гор. Туземцы образовали у него за спиной широкий и болтливый полукруг и следили за работой его кисти. Кью, никогда не пренебрегавший деталями, усвоил себе роль,

которую и выдержал до самого конца: он друг великого художника, деловой человек на покое. Эмблемой его положения служил карманный фотоаппарат.

— Как признак дилетанта из высшего общества, — говорил он, — обладателя чистой совести и солидного счета в банке, аппарат забивает даже частную яхту. Человек ничего не делает, шатается по берегу и щелкает затвором, значит, он пользуется большим уважением в денежных кругах. Чуть только он кончает обирать своих ближних, он начинает снимать их. Кодак действует на людей больше, чем брильянтовая булавка в галстуке или титул.

Таким образом, Кью разгуливал по Коралио и снимал красивые виды и робких сеньорит, а Уайт парил в более высоких эмпиреях искусства.

Через две недели после их прибытия великий план начал осуществляться. К отелю подъехал один из адъютантов президента в великолепной четырехместной коляске. Президент хотел бы, чтобы сеньор Уайт побывал в Casa Morena с неофициальным визитом.

Кью крепко сжал трубку зубами.

— Десять тысяч, ни цента меньше, — сказал он художнику. — Помни свою цену. И, пожалуйста, золотом! Не давай им всучить тебе гнусные бумажки, которые считаются деньгами в здешних местах.

— Может быть, он зовет меня совсем не для этого, — сказал Уайт.

— Еще чего! — сказал Билли с великолепнымaplombом. — Уж я знаю, что ему

нужно. Ему нужно, чтобы знаменитый американский художник и флибустьер, ныне живущий в его презренной стране, написал его портрет. Собирайся же скорей!

Коляска отбыла вместе с художником. Кью шагал по комнате взад и вперед, выпуская из трубки огромные клубы дыма, и ждал. Через час коляска снова остановилась у двери отеля, оставила Уайта и покатила прочь. Художник взбежал по лестнице, перескакивая через три ступеньки. Кью перестал курить и превратился в молчаливый вопросительный знак.

— Вышло! — крикнул Уайт. Его детское лицо пылало. — Билли, ты просто восторг. Да, ему нужен портрет. Я сейчас расскажу тебе все. Черт возьми! Этот диктатор молодчина! Диктатор до кончиков ногтей. Некая смесь из Юлия Цезаря, Люцифера и Чонси Депью<sup>1</sup>, написанных сепией. Вежливость и мрачность — его стиль. Комната, где он принял меня, в десять квадратных акров и напоминает увеселительный пароход на Миссисипи — зеркала, позолота, белая краска. По-английски он говорит лучше, чем я. Зашел разговор о цене. Я сказал: десять тысяч. Я был уверен, что он позовет часовых, прикажет вывести меня и расстрелять. Но у него даже ресницы не дрогнули. Он только махнул своей каштановой ручкой и сказал небрежно: «Сколько скажете, столько и будет». Завтра я должен явиться к нему, и мы обсудим все детали портрета.

<sup>1</sup> Чонси Депью (1834—1928) — видный американский адвокат и политический деятель.

Кью повесил голову. Легко было прочитать на его помрачневшем лице сильнейшие угрызения совести.

— Я провалился, — сказал он печально. — Куда мне браться за такие большие дела? Мое дело продавать апельсины с тележки, для более сложных махинаций я не гожусь. Когда я сказал: десять тысяч, клянусь, я думал, что больше этот черномазый не даст, а теперь я вижу, что из него можно было с тем же успехом выжать все пятнадцать. Ах, Кэрри, отдавай старого Кью в уютный и тихий сумасшедший дом, если еще хоть раз с ним случится подобное.

Летний дворец, Casa Mogena, хотя и был одноэтажным зданием, отличался великолепным убранством. Он стоял на невысоком холме в обнесенном стеной роскошном тропическом саду на возвышенной окраине города. На следующий день коляска президента снова приехала за живописцем. Кью пошел прогуляться по берегу, где и он, и его «коробка с картинками» уже стали обычным явлением. Когда он вернулся в гостиницу, Уайт сидел на балконе в шезлонге.

— Ну, — сказал Кью, — была ли у тебя беседа с его пустозвонством? Решили, какая мазня ему надобна?

Уайт вскочил с кресла и несколько раз прошелся взад и вперед по балкону. Потом он остановился и засмеялся самым удивительным образом. Он покраснел, и глаза у него блестели сердито и весело.

— Вот что, Билли, — сказал он резко. — Когда ты пришел ко мне в мастерскую и сказал, что тебе нужна картина, я думал,

что тебе нужно, чтобы я намалевал где-нибудь на горном хребте объявление об овсянке или патентованном средстве для ращения волос. Так вот, по сравнению с тем, что мне предлагают теперь по твоей милости, это было бы самой возвышенной формой живописи. Я не могу написать эту картину, Билли. Отпусти меня домой. Дай я попробую рассказать тебе, чего хочет от меня этот варвар. У него все уже заранее обдумано, и есть даже готовый эскиз, сделанный им самим. Недурно рисует, ей-богу. Но, музы! Послушай, какую чудовищную чепуху он заказывает. Он хочет, чтобы в центре картины был, конечно, он сам. Его нужно написать в виде Юпитера, который сидит на Олимпе, а под ногами у него облака. Справа от него стоит Джордж Вашингтон в полной парадной форме, положив руку ему на плечо. Ангел с распростертыми крыльями парит в высоте и возлагает на чело президента лавровый венок, точно он победитель на конкурсе красоток. А на заднем плане должны быть пушки, а потом еще ангелы и солдаты. У того негодяя, который намалевал бы такую картину, не человечья, а собачья душа; единственный достойный удел для него — погрузиться в забвение даже без жестянки, прикрепленной к хвосту и напоминающей о нем своим дребезжанием.

Мелкие бусинки пота выступили у Кью на лбу. Такого оборота огрызок его синего карандаша не предусмотрел. До сих пор колеса его плана вертелись так гладко, что он чувствовал себя поистине польщенным.

Он выволок на балкон еще одно кресло и снова усадил Уайта. Потом с напускным спокойствием закурил свою трубку.

— Ну, сынок, — сказал он нежно и в то же время очень серьезно, — давай поговорим, как художник с художником. У тебя свое искусство, у меня свое. Твое искусство — классическое: не дай бог нарисовать пивную вывеску или, скажем, олеографию «Старая мельница». А мое искусство — бизнес. Весь этот план — мой. Я разработал его, как дважды два. Малюй этого чудака-президента в виде короля Коля<sup>1</sup>, или в виде Венеры, или в виде пейзажа, или в виде фрески, или в виде букетика лилий, или на что бы он ни считал себя похожим, но малюй и получай монету. Ты не покинешь меня, Кэрри, теперь, когда игра началась. Подумай: десять тысяч.

— Об этом я не забываю, — сказал Уайт, — и это страшно мучает меня. Меня и самого подмывает втонтать в грязь все свои идеалы и опаскудить свою душу малеванием этой картины. Эти пять тысяч долларов означали для меня три года учения в Европе. Ради этого я бы, кажется, продал душу дьяволу.

— Ну зачем же дьяволу? — сказал Кьюолласково. — Это чисто деловое предложение. Столько-то красок и времени — столько-то денег. Я не согласен с тобою, что в этой картине совершенно нет места искусству. Джордж Вашингтон был вполне порядочный человек, и что можно сказать против ангела?

<sup>1</sup> Король Коль — персонаж известных английских детских стихов.

По-моему, группа задумана не так уж плохо. Если ты дашь Юпитеру эполеты и шпагу да сделаешь облака, что висят над его головой, похожими на грядку черной смородины, получится отличная батальная сцена. Конечно, если бы мы заранее не назначили цену, можно было бы спросить с него добавочную тысячу за Вашингтона да за ангела не меньше пятисот.

— Ты ничего не понимаешь, Билли, — сказал Уайт, напряженно смеясь. — У некоторых из нас, художников, такие огромные требования! Я мечтал о том, что когда-нибудь люди станут перед моей картиной и забудут, что она написана красками. Картина проникнет им в душу, как музыка, и засядет там, как мягкая пуля. Люди отойдут от картины и спросят: «А что еще написал этот художник?» — и окажется, что ничего, никаких обложек для журнала, никаких иллюстраций, никаких женских головок — ничего. Только картина. Вот ради чего я питался одной колбасой: я не хотел изменять себе. Я согласился сварганить этот президентский портрет, чтобы выбраться в чужие края и учиться. Но эта гнусная, ужасная карикатура! Боже, боже! Неужели ты сам не понимаешь, в чем дело?

— Понимаю! Превосходно понимаю! — сказал Кьюи так нежно, как будто говорил с ребенком, и положил свой длинный палец на колено Уайта. — Я понимаю. Ужасно, что приходится так унижать свое любимое искусство. Я понимаю. Ты хотел намалевать картину огромных размеров, какую-нибудь этакую панораму «Битва при Гет-

тисбурге», но позволь представить тебе один небольшой эскиз. Маленький набросок пером. До нынешнего дня мы затратили на все это дело триста восемьдесят пять долларов пятьдесят центов. Мы вложили сюда весь наш капитал. У нас осталось ровно столько, чтобы доехать до Нью-Йорка, не больше. Мне нужны мои пять тысяч долларов. Я намерен добывать медь в Айдахо и заработать сто тысяч. Такова деловая сторона положения. Слезай со своего высокого искусства, мой милый, и давай не будем упускать эту охапку долларов.

— Билли, — сказал Уайт, и чувствовалось, что он превозмогает себя. — Я попробую. Не ручаюсь, но попробую. Я возьмусь за эту картину и постараюсь довести ее до конца.

— Вот это бизнес! — радостно сказал Кью. — Молодчина! И слушай: заканчивай картину скорее! Если нужно, найми двух помощников, чтобы смешивали тебе краски. Торопись! В городе нехорошие слухи. Здешним людям начинает надоедать президент. Говорят, что он слишком швыряется концессиями. Толкуют, будто он снюхался с Англией и понемногу распродает свою родину. Нужно закончить картину и получить гонорар прежде, чем наступит революция.

В обширном *patio* дворца президент приказал натянуть большой холст. Под этим балдахином сеньор Уайт устроил свою временную мастерскую. Каждый день великий человек позировал ему по два часа.

Уайт работал добросовестно. Но по мере того как работа подвигалась к концу, на

него стала находить тоска. Он жестоко клеймил себя, издевался над собой, презирал себя. Кью с терпением великого полководца утешал его, ласкал, успокаивая всевозможными доводами, не давая ему уйти от картины.

К концу месяца Уайт объявил, что картина окончена. Юпитер, Вашингтон, ангелы, облака, пушки и прочее. Лицо художника было бледно, губы кривились. Он сказал, что президенту картина пришлась по душе. Ее решили повесить в Национальной галерее героев и государственных деятелей. Художнику было предложено завтра же явиться в Casa Morena за деньгами. В назначенный час он ушел из гостиницы, ни слова не отвечая на веселую болтовню Кью.

Через час он вошел в комнату, где его ждал Кью, швырнул шляпу на пол и уселся на стол.

— Билли, — сказал он с натугой, сдавленным голосом, — у меня есть небольшой капитал, вложенный в дело моего брата на Западе. Эти-то деньги и дают мне возможность изучать искусство и жить. Я возьму у брата мою долю и возвращу тебе то, что ты потратил на эту затею.

— Как! — вскричал Кью и вскочил со стула. — Он не заплатил за картину?

— Заплатил, заплатил, — сказал Уайт. — Но картины больше нет, нет и платы. Если интересно, послушай. Дело поучительное. Президент и я стояли рядом и смотрели на картину. Его секретарь принес чек на десять тысяч долларов — для предъявления в нью-йоркский банк. Чуть только в руке у

меня оказалась эта бумажка, я буквально сошел с ума. Я разорвал ее в мелкие клочки и швырнул на пол. Невдалеке стоял маляр и красил колонны дворика, возле него было ведро с краской. Я взял его огромную кисть и в одну минуту замазал весь этот десятитысячный кошмар. Потом поклонился и вышел. Президент не двинулся с места, не сказал ни слова. Он был ошеломлен неожиданностью. Я знаю, Билли, что я поступил не по-товарищески, но иначе я не мог, пойми !

На улице послышался шум. В городе было неспокойно. Смешанный, все растущий ропот вдруг пронзили резкие крики:

— *Vajo el traidor!.. Muerte al traidor!*<sup>1</sup>

— Слышишь ? — воскликнул огорченный Уайт. — Я немного понимаю по-испански. Они кричат: долой изменника ! Я слышал эти крики и раньше. Они кричат обо мне. Изменник — это я. Я изменил искусству. Я не мог не уничтожить картину.

— Долой дурака ! Долой идиота ! Эти крики были бы более кстати, — сказал Кью, пылая возмущением. — Ты уничтожил десять тысяч долларов, разорвал их, как старую тряпку, потому что тебя мучает совесть, что ты извел на пять долларов красок иначе, чем тебе хотелось. В следующий раз, когда у меня будет какой-нибудь коммерческий план, я поведу своего компаньона к нотариусу и заставлю его присягнуть, что он никогда не слышал слова «идеал».

Кью выбежал из комнаты в бешенстве.

<sup>1</sup> Долой изменника ! Смерть изменнику ! (*исп.*)

Уайт не обратил никакого внимания на его свирепые чувства. Презрение Билли Кью было для него ничто по сравнению с тем презрением к себе самому, от которого он только что спасся.

А в Коралио недовольство росло. Вспышка была неизбежна. Всех раздражало появление в городе краснощекого толстяка-англичанина, который, как говорили, был агентом британских властей и вел тайные переговоры с президентом о таких торговых сделках, в результате которых весь народ должен был оказаться в кабале у иностранной державы. Говорили, что президент предоставил англичанам самые дорогие концесии, что весь государственный долг будет передан англичанам и что в обеспечение долга им будут сданы все таможни. Долготерпеливый народ решил наконец заявить свой протест.

В этот вечер в Коралио и в других городах послышался голос народного гнева. Шумные толпы, беспорядочные, но грозные, запрудили улицы. Они свергли с пьедестала бронзовую статую президента, стоявшую посреди площади, и разбили ее на куски. Они сорвали с общественных зданий мраморные доски, где прославлялись деяния «Великого освободителя». Его портреты в правительственные учреждениях были уничтожены. Толпа атаковала даже Casa Morena, но была рассеяна войсками, которые остались верны президенту. Всю ночь царствовал террор.

Лосада доказал свое величие тем, что к полудню следующего дня в городе был

восстановлен порядок, а сам он снова стал полновластным диктатором. Он напечатал правительственные сообщение о том, что никаких переговоров с Англией он не вел и не намерен вести. Сэр Стаффорд Воан, краснощекий британец, заявил от своего имени в газетах и в особых афишах, что его пребывание в этих местах лишено международного значения. Он просто путешественник, турист. Он (по его словам) и в глаза не видал президента и ни разу не разговаривал с ним.

Во время всей этой смуты Уайт готовился к обратному пути. Пароход отходил через два-три дня. Около полудня Кью, непоседа, взял свой фотографический аппарат, чтобы как-нибудь убить слишком медленно ползущие часы. Город был снова спокоен, как будто и не бунтовал никогда.

Спустя некоторое время Кью влетел в гостиницу с каким-то особенным, решительно-сосредоточенным видом. Он удалился в тот темный чулан, в котором обычно проявлял свои снимки.

Оттуда он прошел на балкон, где сидел Уайт. На лице у него играла яркая, хищная, злая улыбка.

— Знаешь, что это такое? — спросил он, показывая издали маленький фотографический снимок, наклеенный на картонку.

— Снимок сеньориты, сидящей на стуле, — аллитерация непреднамеренная, — лениво сказал Уайт.

— Нет, — сказал Кью, и глаза у него засверкали. — Это не снимок, а выстрел. Это жестянка с динамитом. Это золотой

рудник. Это чек от президента на двадцать тысяч долларов, да, сэр, двадцать тысяч, и на этот раз картина испорчена не будет. Никакой болтовни о высоком назначении искусства. Искусство! Ты, мазилка с вонючими тюбиками! Я окончательно перешел тебя кодаком. Посмотри-ка, что это такое!

Уайт взял карточку и протяжно свистнул.

— Черт! — воскликнул он. — В городе будет бунт, если ты покажешь этот снимок. Но как ты раздобыл его, Билли?

— Знаешь эту высокую стену вокруг президентского сада? Там, позади дворца? Я пробрался к ней — снять весь город с высоты. Вижу: из стены выпал камешек, и штукатурка чуть держится. Думаю, дай-ка посмотрю, как растет у президента капуста. И вдруг предо мною в двадцати шагах — этот сэр англичанин вместе с президентом, за столиком. На столике бумаги, и оба они воркуют над ними, совсем как два пирата. Славное местечко в саду, тенистое, уединенное. Кругом пальмы, апельсиновые деревья, а на траве ведерко с шампанским, тут же под рукой. Я почувствовал, что пришла моя очередь создать нечто великое в искусстве. Я приставил аппарат к отверстию в стене и нажал кнопку. Как раз в эту минуту те двое стали пожимать друг другу руки — они закончили свою тайную сделку, — видишь, это так и вышло на снимке.

Кью надел пиджак и шляпу.

— Что же ты думаешь сделать с этим? — спросил Уайт.

— Я? — воскликнул обиженным тоном Кью. — Я привяжу к нему красную ленточ-

ку и повешу у себя над камином. Ты меня изумляешь, ей-богу! Я уйду, а ты, пожалуйста, прикинь-ка в уме, какой именно прянничный деспот захочет приобрести мою картинку для своей частной коллекции, лишь бы только она не попала ни к кому постороннему.

Солнце уже обагрило верхушки кокосовых пальм, когда Билли Кью вернулся из Casa Morena. Художник встретил его вопросительным взглядом. Кью кивнул головой и тотчас же растянулся на койке, подложив руки под голову.

— Я видел его. Он заплатил деньги, вполне превосходно. Сначала меня не хотели пускать к нему. Я сказал, что это очень важно. Да, да, этот президент молодчина. Способная bestия. Безусловно, деловое устройство мозгов. Мне стоило только показать ему снимок и назвать мою цену. Он улыбнулся, пошел к несгораемому шкафу и вынул деньги. С такой легкостью он выложил на стол двадцать новеньких бумажек по тысяче долларов, как я бы положил один доллар и двадцать пять центов. Хорошие бумажки, хрустят, как сухая трава во время пожара.

— Дай пощупать, — сказал с любопытством Уайт. — Я еще никогда не видал тысячетысяч долларовой бумажки.

Кью отозвался не сразу.

— Кэрри, — сказал он рассеянно, — тебе дорого твое искусство, не правда ли?

— Да, — сказал тот. — Ради искусства я готов пожертвовать и своими собственными деньгами, и деньгами моих милых друзей.

— Вчера я думал, что ты идиот, — спокойно сказал Кью, — но сегодня я переменил свое мнение. Или, вернее, я оказался таким же идиотом, как ты. Я никогда не отрекался от жульничества, но всегда искал равного по силам противника, с которым стоило бы потягаться и мозгами и капиталом. Но схватить человека за горло и ввинтить в него винт — нет, темная это работа, и она носит гнусное имя... Она называется... ну, да ты понимаешь. Ты знаешь, что такое профанация искусства... Я почувствовал... ну да ладно. Я разорвал свою карточку, положил клочки на пачку денег, да и отодвинул все назад к президенту. «Простите меня, мистер Лосада, — сказал я, — но, мне кажется, я ошибся в цене. Получайте свою фотографию бесплатно». Теперь, Кэрри, бери-ка ты карандаш мы составим маленький счетик. Не может быть, чтобы от нашего капитала не осталось достаточной суммы тебе на жареную колбасу, когда ты вернешься в свою нью-йоркскую берлогу.

## XV ДИККИ

Последовательность в Анчурии не в моде. Политические бури, бушующие там, перемежаются с глубоким зтишьем. Похоже, что даже Время вешает каждый день свою косу на сук апельсинного дерева, чтобы спокойно вздрогнуть и выкурить папиросу.

Побунтовав против президента Лосады, страна успокоилась и по-прежнему терпимо

взирала на злоупотребления, в которых обвиняла его. В Коралио вчерашние политические враги ходили под ручку, забыв на время все несходство своих убеждений.

Неудача художественной экспедиции не обескуражила Кью. Он падал, как кошка, не разбиваясь. Никакие обиды Фортуны не в силах были изменить его мягкую поступь. Еще на горизонте не рассеялся дым парохода, на котором уехал Уайт, а Кью уже пустился работать своим синим карандашом. Стоило ему сказать одно слово Джедди — и торговый дом Брэнигэн и компания предоставил ему в кредит любые товары. В тот самый день, когда Уайт приехал в Нью-Йорк, Кью, замыкая караван из пяти мулов, навьюченных ножами и прочим скобяным товаром, двинулся внутрь страны, в мрачные, грозные горы. Там племена краснокожих намывают золотой песок из золотоносных ручьев, и, когда товар доставляют им на место, торговля в Кордильерах идет бойко и тиу *виепо*. В Коралио Время сложило крылья и томной походкой шло своим дремотным путем. Те, кто больше всех наполнял весельем эти душные часы, уже уехали. Клэнси помчался в Калао, где, как ему говорили, шел бой. Джедди, чей спокойный и приветливый характер в свое время сильно помог ему в борьбе с расслабляющим действием лотоса, был теперь семьянин, домосед: он был счастлив со своей яркой орхидеей Паулой и никогда не вспоминал о таинственной запечатанной бутылке, секрет которой, теперь уже не представлявший интереса, надежно хранило море.

Недаром Морж, самый сообразительный зверь и великий эклектик всех зверей, поместил сургуч в середине своей программы, среди многих других забавных номеров.

Этвуд уехал — хитроумный Этвуд с гостеприимной задней веранды. Правда, оставался доктор Грэгг; но история о трепанации черепа по-прежнему кипела в нем, как лава вулкана, и каждую минуту готова была вырваться наружу, а эта катастрофа, по совести, не могла служить к уменьшению скучи.

Мелодия нового консула звучала в унисон с печальными волнами и безжалостной зеленью тропиков: мелодии Шехерезады и Круглого Стола были чужды его лютне. Гудвин был занят большими проектами, а в свободное время никуда не ходил, потому что полюбил домоседство.

Прежние дружеские связи распались. Иностранный колония скучала.

И вдруг с облаков свалился Дикки Малони и занял своей особой весь город.

Никто не знал, откуда он приехал и каким образом очутился в Коралио. Вдруг в один прекрасный день его увидели на улице, вот и все. Впоследствии он утверждал, будто прибыл на фруктовом пароходе «Тор»; но в списках тогдашних пассажиров этого парохода никакого Малони не значилось. Впрочем, любопытство, вызванное его появлением, скоро улеглось: мало ли какой рыбы не выбрасывают на берег волны Карибского моря.

Это был подвижной, беспечный молодой человек. Привлекательные серые глаза,

неотразимая улыбка, смуглое — или очень загорелое — лицо и огненно-рыжие волосы, такие рыжие, каких в этих местах еще никогда не видали. По-испански он говорил так же хорошо, как и по-английски; в кармане у него серебра было вдоволь, и скоро он сделался желанным гостем повсюду. У него была большая слабость к *vino blanco*<sup>1</sup>, и скоро весь город узнал, что он один может выпить больше, чем любые три человека в Коралио. Все звали его Дикки; куда бы он ни пришел, всюду встречали его веселым приветом — все, в особенности местные жители, у которых его изумительные рыжие волосы и простота в обращении вызывали восторг и зависть. Куда бы вы ни пошли, вы непременно увидите Дикки или услышите его искренний смех; вечно он был окружен толпой почитателей, которые любили его и за хороший характер, и за то, что он охотно угощал белым вином.

Много было толков и догадок, зачем он приехал сюда, но вскоре все стало ясно: Дикки открыл лавочку для продажи сластей, табака и различных индейских изделий — шелковых вышивок, туфлей и плетеных камышовых корзин. Но и после этого он не переменил своего нрава: день и ночь играл в карты с *comandante*, с начальником таможни, шефом полиции и прочими гуляками из местных чиновников.

Однажды Дикки увидел Пасу, дочь мадамы Ортис; она сидела у боковой двери отеля де лос Эстрранхерос. И в первый раз

<sup>1</sup> Белое вино (*исп.*).

за все время своего пребывания в Коралио Дикки остановился как вкопанный, но сейчас же снова сорвался с места и кинулся с быстротою лани разыскивать местного франта Васкеса, чтобы тот представил его Пасе.

Молодые люди называли Пасу «La Santita Naranjadita». Naranjadita по-испански означает некоторый оттенок цвета. У англичан такого слова нет. Описательно и приблизительно мы могли бы перевести это так: «Святая с замечательно-прекрасно-деликатно-апельсинно-золотистым отливом». Такова и была дочь мадамы Ортис.

Мадама Ортис продавала ром и другие напитки. А ром, да будет вам известно, компенсирует недостатки всех прочих товаров. Ибо не забывайте, что изготовление рома является в Анчурии монополией правительства, а продавать изделия государства есть дело вполне респектабельное. Кроме того, самый строгий цензор нравов не мог бы найти в учреждении мадамы Ортис никакого изъяна. Посетители пили очень робко и мрачно, как на похоронах, ибо у мадамы было такое старинное и пышное родословное дерево, что оно не допускало легкомысленных шуток даже у сидящих за бутылкою рома. Разве она не была из рода Иглесиа, которые прибыли сюда вместе с Пизарро? И разве ее покойный супруг не был comisionado de caminos y puentes<sup>1</sup> во всей этой области?

По вечерам Паса сидела у окна, в комнатке рядом с расшивочной, и сонно пере-

<sup>1</sup> Уполномоченный по мостам и дорогам (исп.).

бирала струны гитары. И вскоре в эту комнатку по двое, по троє входили молодые кабальеро и садились у стены на стульях. Их целью была осада сердца молодой «Santita». Их система (не единственная и, вероятно, не лучшая в мире) заключалась в том, что они выпячивали грудь, принимая воинственные позы, и выкуривали бездну папирос. Даже святые с золотисто-апельсинным отливом предпочитают, чтобы за ними ухаживали как-нибудь иначе.

Донья Паса заполняла периоды отравленного никотином молчания звуками своей гитары и с удивлением думала: неужели все романы, которые она читала о галантных и более... более осязательных кавалерах, — ложь? Через определенные промежутки времени в комнату вплывала из пульперии мадама; что-то в ее взгляде вызывало жажду, и тогда слышалось шуршание накрахмаленных белых брюк — это один из кабальеро направлялся к стойке.

Что рано или поздно на этом поприще появится Дикки Малони, можно было предсказать с полной уверенностью. Мало оставалось дверей в Коралио, куда бы он не совал свою рыжую голову.

В невероятно короткий срок после того, как он впервые увидел Пасу, он уже сидел с нею рядом, у самой качалки, на которой сидела она. У него были свои собственные правила ухаживания за молодыми девицами; молчаливое сидение у стены не входило в его программу. Он предпочитал атаку на близкой дистанции. Взять крепость одним концентрированным, пылким, крас-

норечивым, неотразимым штурмом — такова была его боевая задача.

Род Пасы был один из самых аристократических и горделивых во всей стране. Кроме того, у нее были и большие личные достоинства — два года, проведенные ею в одном новоорлеанском училище, поставили ее значительно выше заурядных коралийских девиц. Она требовала от судьбы гораздо больше. И все же она покорилась первому попавшемуся рыжему нахалу с бойким языком и приятной улыбкой, потому что он ухаживал за нею как следует.

Вскоре Дикки повел ее в маленькую церковку, тут же на площади, и ко всем именам Пасы прибавилось еще одно: «миссис Малони».

И вот довелось ей — с такими кроткими, святыми глазами, с фигурой терракотовой Психеи — сидеть за покинутым прилавком убогой лавчонки, покуда ее Дикки пьянствовал и разгильдяйничал со своими беспутными друзьями.

Женщины, как известно, по природе бессознательно склонны к добру, и потому все соседки с большим удовольствием стали запускать в нее шпильки и колоть ее поведением ее молодого супруга. Она обратилась к ним с прекрасным и печальным презрением.

— Вы, коровы, — сказала она им ровным, хрустально-звенящим голосом. — Что вы знаете о настоящем мужчине? Все ваши мужья — *magomeros*<sup>1</sup>. Они годятся лишь

<sup>1</sup> Канатные плясуны (*исп.*).

на то, чтобы свертывать себе в тени панироски, покуда солнце не припечет их и не выгонит вон. Они, как трутни, валяются у вас в гамаках, а вы причесываете их и кормите свежими фруктами. Мой муж не такой. В нем другая кровь, совсем другая. Пусть себе пьет вино. Когда он выпьет столько, что можно было бы утопить любого из ваших заморышей, он придет ко мне сюда, домой, и будет больше мужчиной, чем тысяча ваших *pobrecitos*. Тогда он гладит и заплетает мне волосы, он мне, а не я ему. Он поет мне песни; он снимает с меня туфли и целует мои ноги, здесь и здесь. И он обнимает меня... да нет, вы никогда не поймете! Несчастные слепые, никогда не знавшие *мужчины*!

Иногда по ночам странные вещи творились в лавчонке у Дикки. В переднем помещении, где происходила торговля, было темно, но в маленькой задней комнатке Дикки и небольшая кучка его ближайших приятелей сидели за столом и далеко за полночь тихо беседовали о каких-то делах. Потом он украдкой выпускал их на улицу, а сам шел наверх, к своей маленькой «святой». Ночные гости имели вид заговорщиков: темные костюмы, темные шляпы. Конечно, в конце концов их темные дела <sup>не</sup> ускользнули от внимания жителей, и в <sup>один</sup> городе поднялись всевозможные толки.

На иностранцев, живущих в Коралио, Дикки, казалось, не обращал внимания. Он явно избегал Гудвина. А тот хитрый маневр, посредством которого ему удалось ускользнуть от истории доктора Грэгга о

трепанации черепа, и до сих пор вызывает в Коралио восторг как шедевр дипломатической ловкости.

Он получал много писем, адресованных «мистеру Дикки Малони», или «сеньору Диккею Малони». Паса была очень польщена: если столько людей желают ему писать, значит, и вправду цвет его краснорыжих волос сияет во всем мире. А каково было содержание писем, ее никогда не занимало. Вот бы вам такую жену!

Дикки допустил в Коралио лишь одну оплошность: он оказался без денег в самое неподходящее время. Откуда он вообще добывал свои средства, было загадкой для всех, так как его лавчонка давала ничтожную прибыль. Деньги приходили к нему из какого-то другого источника, и вдруг этот источник иссяк, и в очень тяжелую пору; иссяк тогда, когда comandante дон сеньор полковник Энкарнасион Риос взглянул на «святую», сидевшую в лавке, и почувствовал, как сердце у него пошло ходуном.

Comandante, который был тончайшим знатоком всех галантных наук, раньше всего выразил свои чувства деликатным, ненавязчивым намеком: он напялил на себя парадный мундир и стал шагать, перед окнами сеньоры Малони. Паса застенчиво глянула на него из окошка своими святыми глазами, увидела, что он страшно похож на ее попугая Чичи, и на лице у нее появилась улыбка.

Comandante увидел улыбку и, решив, что произвел впечатление, вошел в лавку с интимным видом и приблизился к даме,

чтобы сказать комплимент. Паса съежилась; он не унимался. Она царственно разгневалась; он, очарованный еще больше, стал настойчивее; она приказала ему уйти вон; он попробовал схватить ее за руку, и... вошел Дикки, широко улыбаясь, полный белого вина и дьявола.

Пять минут он потратил на то, чтобы наказать *comandante* самым тщательным научным способом, то есть принял все меры, чтобы боль от побоев не прекращалась возможно дольше. По окончании экзекуции он вышвырнул пылкого волокиту за дверь, на камни мостовой, бездыханного.

Босоногий полицейский, наблюдавший это происшествие, вынул свисток и свистнул. Из-за угла, из казарм, прибежали четыре солдата. Когда они увидели, что нарушитель порядка — Дикки, они остановились в испуге и тоже стали свистеть. Скоро пришло подкрепление: еще восемь солдат. Считая, что силы сторон теперь примерно равны, воины стали наступать на буяна.

Дикки, все еще не остывший от боевого пыла, нагнулся к ножнам *comandante* и, обнажив его шпагу, напал на врага. Он прогнал регулярную армию через четыре квартала, подгоняя шпагой визжащий арьергард и норовя уколоть шоколадные пятки.

Но справиться с гражданскими властями оказалось труднее. Шесть ловких, мускулистых полицейских в конце концов одолели его и победоносно, хоть и с опаской, потащили в тюрьму. *El Diablo Colorado*<sup>1</sup> — ру-

<sup>1</sup> Рыжий черт (*исп.*).

гали они его и издевались над военными силами за то, что те отступили перед ним.

Дикки было предоставлено, вместе с другими арестантами, смотреть из-за решетчатой двери на заросшую травою площадь, на ряд апельсинных деревьев да на красные черепичные крыши и глиняные стены каких-то захудалых лавочонок.

На закате по тропинке, пересекающей площадь, потянулось печальное шествие: скорбные, понурые женщины, несущие бананы, кассаву и хлеб — пропитание жалким узникам, томящимся здесь в заключении. Женщинам было разрешено приходить дважды в день: утром и вечером, ибо республика давала своим подневольным гостям воду, но не пищу.

В этот вечер часовой выкрикнул имя Дикки, и он подошел к железным прутьям двери. У двери стояла «святая», покрытая черной мантильей. Ее лицо было воплощение грусти; ясные глаза смотрели на Дикки так жадно и страстно, словно хотели извлечь его из-за решетки сюда, к ней. Она принесла жареного цыпленка, два-три апельсина, сласти и белый хлебец. Солдат осмотрел принесенную пищу и вручил ее Дикки. Паса говорила спокойно, — она всегда говорила спокойно, — своим чарующим голосом, похожим на флейту.

— Ангел моей жизни, — сказала она. — Воротись ко мне скорее. Ты знаешь, что жизнь для меня тяжкое бремя, если ты не со мною, не рядом. Скажи мне, чем я могу тебе помочь. Если же я бессильна, я буду

ждать — но недолго. Завтра утром я приду опять.

Сняв башмаки, чтобы не мешать другим заключенным, Дикки полночи прошагал по камере, проклиная свое безденежье и причину его, какова бы она ни была. Он отлично знал, что деньги сразу купили бы ему свободу.

Два дня подряд Паса приходила к нему в урочное время и приносила поесть. Всякий раз он спрашивал ее с большим волнением, не получено ли по почте какое-нибудь письмо или, может быть, пакет, и всякий раз она грустно качала головой.

На утро третьего дня она принесла только маленькую булочку. Под глазами у нее были темные круги. По внешности она была так же спокойна, как всегда.

— Клянусь чертом, — воскликнул Дикки, — это слишком постный обед, muchachita<sup>1</sup>. Не могла ты принести своему мужу что-нибудь повкуснее, побольше?

Паса посмотрела на него, как смотрит мать на любимого, но капризного сына.

— Не надо сердиться, — сказала она тихим голосом, — завтра не будет и этого. Я истратила последний centavo.

Она сильнее прижалась к решетке.

— Продай все товары в лавке, возьми за них, сколько дадут.

— Ты думаешь, я не пробовала? Я хотела продать их за какие угодно деньги, хоть за десятую долю цены. Но никто не дает ни одного песо. Чтобы помочь Дикки Малони, в городе нет ни реала.

<sup>1</sup> Девочка (*исп.*).

Дикки мрачно сжал зубы.

— Это все comandante, — сказал он. — Это он восстанавливает всех против меня. Но подожди, подожди, когда откроются карты.

Паса заговорила еще тише, почти шепотом.

— И слушай, сердце моего сердца, — сказала она, — я старалась быть сильной и смелой, но я не могу жить без тебя. Вот уже три дня...

Дикки увидал, что в складках ее мантильи слабо блеснула сталь. Взглянув на него, Паса впервые увидала его лицо без улыбки — строгое, выражающее угрозу и какую-то непреклонную мысль. И вдруг он поднял руку, и на лице у него опять засияла улыбка, словно взошло солнце. С моря донесся хриплый рев пароходной сирены. Дикки обратился к часовому, который шагал перед дверью.

— Какой это пароход?

— «Катарина».

— Компании «Везувий»?

— Несомненно.

— Слушай же, picarilla<sup>1</sup>, — весело сказал Дикки. — Ступай к американскому консулу. Скажи ему, что мне нужно сказать ему несколько слов. И пусть придет сию минуту, не медля. Да смотри, чтобы я больше не видал у тебя таких замученных глаз. Обещаю тебе, что сегодня же ночью ты положишь голову на эту руку.

Консул пришел через час. Под мышкой у него был зеленый зонтик, и он нетерпеливо вытирали платком лоб.

<sup>1</sup> Плутовка (исп.).

— Ну, вот видите, Малони, — сказал он раздраженно. — Вы всё думаете, что вы можете сколько угодно скандалить, а консул должен вызволять вас из беды. Я не военное министерство и не золотой рудник. У этой страны, знаете ли, есть свои законы, и, между прочим, у нее есть закон, воспрещающий вышибать мозги из регулярной армии. Вы, ирландцы, вечно затеваете драки. Нет, я ничем не могу вам помочь. Табаку, пожалуй, я пришлю... или, скажем, газету...

— Несчастный! — сурово прервал его Дикки. — Ты не изменился ни на йоту. Точно такую же речь, слово в слово, ты произнес и тогда, когда — помнишь? — на хоры нашей церковки забрались гуси и ослы старика Койна и виновные в этом деле хотели спрятаться у тебя в комнате.

— Боже мой! — воскликнул консул, быстро поправляя очки. — Неужели вы тоже окончили Иэльский университет? Вы тоже были среди шутников? Я не помню никого такого рыж... никого с такой фамилией — Малони. Ах, сколько бывших студентов упустили те возможности, которые им дало образование! Один из наших лучших математиков выпуска девяносто первого года продает лотерейные билеты в Белисе. В прошлом месяце сюда заезжал один человек, окончивший университет Корнелла. Теперь он младший стюард на пароходе, перевозящем птичий помет, гуано. Если вы хотите, я, пожалуй, напишу в департамент, Малони. Так же, если вам нужен табак или, скажем, газеты...

— Мне нужно одно, — прервал его Дикки, — скажите капитану «Катарины», что Дикки Малони хочет его видеть возможно скорее. Скажите ему, что я здесь. Да поживее. Вот и все.

Консул был рад, что так дешево отдался, и поспешил уйти. Капитан «Катарины», здоровяк, родом из Сицилии, скоро пробился к дверям тюрьмы, без всякой церемонии растолкав часовых. Так всегда вели себя в Коралио представители компании «Везувий».

— Ах, как жаль! Мне очень больно видеть вас в таком тяжелом положении, — сказал капитан. — Я весь к вашим услугам, мистер Малони. Все, что вам нужно, будет вам доставлено. Все, что вы скажете, будет сделано.

Дикки посмотрел на него без улыбки. Его красно-рыжие волосы не мешали ему быть суровым и важным. Он стоял, высокий и спокойный, сомкнув губы в прямую горизонтальную линию.

— Капитан де Лукко, мне кажется, что у меня еще есть капиталы в пароходной компании «Везувий», и капиталы довольно обширные, принадлежащие лично мне. Еще неделю назад я распорядился, чтобы мне перевели сюда некоторую сумму немедленно. Но деньги не прибыли. Вы сами знаете, что, необходимо для этой игры. Деньги, деньги и деньги. Почему же они не были посланы?

Де Лукко ответил, горячо жестикулируя:

— Деньги были посланы на пароходе «Кристобаль», но где «Кристобаль»? Я видел

его у мыса Антонио со сломанным валом. Какой-то катер тащил его за собой на буксире обратно в Новый Орлеан. Я взял деньги и привез их с собой, потому что знал, что ваши нужды не терпят отлагательства. В этом конверте тысяча долларов. Если вам нужно еще, можно достать еще.

— Покуда и этих достаточно, — сказал Дикки, заметно смягчаясь, потому что, разорвав конверт, он увидел довольно толстую пачку зеленых, гладких, грязноватых банкнот.

— Зелененькие! — сказал он нежно, и во взгляде его появилось благоговение. — Чего только на них не купишь, правда, капитан?

— В свое время, — ответил де Лукко, который был немного философом, — у меня было трое богатых друзей. Один из них спекулировал на акциях и нажил десять миллионов; второй уже на том свете, а третий женился на бедной девушке, которую любил.

— Значит, — сказал Дикки, — ответа надо искать у всевышнего, на Уолл-стрит и у Купидона. Так и будем знать.

— Скажите, пожалуйста, — спросил капитан, охватывая широким жестом всю обстановку, окружавшую Дикки, — находится ли все это в связи с делами вашей маленькой лавочки? Ваши планы не потерпели крушения?

— Нет, нет, — сказал Дикки. — Это просто маленькое частное дело, некоторый экскурс в сторону от моего основного занятия. Говорят, что для полноты своей жизни человек должен испытать бедность, любовь

и войну. Может быть, но не сразу, не в одно и то же время, *capitan mio*. Нет, я не потерпел неудачи в торговле. Дела в лавчонке идут хорошо.

Когда капитан ушел, Дикки позвал сержанта тюремной стражи и спросил:

— Какою властью я задержан? Военной или гражданской?

— Конечно, гражданской. Военное положение снято.

— Bueno! Пойдите же и пошлите кого-нибудь к алькаду, мировому судье и начальнику полиции. Скажите им, что я готов удовлетворить правосудие.

Сложенная зеленая бумажка скользнула в руку сержанта.

Тогда к Дикки вернулась его былая улыбка, ибо он знал, что часы его заточения сочтены; и он стал напевать в такт шагам своих часовых:

Нынче вешают и женщин и мужчин,  
Если нет у них зеленої бумажки.

Таким образом, в тот же вечер Дикки сидел у окна своей комнаты, на втором этаже над лавкой, а рядом с ним сидела «святая» и вышивала что-то шелковое, очень изящное. Дикки был задумчив и серьезен. Его рыжие волосы были в необыкновенном беспорядке. Пальцы Пасы так и тянулись поправить и погладить их, но Дикки никогда не позволял ей этого. Весь вечер он корпел над какими-то географическими картами, книгами, бумагами, покуда у него на лбу не появилась та вертикальная черточка, которая всегда беспокоила Пасу. Наконец она встала, ушла, принесла его

шляпу и долго стояла с шляпой, пока он не взглянул на нее вопросительным взглядом.

— Дома тебе невесело, — пояснила она. — Пойди и выпей *vino blanco*. Приходи назад, когда у тебя опять появится твоя прежняя улыбка.

Дикки засмеялся и отодвинул бумаги.

— Теперь мне не до *vino blanco*. Эта эпоха прошла. Вино сыграло свою роль, и довольно. Сказать правду, гораздо больше входило мне в уши, чем в рот. Едва ли кто догадывался об этом. Но сегодня не будет больше ни карт, ни морщин на лбу. Обещаю. Иди сюда.

Они сели у окна и стали смотреть, как отражаются в море дрожащие огоньки «Катарины».

Вдруг заструился негромкий смех Пасы. Она редко смеялась вслух.

— Я подумала, — сказала она, чувствуя, что Дикки не может понять ее смеха, — я подумала, как глупы бываем мы, девушки. Вот я поучилась в Штатах и чего только не воображала! Представь себе, я мечтала о том, чтобы сделаться женой президента. Женою президента — не меньше. Но вышла за рыжего жулика — и живу в нищете, в темноте.

— Не теряй надежды, — сказал Дикки, улыбаясь. — В Южной Америке было немало президентов из ирландского племени. В Чили был диктатор по имени О'Хиггинс. Почему Малони не может быть президентом Анчурии? Скажи только слово, *santita mia*, и я приложу все усилия, чтобы занять эту должность.

— Нет, нет, нет, ты, рыжий разбойник,—  
вздохнула Паса. — Я довольна (она положи-  
ла голову ему на плечо) и здесь.

XVI  
ROUGE ET NOIR

Мы уже упоминали о том, что с самого начала своего президентства Лосада сумел заслужить неприязнь народа. Это чувство продолжало расти. Во всей республике чувствовалось молчаливое, затаенное недовольство. Даже старая либеральная партия, которой так горячо помогали Гудвин, Савалья и другие патриоты, разочаровалась в своем ставленнике. Лосаде так и не удалось сделаться народным кумиром. Новые налоги и новые пошлины на ввозимые товары, а главное, потворство военным властям, которые притесняли гражданское население страны, сделали его одним из самых непопулярных правителей со времен презренного Альфорана. Большинство его собственного кабинета было в оппозиции к нему. Армия, перед которой он заискивал, которой он разрешал тиранить мирных жителей, была его единственной и до поры до времени достаточно прочной опорой.

Но самым опрометчивым поступком нового правительства была ссора с пароходной компанией «Везувий». У этой организации было двенадцать своих пароходов, а капитал ее выражался в сумме несколько большей, чем весь бюджет Анчурии — весь ее дебет и кредит.

Естественно, что такая солидная фирма, как компания «Везувий», не могла не разгневаться, когда вдруг какая-то ничтожная розничная республика вздумала выжимать из нее лишние деньги. Так что когда агенты правительства обратились к компании «Везувий» за субсидией, они встретили учтивый отказ. Президент сквитался с нею, наложив на нее новую пошлину: реал с каждого пучка бананов — вещь, невиданная во фруктовых республиках! Компания «Везувий» вложила большие капиталы в пристани и плантации Анчурии, служащие этой компании выстроили себе в городах, где им приходилось работать, прекрасные дома и до этого времени были в наилучших отношениях с республикой к несомненной выгоде обеих сторон. Если бы компания вынуждена была покинуть страну, она потерпела бы большие убытки. Продажная цена бананов — от Вэра-Крус до Тринидада — три реала за один пучок. Эта новая пошлина — один реал — должна была разорить всех садоводов Анчурии и причинила бы большие неудобства компании «Везувий», если бы компания отказалась платить. Все же по какой-то непонятной причине «Везувий» продолжал покупать анчурийские фрукты, платя лишний реал за пучок и не допуская, чтобы владельцы плантаций потерпели убытки.

Эта кажущаяся победа ввела его пре-  
восходительство в заблуждение, и он воз-  
жаждал новых триумфов. Он послал своего  
эмиссара для переговоров с представителем

компании «Везувий». «Везувий» направил для этой цели в Анчурию некоего мистера Франзони, маленького, толстенького, жизнерадостного человечка, всегда спокойного, вечно насыщающего арии из опер Верди. В интересах Анчурии был уполномочен действовать сеньор Эспирисион, чиновник министерства финансов. Свидание состоялось в каюте парохода «Спаситель».

Сеньор Эспирисион с первых же слов сообщил, что правительство намерено построить железную дорогу, соединяющую береговые районы страны. Указав, что благодаря этой железной дороге «Везувий» окажется в больших барышах, сеньор Эспирисион добавил, что, если «Везувий» даст правительству ссуду на постройку дороги, — скажем, пятьдесят тысяч pesos, — эта трата в скором времени окупится полностью.

Мистер Франзони утверждал, что никаких выгод от железной дороги для компании «Везувий» не будет. Как представитель компании, он считает невозможным выдать ссуду в пятьдесят тысяч pesos. Но он на свою ответственность осмелился бы предложить двадцать пять.

Двадцать пять тысяч pesos? — переспросил сеньор Эспирисион.

Нет. Просто двадцать пять pesos. И не золотом, а серебром.

— Своим предложением вы оскорбляете мое правительство! — воскликнул сеньор Эспирисион, с негодованием вставая с места.

— Тогда,— сказал мистер Франзони угрожающим тоном,— мы *переменим его*.

Предложение не подверглось никаким переменам. Неужели мистер Франзони говорил о перемене правительства?

Таково было положение вещей в Анчурии, когда, в конце второго года правления Лосады, в Коралио открылся зимний сезон. Так что, когда правительство и высшее общество совершили свой ежегодный въезд в этот приморский город, президента встретили без всяких чрезмерных восторгов. Приезд президента и веселящихся представителей высшего света был назначен на десятое ноября. От Солитаса на двадцать миль в глубь страны идет узкоколейная железная дорога. Обычно правительство следует в экипажах из Сан-Матео до конечного пункта этой дороги и дальше едет поездом в Солитас. Оттуда торжественная процессия тянется к Коралио, где в день ее прибытия устраиваются пышные, торжественные празднества. Но в этом году наступление десятого ноября предвещало мало хорошего.

Хотя время дождей уже кончилось, воздух был душный, как в июне. До самого полудня моросил мелкий, унылый дождик. Процессия въехала в Коралио среди странного, непонятного молчания.

Президент Лосада был пожилой человек с седеющей бородкой, его желтое лицо изобличало изрядную примесь индейской крови. Он ехал впереди всей процессии. Его карету окружала кавалькада телохранителей: знаменитая кавалерийская сотня капитана Круса — El Ciento Huilando. Сзади следовал

## полковник Рокас с батальоном регулярного войска.

Остренъкие, круглые глазки президента беспокойно бегали по сторонам: президент ожидал приветствий, но всюду он видел сумрачные, равнодушные лица. Жители Анчурии любят зрелица, это у них в крови. Они зеваки по профессии; поэтому все население, за исключением тяжелобольных, высыпало на улицу посмотреть на торжественный поезд. Но стояли, смотрели — и молчали. Молчали неприязненно. Заполнили всю улицу, до самых колес кареты, залезли на красные черепичные крыши, но хоть бы один крикнул *viva*. Ни венков из пальмовых листьев и лимонных веток, ни гирлянд из бумажных роз не свешивалось с окон и балконов, хотя этого требовал стародавний обычай. Апатия, уныние, молчаливый упрек чувствовались в каждом лице. Это было тем более тяжко, что нельзя было понять, в чем дело. Вспышки народного гнева президент не боялся: у этой недовольной толпы не было вождя. Ни Лосада, ни его верноподанные никогда не слыхали ни об одном таком имени, которое могло бы организовать глухое недовольство в оппозицию. Нет, никакой опасности не было. Толпа сначала обзаводится новым кумиром и лишь тогда свергает старый.

Майоры с алыми шарфами, полковники с золотым шитьем на мундирах, генералы в золотых эполетах — все это гарцевало и охорашивалось, а потом процессия повернула на Калье Гранде, построилась в новом порядке и направилась к летнему дворцу пре-

зидента, Casa Morena, где ежегодно происходила официальная встреча новоприбывшего хозяина страны.

Во главе процессии шел швейцарский оркестр. Затем comandante верхом, с отрядом войска. Затем карета с четырьмя министрами, среди которых особенно выделялся военный министр, старик, генерал Пилар, седоусый, с военной осанкой. Затем окруженная сотней капитана Круса карета президента, где находились также министр финансов и министр внутренних дел. А за ними остальные сановники, судьи, важные военные и другие украшения общества.

Едва заиграл оркестр и процессия тронулась, как в водах Коралио, словно какая-то зловещая птица, появился пароход «Валгалла», самое быстроходное судно компании «Везувий». Появился перед самыми глазами президента и всех его приближенных. Разумеется, в этом не было ничего угрожающего: промышленные фирмы не воюют с государствами, но и сеньор Эспирисон, и еще кое-кто из сидевших в колясках сейчас же подумали, что компания «Везувий» готовит им какой-то сюрприз.

Покуда процессия двигалась по направлению к дворцу, капитан «Валгаллы» и мистер Винченти, один из членов компании «Везувий», успели высадиться на берег. Весело, задорно, небрежно протискались они сквозь толпу. Это были крупные, упитанные люди, благодушные и в то же время властные; они были в белоснежных полотняных костюмах и, естественно, привлекали внимание среди темных и мало импозантных туземцев.

Они пробились сквозь толпу и встали на виду у всех в нескольких шагах от ступенек дворца. Глядя поверх голов, они заметили, что над низкорослой толпой возвышается еще одна голова: это была рыжая макушка Дикки Малони — яркое пятно на фоне белой стены неподалеку от нижней ступени. Широкая, чарующая улыбка, появившаяся у Дикки на лице, показала, что он заметил их появление.

Как и подобало в такой высокоторжественный день, Дикки был в черном, отлично сшитом костюме. Паса стояла тут же рядом. Голова ее была покрыта неизменной черной мантильей.

Мистер Винченти внимательно посмотрел на нее.

— Мадонна Боттичелли,— сказал он серьезно.— Хотел бы я знать, как она попала в это дело: мне, признаться, не нравится, что тут замешана женщина, лучше бы ему держаться от них подальше.

Капитан Кронин засмеялся так громко, что чуть было не отвлек внимание толпы от процессии.

— Это с какой-то шевелюрой держаться подальше от женщин! Да еще фамилия-то какая ирландская. А что, разве он женился без необходимых формальностей? Но оставим вздор, что вы думаете обо всем этом деле? Признаться, я мало смыслю в таких флибустьерских затеях.

Винченти снова посмотрел на огненную макушку Дикки.

— *Rouge et noir*, — сказал он, улыбаясь.— Это как в рулетке: красное и черное.

Делайте вашу игру, джентльмены! Наши деньги на красном.

— Малый он стоящий, — сказал капитан, одобрительно глядя на высокого, изящного Дикки.— Но все это вместе до странности напоминает мне любительский домашний спектакль.

Они перестали разговаривать, так как в это самое время генерал Пилар вышел из кареты и встал на верхней ступеньке дворца. Согласно обычаю, он, как старейший член кабинета, должен был произнести приветственную речь и вручить президенту ключи от его официальной, резиденции.

Генерал Пилар был один из самых уважаемых граждан республики. Герой трех войн, участник революции, почетный гость многих европейских дворов, друг народа, красноречивый оратор, он являл собою высший тип анчурийца.

Держа в руке позолоченные ключи дворца, он начал свою речь в ретроспективной, исторической форме. Он указал, как постепенно, от самых отдаленных времен, в стране воцарялись культура и свобода, росло народное благосостояние. Пересядя затем к правлению президента Лосады, он, согласно обычаю, должен был воздать горячую хвалу его мудрости и заявить о благоденствии его народа. Но вместо этого он замолчал. А потом, не говоря ни слова, поднял ключи высоко у себя над головой и стал внимательно рассматривать их. Лента, перевязывающая эти ключи, заметалась от налетевшего ветра.

— Он все еще дует, этот ветер! — воскликнул в экстазе оратор. — Граждане Анчурии, воздадим благодарность святителям: наш воздух, как и прежде, свободен!

Покончив таким образом с правлением Лосады, он неожиданно перешел к Оливарре, самому любимому из всех анчурийских правителей. Оливарра был убит девять лет тому назад, в полном расцвете сил, в разгаре полезной, плодотворной работы. По слухам, в этом преступлении была виновата либеральная партия, во главе которой стоял тогда Лосада. Верны были эти слухи или нет, несомненно одно, что вследствие этого убийства честолюбивый карьерист Лосада только через восемь лет добился верховной власти.

Красноречие Пилара полилось вольным потоком, чуть он подошел к этой теме. Любящей рукой нарисовал он образ благородного Оливарры. Он напомнил, как счастливо и мирно жилось народу в то время. Как бы для контраста, он воскресил в уме слушателей, какими оглушительными *vivas* встречали президента Оливарру в Коралио.

В этом месте речи впервые народ стал проявлять свои чувства. Тихий, глухой ропот прокатился по рядам, как волна по морскому прибрежью.

— Ставлю десять долларов против обеда в «Святом Карлосе», — сказал мистер Винченти, — что *красное* выиграет.

— Я никогда не держу пари против своих же интересов, — ответил капитан, зажигая сигару. — Красноречивый старичок, ничего не скажешь. О чем он говорит?

— Я понимаю по-испански,— отозвался Винченти,— если в одну минуту говорят десять слов. А здесь — не меньше двухсот. Что бы ни говорил, он здорово разжигает их.

— Друзья и братья,— говорил между тем генерал,— если бы сегодня я мог протянуть свою руку над горестным молчанием могилы Оливарре «Доброму», Оливарре, который был вашим другом, который плакал, когда вы страдали, и смеялся, когда вы веселились, если бы я мог протянуть ему руку, я привел бы его снова к вам, но Оливарра мертв — он пал от руки подлого убийцы!

Тут оратор повернулся к карете президента и смело посмотрел на Лосаду. Его рука все еще была поднята вверх. Президент вне себя, дрожа от изумления и ярости, слушал эту необычайную приветственную речь. Он откинулся назад, его темнокожие руки крепко сжимали подушки кареты.

Потом он встал, протянул одну руку к оратору и громко скомандовал что-то капитану Крусу, начальнику «Летучей сотни». Но тот продолжал неподвижно сидеть на коне, сложив на груди руки, словно и не слыхал ничего. Лосада снова откинулся на подушки кареты; его темные щеки заметно побледнели.

— Но кто сказал, что Оливарра мертв? — внезапно выкрикнул оратор, и, хотя он был старик, его голос зазвучал, как боевая труба.— Тело Оливарры в могиле, но свой дух он завещал народу, да, и свои знания, и свою доблесть, и свою доброту, и больше — свою молодость, свое лицо, свою фигуру...

Граждане Анчурии, разве вы забыли Рамона, сына Оливарры?

Капитан и Винченти, внимательно глядевшие все время на Дикки, вдруг увидали, что он снимает шляпу, срывает с головы красно-рыжие волосы, вскакивает на ступеньки и становится рядом с генералом Пиларом. Военный министр положил руку ему на плечо. Все, кто знал президента Оливарру, вновь увидали ту же львиную позу, то же смелое, прямое выражение лица, тот же высокий лоб с характерной линией черных, густых, курчавых волос.

Генерал Пилар был опытный оратор. Он воспользовался минутой безмолвия, которое обычно предшествует буре.

— Граждане Анчурии! — прогремел он, потрясая у себя над головой ключами от дворца. — Я пришел сюда, чтобы вручить эти ключи, ключи от ваших домов, от вашей свободы избранному вами президенту. Кому же передать эти ключи — убийце Энрико Оливарры или его сыну?

— Оливарра, Оливарра! — закричала и завыла толпа. Все выкрикивали это магическое имя, — мужчины, женщины, дети и попугаи.

Энтузиазм охватил не только толпу. Полковник Рокас взошел на ступени и театрально положил свою шпагу к ногам молодого Рамона Оливарры. Четыре ministra обняли его, один за другим. По команде капитана Круса, двадцать гвардейцев из «Летучей сотни» спешились и образовали кордон на ступенях летнего дворца.

Но тут Рамон Оливарра обнаружил, что

он действительно гениальный политик. Маниевением руки он удалил от себя стражу и сошел по ступеням к толпе. Там, внизу, нисколько не теряя достоинства, он стал обниматься с пролетариатом: с грязными, с босыми, с краснокожими, с карибами, с детьми, с нищими, со старыми, с молодыми, со святыми, с солдатами, с грешниками — всех обнял, не пропустил никого.

Пока на подмостках разыгрывалось это действие драмы, рабочие сцены тоже не сидели без дела. Солдаты Круса взяли под уздцы лошадей, впряженных в карету Лосады; остальные окружили карету тесным кольцом и усакали куда-то с диктатором и обоими непопулярными министрами. Очевидно, им заранее было приготовлено место. В Коралио есть много каменных зданий с хорошими, надежными решетками.

— Красное выиграло, — сказал мистер Винченти, спокойно закуривая еще одну сигару.

Капитан уже давно всматривался в то, что происходило внизу у каменных ступеней дворца.

— Славный мальчик! — сказал он внезапно, как будто с облегчением. — А я все думал: неужели он забудет свою милую?

Молодой Оливарра снова взошел на террасу дворца и сказал что-то генералу Пилару. Почтенный ветеран тотчас же спустился по ступеням и подошел к Пасе, которая, вне себя от изумления, стояла на том самом месте, где Дики оставил ее. Сняв шляпу с пером, сверкая орденами и лентами, генерал сказал ей несколько слов, подал руку

и повел вверх по каменным ступеням дворца. Рамон Оливарра сделал несколько шагов ей навстречу и на глазах у всех взял ее за обе руки.

И тут, когда ликование возобновилось с новой силой, Винченти и капитан повернулись и направились к берегу, где их ожидала гичка.

— Вот и еще один «presidente proclamado»<sup>1</sup>, — задумчиво сказал мистер Винченти. — Обычно они не так надежны, как те, которых избирают. Но в этом молодце и в самом деле как будто много хорошего. Всю эту военную кампанию и выдумал и провел он один. Вдова Оливарры, вы знаете, была женщина состоятельная. После того, как убили ее мужа, она уехала в Штаты и дала своему сыну образование в Иэльском университете. Компания «Везувий» разыскала его и оказала ему поддержку в этой маленькой игре.

— Как это хорошо в наше время, — сказал полуслуга капитан, — иметь возможность низвергать президентов и сажать на их место других по собственному своему выбору.

— О, это чистый бизнес, — заметил Винченти, остановившись и предлагая окурок сигары обезьяне, которая качалась на ветвях лимонного дерева. — Нынче бизнес управляет всем миром. Нужно же было какнибудь понизить цену бананов, уничтожить этот лишний реал. Мы и решили, что это будет самый быстрый способ.

<sup>1</sup> Президент, пришедший к власти без формальных выборов.

## XVII ДВЕ ОТСТАВКИ

Прежде чем опустить занавес над этой комедией, сшитой из пестрых лоскутьев, мы считаем своим долгом выполнить три обязательства. Два из них были обещаны; третье не менее важно.

В самом начале книги, в программе этого тропического водевиля, мы обещали поведать читателю, почему Коротыш О'Дэй, агент Колумбийского сыскного агентства, потерял свое место. Было также обещано, что загадочный Смит снова явится на сцену и расскажет, какую тайну он увидел в ту ночь, когда сидел на берегу, на песке под кокосовой пальмой, разбрасывая вокруг этого дерева столько сигарных окурков. Но, кроме того, мы обязаны совершить нечто большее — снять мнимую вину с человека, совершившего, если судить по приведенным выше (правдиво изложенным) фактам, серьезное преступление. И все эти три задачи выполнит голос одного человека.

Два субъекта сидели на одном из молов Северной реки<sup>1</sup> в Нью-Йорке. Пароход, только что прибывший из тропиков, стал выгружать на пристань апельсины и бананы. Порою от перезрелых грозьев отваливался банан, а порою и два, и тогда один из субъектов не спеша вставал с места, хватал добычу и делился с товарищем.

<sup>1</sup> Северная река — Гудзон в его нижнем течении.

Один из этих людей был в состоянии крайнего падения. Все, что могли сделать с его платьем солнце, ветер и дождь, было сделано. На лице у него было начертано чрезмерное пристрастие к выпивке. И все же на его пунцовом носу сверкало безупречное золотое пенсне.

Другой еще не успел так далеко зайти по наклонной Дороге Слабых. Правда, он тоже, по-видимому, знал лучшие времена. Но все же там, где он бродил, еще были тропинки, по которым он мог, без вмешательства чуда, снова выйти на путь полезного труда. Он был невысокого роста, но крепкий и крепкий. У него были мертвые рыбы глаза и усы, как у бармена, смешивающего за стойкой коктейли. Мы знаем этот глаз и этот ус: мы видим, что Смит, обладатель роскошной яхты, щеголявший таким пестрым костюмом, приезжавший в Коралио непонятно зачем и уехавший оттуда неизвестно куда,— этот самый Смит опять появился на сцене, хотя и лишенный аксессуаров былого величия.

Сунув себе в рот третий банан, человек в золотом пенсне внезапно выплюнул его с гримасой отвращения.

— Черт бы побрал все фрукты! — сказал он презрительным тоном патриция.— Два года я прожил в тех самых краях, где растет эта дрянь. Ее вкус навеки остается во рту. Апельсины лучше. Постарайтесь, О’Дэй, подобрать мне в следующий раз парочку апельсинов, если они выпадут из какой-нибудь дырявой корзинки.

— Так вы жили там, где мартышки? —

спросил О'Дэй, у которого немного развязался язык под влиянием солнца и благодатных плодов.— Я тоже там был как-то раз. Но недолго, несколько часов. Это когда я служил в Колумбийском сыскном агентстве. Тамошние мартышки и подгадили мне. Если б не они, я бы и сейчас был в сыскном. Я расскажу вам все дело.

В один прекрасный день получается у нас в конторе такая записка: «Пришлите сию минуту О'Дэя. Важное дело». Записка от самого шефа. Я в ту пору был один из самых шустрых агентов. Мне всегда поручали серьезные дела. Дом, откуда писал шеф, находился в районе Уолл-стрит.

Приехав на место, я нашел шефа в чьей-то частной конторе: его окружали большие дельцы, и у каждого была на лице неприятность. Они рассказали, в чем дело. Президент страхового общества «Республика» убежал неизвестно куда, захватив с собою сто тысяч долларов. Директоры общества очень желали, чтобы он воротился, но еще больше им хотелось воротить эти деньги, которые, по их словам, были им нужны до зарезу. Им удалось дозваться, что в этот же день, рано утром, стариk со всем семейством, состоящим из дочери и большого саквояжа, уехал на фруктовом пароходе в Южную Америку.

У одного из директоров была наготове яхта, и он предложил ее мне, *carte blanche*. Через четыре часа я уже мчался по горячим следам в погоне за фруктовым суденышком. Я сразу смекнул, куда улепетывает этот старый Уорфилд — такое у него было имя:

Дж. Черчилл Уорфилд. В то время у нас были договоры со всеми странами о выдаче преступников, со всеми, за исключением Бельгии и этой банановой республики, Анчурии. В Нью-Йорке не было ни одной фотографической карточки старого Уорфилда; он, лисица, был слишком хитер, не снимался, но у меня было подробное описание его наружности. И, кроме того, с ним была дама — это тоже недурная примета. Она была важная птица, из самого высшего общества, не из тех, чьи портреты печатают в воскресных газетах, а настоящая. Из тех, что открывают выставки хризантем и крестят броненосцы.

Представьте, сэр, нам так и не удалось догнать эту фруктовую лоханку. Океан велик,— вероятно, мы поехали разными рейсами, но мы всё держали курс на Анчурию, куда, по расписанию, направлялся и фруктовщик.

Через несколько дней, часа в четыре, мы подъехали к этой обезьяньей стране. Недалеко от берега стояло какое-то плюгавое судно, его грузили бананами. Мартышки подвозили к нему бананы на шлюпках. Может быть, это был тот пароход, на котором приехал мой старик, а может быть, и нет. Неизвестно. Я пошел на берег — порасспросить, поискать. Виды кругом — красота. Я таких не видел даже в нью-йоркских театрах. Вижу, стоит на берегу среди мартышек рослый, спокойный детина. Я к нему: где здесь консул? Он показал. Я пошел. Консул был молодой и приятный. Он сказал мне, что этот пароход — «Карлсефин», что обычный

его рейс — Новый Орлеан, но что сейчас он прибыл из Нью-Йорка. Тогда я решил, что мои беглецы тут и есть, хотя все говорили, что на «Карлсфине» не было никаких пассажиров. Я решил, что они прячутся и ждут темноты, чтобы высадиться на берег ночью. Я думал: может быть, их напугала моя яхта? Мне оставалось одно: ждать и захватить их врасплох, чуть они выйдут на берег. Я не мог арестовать старика Уорфилда, мне нужно было разрешение тамошних властей, но я надеялся выцарапать у него деньги. Они почти всегда отдают вам украденное, если вы нагрянете на них, когда они расшатаны, устали, когда у них развинчены нервы.

Чуть только стемнело, я сел под кокосовой пальмой на берегу, а потом встал и пошел побродить. Ну уж и город! Лучше остаться в Нью-Йорке и быть честным, чем жить в этом мартышкином городе, хотя бы и с миллионом долларов.

Глиняные гнусные мазанки; трава на улицах такая, что тонет башмак; женщины без рукавов, с голой шеей, ходят и курят сигары; лягушки сидят на деревьях и дребежжат, как телега с пожарной кишкой, горы сыплют песок, море смывает краску с домов. Нет, сэр, лучше человеку жить в стране господа бога<sup>1</sup> и кормиться у стойки с бесплатной закуской.

Главная улица тянулась вдоль берега, и я пошел по ней и повернул в переулок, где дома были из соломы и каких-то шестов. Мне захотелось посмотреть, что делают мар-

<sup>1</sup> Ироническое название Соединенных Штатов.

тышки у себя дома, в жилищах, когда они не шмыгают по кокосовым деревьям. И в первой же лачуге, куда я заглянул, я увидел моих беглецов. Должно быть, высадились на берег, покуда я шатался по городу. Мужчина лет пятидесяти, гладко выбритый, нависшие брови, черный плащ и такое лицо, будто он хочет сказать: «А ну-ка, маленькие мальчики, ответьте мне на этот вопрос», — как инспектор воскресной школы. Подле него саквояж, тяжелый, как десять золотых кирпичей; тут же на деревянном стуле сидит шикарная барышня — прямо персик, одетая, как с Пятой авеню. Какая-то старуха, чернокожая, угощает их бобами и кофе. На гвозде висит фонарь — вот и все освещение. Я вошел и стал в дверях. Они посмотрели на меня, и я сказал:

— Мистер Уорфилд, вы арестованы. Надеюсь, что, щадя свою даму, вы не станете сопротивляться и шуметь. Вы знаете, зачем вы мне нужны.

— Кто вы такой? — спрашивает старик.

— О’Дэй, — говорю я. — Сыщик Колумбийского агентства. И вот вам мой добрый совет: возвращайтесь в Нью-Йорк и примите то лекарство, которое вы заслужили. Отдайте людям краденое; может быть, они простят вам вину. Едем сию же минуту. Я замолвлю за вас словечко. Даю вам пять минут на размышление.

Я вынул часы и стал ждать.

Тут вмешалась эта молодая. Высшего полета девица! И по ее платью, и по всему остальному было ясно, что Пятая авеню создана для нее.

— Войдите! — сказала она. — Не стойте на пороге. Ваш костюм взбудоражит всю улицу. Объясните подробнее: чего вы хотите?

— Прошло три минуты, — сказал я. — Я объясню вам подробнее, покуда не прошли еще две. Вы признаете, что вы президент «Республики»?

— Да, — сказал он.

— Отлично, — говорю я. — Остальное понятно. Необходимо доставить в Нью-Йорк Дж. Черчилла Уорфилда, президента страхового общества «Республика», а также деньги, принадлежащие этому обществу и находящиеся в незаконном владении у вышеназванного Дж. Черчилла Уорфилда.

— О-о! — говорит молодая леди в задумчивости. — Вы хотите увезти нас обратно в Нью-Йорк?

— Не вас, а мистера Уорфилда. Вас никто ни в чем не обвиняет. Но, конечно, мисс, никто не мешает вам сопровождать вашего отца.

Тут девица взвизгивает и бросается старику на шею.

— О отец, отец, — кричит она этаким контратльтовым голосом. — Неужели это правда? Неужели ты похитил чужие деньги? Говори, отец.

Вас бы тоже кинуло в дрожь, если бы вы услыхали ее музыкальное трепетание.

Старик вначале казался совершенным болваном. Но она шептала ему на ухо, хлопала по плечу; он успокоился, хоть и вспотел.

Она отвела его в сторону, они поговорили минуту, а потом он надевает золотые очки и отдает мне саквояж.

— Господин сыщик, — говорит он. — Я согласен вернуться с вами. Я теперь и сам кончаю видеть (говорил он по-нашему ломано) что жизнь на этот гадкий и одинокий берег хуже, чем смерть. Я вернусь и отдам себя в руки общества «Республика». Может быть, оно меня простит. Вы привезли с собой грабль?

— Грабли? — говорю я — А зачем мне...

— Корабль! — поправила барышня. — Не смейтесь. Отец по рождению немец и неправильно говорит по-английски. Как вы прибыли сюда?

Барышня была очень расстроена. Держит платочек у лица и каждую минуту всхлипывает: «Отец, отец!» Потом подходит ко мне и кладет свою лилейную ручку на мой костюм, который, по первому разу, показался ей таким неприятным. Я, конечно, начинаю пахнуть, как две тысячи фиалок. Говорю вам: она была прелесть! Я сказал ей, что у меня частная яхта.

— Мистер О'Дэй, — говорит она, — уважите нас поскорее из этого ужасного края. Пожалуйста! Сию же минуту. Ну, скажите, что вы согласны.

— Попробую, — говорю я, скрывая от них, что я и сам тороплюсь поскорее спустить их на соленую воду, покуда они еще не передумали.

Они были согласны на все, но просили об одном: не вести их к лодке через весь город. Говорили, что они боятся огласки. Не хотели попасть в газеты. Отказались двинуться с места, покуда я не дал им

честного слова, что доставлю их на яхту, не говоря ни одному человеку из тамошних.

Матросы, которые привезли меня на берег, были в двух шагах, в кабачке играли на бильярде. Я сказал, что прикажу им отъехать на полмили в сторону и ждать нас там. Но кто доставит им мое приказание? Не мог же я оставить саквояж с арестованым, а также не мог взять его с собою — боялся, как бы меня не приметили эти мартишки.

Но барышня сказала, что черномазая старуха отнесет моим матросам записку. Я сел и написал эту записку, дал ее черномазой, объяснил, куда и как пойти, она трясет головой и улыбается, как павиан.

Тогда мистер Уорфилд заговорил с нею на каком-то заграничном жаргоне, она кивает головой и говорит «си, сеньор», может быть, тысячу раз и убегает с запиской.

— Старая Августа понимает только понемецки! — говорит мисс Уорфилд и улыбается мне. — Мы остановились у нее, чтобы спросить, где мы можем найти себе квартиру, и она предложила нам кофе. Она говорит, что воспитывалась в одном немецком семействе в Сан-Доминго.

— Очень может быть, — говорю я. — Но можете обыскать меня, и вы не найдете у меня немецких слов; я знаю только четыре: ферштей нихт и нох эйне<sup>1</sup>. Но мне казалось, что «си, сеньор» — это скорее пофранцузски.

<sup>1</sup> Не понимаю и еще одну (рюмку).

И вот мы трое двинулись по задворкам города, чтобы нас никто не увидел. Мы путались в терновнике и банановых кустах и вообще в тропическом пейзаже. Пригород в этом мартышкином городе — такое же дикое место, как Центральный парк в Нью-Йорке. Мы выбрались на берег за полмили от города. Какой-то темно-рыжий дрыхнул под кокосовым деревом, а возле него длинное ружье в десять футов. Мистер Уорфилд поднимает ружье и швыряет в море.

— На берегу часовые, — говорит он. — Бунты и заговоры зреют, как фрукты.

Он указал на спящего, который так и не шевельнулся.

— Вот, — сказал он, — как они выполняют свой долг. Дети!

Я видел, что подходит наша лодка, взял газету и зажег ее спичкой, чтобы показать матросам, где мы. Через полчаса мы были на яхте.

Первым долгом я, мистер Уорфилд и его дочь взяли саквояж в каюту владельца яхты, открыли его и сделали опись его содержимого. В саквояже было сто пятьдесят тысяч долларов и, кроме того, куча брильянтов и разных ювелирных вещичек, а также сотня гаванских сигар. Я вернул старику сигары, а насчет всего остального выдал ему расписку как агент сыскного бюро и запер все эти вещи у себя в особом помещении. Никогда я еще не путешествовал с таким удовольствием. Чуть мы выехали в море, дама повеселела и оказалась первоклассной певицей. В первый же день, как мы сели обедать и лакей налил

ей в бокал шампанского; — а эта яхта была прямо плавучей «Асторией», — она подмигивает мне и говорит:

— Не стоит нюнить, будем веселее! Дай бог вам скушать ту самую курицу, которая будет копошиться на вашей могиле.

На яхте было пианино, она села и начала играть, и пела лучше, чем в любом платном концерте, — она знала девять опер нас kvозь; лихая была барышня, самого высокого тона! Не из тех, о которых в велико-светской хронике пишут: «и другие». Нет, о таких печатают в первой строке и самыми крупными буквами.

Старик тоже, к моему удивлению, поднял повешенный нос. Однажды угощает он меня сигарой и говорит веселым голосом из тучи сигарного дыма:

— Мистер О’Дэй, я почему-то думай, что общество «Республика» не доставит мне многие хлопоты. Берегите чемодан, мистер О’Дэй, чтобы отдать его тем, кому он принадлежит, когда мы кончим приехать.

Приезжаем мы в Нью-Йорк. Я звоню по телефону к начальнику, чтобы он встретил нас в кабинете директора. Берем кэб, едем. На коленях у меня саквояж. Входим. Я с радостью вижу, что начальник созвал тех же денежных тузов, что и прежде. Розовые лица, белые жилеты. Я кладу саквояж на стол и говорю:

— Вот деньги.

— А где же арестованный? — спрашивает начальник.

Я указываю на мистера Уорфилда, он выходит вперед и говорит:

— Разрешите сказать вам слово одно секретно.

Они уходят вместе с начальником в другую комнату и сидят там десять минут. Когда они выходят назад, начальник черен, как тонна угля.

— Был ли у этого господина этот чемодан, когда вы в первый раз увидали его? — спрашивает он у меня.

— Был, — отвечаю я.

Начальник берет чемодан и отдает его арестанту с поклоном и говорит директорам:

— Знает ли кто-нибудь из вас этого джентльмена?

Все сразу закачали своими розовыми головами:

— Нет, не знаем.

— Позвольте мне представить вам, — продолжает начальник, — сеньора Мирафлореса, президента республики Анчурия. Сеньор великодушно согласился простить нам эту вопиющую ошибку, если мы защищим его доброе имя от всяких могущих возникнуть нападок и сплетен. С его стороны это большое одолжение, так как он вполне может потребовать удовлетворения по законам международного права. Я думаю, мы можем с благодарностью обещать ему полную тайну.

Розовые закивали головами.

— О'Дэй, — говорит мне начальник. — Вы не пригодны для частного агентства. На войне, где похищение государственных лиц — самое первое дело, вы были бы незаменимым человеком. Зайдите в контору завтра в одиннадцать.

Я понял, что это значит.

— Так что это обезьянский президент? — говорю я начальнику. — Почему же он не сказал мне этого?

— Так бы вы ему и поверили!

## XVIII ВИТАГРАФОСКОП

Программа мюзик-холла по сути своей фрагментарна и раздроблена. Публика не ждет эффектной развязки. Каждый номер достаточно плох сам по себе. Никому нет дела до того, сколько романов было у комической певицы, если она выдерживает свет прожекторов и может вытянуть две-три высоких ноты. Публика и бровью не поведет, если ученых собак бросят в пруд, как только они проскочат через последний обруч. Зрителям все равно, расшибся или нет велосипедист-эксцентрик, когда выкатился головой вперед со сцены при оглушительном звоне разбитой (бутафорской) посуды. Также не считают они, что купленный билет дает им право знать, питает ли виртуозка на банджо какие-нибудь чувства к ирландцу-куплетисту.

Поэтому не будем поднимать занавес над живой картиной — соединившиеся любовники на фоне наказанного порока и для контраста — целующиеся комики, горничная и лакей, введенные как подачка церберам с пятидесятицентовых мест.

Наша программа заканчивается несколькими короткими номерами, а потом расходитесь по домам, спектакль окончен. Те, кто

высидит до конца, найдут, если захотят, тоненькую нить, связывающую, хоть и очень непрочно, нашу повесть, понять которую может, пожалуй, один только Морж.

*Выдержки из письма от первого вице-президента нью-йоркского страхового общества «Республика» Франку Гудвину, в город Коралио, республика Анчурия.*

«Глубокоуважаемый мистер Гудвин!

Мы получили ваше сообщение от фирмы *Гаулэнд и Фурше* из Нового Орлеана, а также чек на 100 000 долларов, увезенных из нашей кассы покойным Дж. Черчиллом Уорфилдом, бывшим президентом нашего общества... Служащие и директоры единогласно поручили мне выразить вам свое глубокое уважение и принести вам искреннюю благодарность за то, что вы так быстро возвратили нам все утраченные нами деньги, меньше чем через две недели после их исчезновения... Позвольте заверить вас, что все это дело не получит ни малейшей огласки... Искренно сожалеем о самоубийстве мистера Уорфилда, но... Приносим вам горячие поздравления по поводу вашего бракосочетания с мисс Уорфилд... Ее чарующая внешность, привлекательные манеры... благородная женственная душа... завидное положение в лучшем столичном обществе...

— Сердечно вам преданный

*Люсайас И. Эплгэйт,*  
*первый вице-президент страхового общества*  
*«Республика».*

ВИТАГРАФОСКОП  
(Кинематограф)

ПОСЛЕДНЯЯ КОЛБАСА

Место действия — мастерская художника. Художник, молодой человек приятной наружности, сидит в печальной позе среди разбросанных этюдов и эскизов, подпиная голову рукою. На основном ящике в центре мастерской стоит керосинка. Художник встает, затягивает туже кушак и зажигает керосинку. Потом подходит к жестяной коробке для хлеба, наполовину скрытой ширмами, достает оттуда колбасу, переворачивает коробку вверх дном, чтобы показать, что она пустая, и кладет колбасу на сковородку, а сковородку ставит на керосинку. Керосинка гаснет; ясно: в ней нет керосина. Художник в отчаянии. Он хватает колбасу и, пылая внезапно нахлынувшим гневом, бешено швыряет ее в дверь. В эту самую минуту дверь открывается, и колбаса с силою бьет по носу входящего гостя. Видно, что он кричит и прыгает на месте, как будто танцуя. Вошедший — краснощекий, бойкий остроглазый человек, вернее всего — ирландец. Вот он уже смеется; потом пинком ноги он сбрасывает на пол керосинку, художник тщетно старается пожать ему руку, гость со всего размаха ударяет его по спине, после этого делает знаки, по которым всякий мало-мальски смышленый зритель поймет, что он заработал огромные деньги, обменяв в Кордильерах у краснокожих индейцев ножи, топоры

и бритвы на золотой песок. Он вытаскивает из кармана пачку денег величиной с изрядную ковригу хлеба и машет ею у себя над головой, в то же время делая жесты, как будто он пьет из стакана. Художник хватает шляпу, и оба покидают мастерскую.

#### ПИСЬМЕНА НА ПЕСКЕ

Место действия — пляж в Ницце. Женщина, красивая, еще молодая, прекрасно одетая, с приятной улыбкой, степенная, склонилась над водою и от нечего делать выводит концом шелкового зонтика какие-то буквы на прибрежном песке. В ее красивом лице что-то дерзкое; в ее ленивой позе вы чувствуете что-то хищное; вам кажется, что вот сейчас эта женщина прыгнет, или скользнет, или поползет, как пантера, которая по непонятной причине притаилась и замерла. Она лениво чертит по песку одно только слово: «Изабелла». В нескольких шагах от нее сидит мужчина. Вы видите, что хотя они уже не связаны дружбой, они все еще неразлучные спутники. Лицо у него темное, бритое, почти непроницаемое, но не совсем. Разговор у них kleится вяло. Мужчина тоже чертит на песке концом своей трости. И слово, которое он пишет, — «Анчурия». А потом он глядит туда, где Средиземное море сливаются с небом, и в глазах у него смертная тоска.

#### ПУСТЫНЯ И ТЫ

Место действия — окраина богатого имения, где-то в тропиках. Старый индеец — лицо точно из красного дерева —

ухаживает за травкой, растущей на могиле у болота. Потом встает и уходит в рощу, где уже сгостились короткие сумерки. На опушке рощи стоят рослый, хорошо сложенный мужчина с добрым, очень почтительным видом и женщина, безмятежно спокойная, с ясным лицом. Когда старый индеец подходит к ним, мужчина дает ему деньги. Хранитель могилы с той наивной гордостью, которая в крови у индейцев, получает свой заработок и удаляется. Мужчина и женщина стоят у опушки, потом поворачиваются и уходят по темнеющей тропинке рядом, рядом, так близко друг к другу, потому что в конце концов разве есть во всем мире что-нибудь лучше, чем маленький круг на экране кино и в нем двое, идущие рядом ?

*Занавес*

●  
**РАССКАЗЫ**  
●



## ДАРЫ ВОЛХВОВ

Один доллар восемьдесят семь центов. Это было все. Из них шестьдесят центов монетками по одному центу. За каждую из этих монеток пришлось торговаться с бакалейщиком, зеленищиком, мясником так, что даже уши горели от безмолвного неодобрения, которое вызывала подобная бережливость. Делла пересчитала три раза. Один доллар восемьдесят семь центов. А завтра Рождество.

Единственное, что тут можно было сделать, это хлопнуться на старенькую кушетку и зареветь. Именно так Делла и поступила. Откуда напрашивается философский вывод, что жизнь состоит из слез, вздохов и улыбок, причем вздохи преобладают.

Пока хозяйка дома проходит все эти стадии, оглядим самый дом. Меблированная квартирка за восемь долларов в неделю. В обстановке не то чтобы вопиющая нищета, но скорее красноречиво молчащая бедность. Внизу, на парадной двери, ящик для писем, в щель которого не протиснулось бы ни одно письмо, и кнопка электрического звонка, из которой ни одному смертному не удалось бы выдавить ни звука. К сему присовокуплялась карточка с надписью «М-р Джеймс Диллингем Юнг». «Диллингем» разверну-

лось во всю длину в недавний период благосостояния, когда обладатель указанного имени получал тридцать долларов в неделю. Теперь, после того как этот доход понизился до двадцати долларов, буквы в слове «Диллингем» потускнели, словно не на шутку задумавшись: а не сократиться ли им в скромное и непрятательное «Д»? Но когда мистер Джеймс Диллингем Юнг приходил домой и поднимался к себе на верхний этаж, его неизменно встречал возглас: «Джим!» — и нежные объятия миссис Джеймс Диллингем Юнг, уже представленной вам под именем Деллы. А это, право же, очень мило.

Делла кончила плакать и прошлась пуховкой по щекам. Она теперь стояла у окна и уныло глядела на серую кошку, прогуливавшуюся по серому забору вдоль серого двора. Завтра Рождество, а у нее только один доллар восемьдесят семь центов на подарок Джиму! Долгие месяцы она выгадывала буквально каждый цент, и вот все, чего она достигла. На двадцать долларов в неделю далеко не уедешь. Расходы оказались больше, чем она рассчитывала. С расходами всегда так бывает. Только доллар восемьдесят семь центов на подарок Джиму! Ее Джиму! Сколько радостных часов она провела, придумывая, что бы такое ему подарить к Рождеству. Что-нибудь совсем особенное, редкостное, драгоценное, что-нибудь, хоть чуть-чуть достойное высокой чести принадлежать Джиму.

В простенке между окнами стояло трюмо. Вам никогда не приходилось смотреться в

трямо восьмидолларовой меблированной квартиры? Очень худой и очень подвижной человек может, наблюдая последовательную смену отражений в его узких створках, составить себе довольно точное представление о собственной внешности. Делле, которая была хрупкого сложения, удалось овладеть этим искусством.

Она вдруг отскочила от окна и бросилась к зеркалу. Глаза ее сверкали, но с лица за двадцать секунд сбежали краски. Быстрым движением она вытащила шпильки и распустила волосы.

Надо вам сказать, что у четы Джеймс Диллингем Юнг было два сокровища, составлявших предмет их гордости. Одно — золотые часы Джима, принадлежавшие его отцу и деду, другое — волосы Деллы. Если бы царица Савская проживала в доме напротив, Делла, помыв голову, непременно просушивала бы у окна распущенные волосы — специально для того, чтобы заставить померкнуть все наряды и украшения ее величества. Если бы царь Соломон служил в том же доме швейцаром и хранил в подвале все свои богатства. Джим, проходя мимо, всякий раз доставал бы часы из кармана — специально для того, чтобы увидеть, как он рвет на себе бороду от зависти.

И вот прекрасные волосы Деллы рассыпались, блестя и переливаясь, точно струи каштанового водопада. Они спускались ниже колен и плащом окутывали почти всю ее фигуру. Но она тотчас же, нервничая и торопясь, принялась снова подбирать их.

Потом, словно заколебавшись, с минуту стояла неподвижно, и две или три слезинки упали на ветхий красный ковер.

Старенький коричневый жакет на плечи, старенькую коричневую шляпку на голову — и, взметнув юбками, сверкнув невысохшими блестками в глазах, она уже мчалась вниз, на улицу.

Вывеска, у которой она остановилась, гласила: «*M-me Sophronie. Всевозможные изделия из волос*». Делла взбежала на второй этаж и остановилась, с трудом переводя дух.

— Не купите ли вы мои волосы? — спросила она у мадам.

— Я покупаю волосы, — ответила мадам. — Снимите шляпку, надо посмотреть товар.

Снова заструился каштановый водопад.

— Двадцать долларов, — сказала мадам, привычно взвешивая на руке густую массу.

— Давайте скорее, — сказала Делла.

Следующие два часа пролетели на розовых крыльях — прошу прощения за избитую метафору. Делла рыскала по магазинам в поисках подарка для Джима.

Наконец она нашла. Без сомнения, это было создано для Джима, и только для него. Ничего подобного не нашлось в других магазинах, а уж она все в них перевернула вверх дном. Это была платиновая цепочка для карманных часов, простого и строгого рисунка, пленявшая истинными своими качествами, а не показным блеском, — такими и должны быть все хорошие вещи. Ее, пожалуй, даже можно было признать достой-

ной часов. Как только Делла увидела ее, она поняла, что цепочка должна принадлежать Джиму. Она была такая же, как сам Джим. Скромность и достоинство — эти качества отличали обоих. Двадцать один доллар пришлось уплатить в кассу, и Делла поспешила домой с восемьдесятю семью центами в кармане. При такой цепочке Джиму в любом обществе не зазорно будет поинтересоваться, который час. Как ни великолепны были его часы, а смотрел он на них часто украдкой, потому что они висели на дрянном кожаном ремешке.

Дома оживление Деллы поулеглось и уступило место предусмотрительности и расчету. Она достала щипцы для завивки, зажгла газ и принялась исправлять разрушения, причиненные великодушием в сочетании с любовью. А это всегда тягчайший труд, друзья мои, исполинский труд.

Не прошло и сорока минут, как ее голова покрылась крутыми мелкими локончиками, которые сделали ее удивительно похожей на мальчишку, удравшего с уроков. Она посмотрела на себя в зеркало долгим, внимательным и критическим взглядом.

«Ну, — сказала она себе, — если Джим не убьет меня сразу, как только взглянет, он решит, что я похожа на хористку с Кони-Айленда. Но что же мне было делать, ах, что же мне было делать, раз у меня был только доллар и восемьдесят семь центов!»

В семь часов кофе был сварен, и раскаленная сковорода стояла на газовой плите, дожидаясь бараных котлеток.

Джим никогда не запаздывал. Делла зажала платиновую цепочку в руке и усилась на краешек стола поближе к входной двери. Вскоре она услышала его шаги внизу на лестнице и на мгновение побледнела. У нее была привычка обращаться к богу с коротенькими молитвами по поводу всяких житейских мелочей, и она торопливо зашептала:

— Господи, сделай так, чтобы я ему не разонравилась!

Дверь отворилась, Джим вошел и закрыл ее за собой. У него было худое, озабоченное лицо. Нелегкое дело в двадцать два года быть обремененным семьей! Ему уже давно нужно было новое пальто, и руки мерзли без перчаток.

Джим неподвижно замер у дверей, точно сеттер, учувший перепела. Его глаза остановились на Делле с выражением, которого она не могла понять, и ей стало страшно. Это не был ни гнев, ни удивление, ни упрек, ни ужас — ни одного из тех чувств, которых можно было бы ожидать. Он просто смотрел на нее, не отрывая взгляда, и лицо его не меняло своего странного выражения.

Делла соскочила со стола и бросилась к нему.

— Джим, милый, — закричала она, — не смотри на меня так! Я остригла волосы и продала их, потому что я не пережила бы, если б мне нечего было подарить тебе к Рождеству. Они опять отрастут. Ты ведь не сердишься, правда? Я не могла иначе. У меня очень быстро растут волосы. Ну, поздравь меня с Рождеством, Джим, и да-

вай радоваться празднику. Если б ты знал, какой я тебе подарок приготовила, какой замечательный, чудесный подарок!

— Ты остирила волосы? — спросил Джим с напряжением, как будто, несмотря на усиленную работу мозга, он все еще не мог осознать этот факт.

— Да, остирила и продала, — сказала Делла. — Но ведь ты меня все равно будешь любить? Я ведь все та же, хоть и с короткими волосами.

Джим недоуменно оглядел комнату.

— Так, значит, твоих кос уже нет? — спросил он с бессмысленной настойчивостью.

— Не ищи, ты их не найдешь, — сказала Делла. — Я же тебе говорю: я их продала — остирила и продала. Сегодня сочельник, Джим. Будь со мной поласковее, потому что я это сделала для тебя. Может быть, волосы на моей голове и можно пересчитать, — продолжала она, и ее нежный голос вдруг зазвучал серьезно. — но никто, никто не мог бы измерить мою любовь к тебе! Жарить котлеты, Джим?

И Джим вышел из оцепенения. Он заключил свою Деллу в объятия. Будем скромны и на несколько секунд займемся рассмотрением какого-нибудь постороннего предмета. Что больше — восемь долларов в неделю или миллион в год? Математик или мудрец дадут вам неправильный ответ. Волхвы принесли драгоценные дары, но среди них не было одного. Впрочем, эти туманные намеки будут разъяснены далее.

Джим достал из кармана пальто сверток и бросил его на стол.

— Не пойми меня ложно, Делл, —  
сказал он. — Никакая прическа и стрижка  
не могут заставить меня разлюбить мою  
девочку. Но разверни этот сверток, и тогда  
ты поймешь, почему я в первую минуту  
немножко оторопел.

Белые проворные пальчики рванули  
бечевку и бумагу. Последовал крик вос-  
торга, тотчас же — увы! — чисто по-женски  
сменившийся потоком слез и стонов, так  
что потребовалось немедленно применить  
все успокоительные средства, имевшиеся  
в распоряжении хозяина дома.

Ибо на столе лежали гребни, тот самый  
набор гребней — один задний и два боко-  
вых, — которым Делла давно уже благо-  
вейно любовалась в одной витрине Бродвея.  
Чудесные гребни, настоящие черепаховые,  
с вделанными в края блестящими камеш-  
ками, и как раз под цвет ее каштановых  
волос. Они стоили дорого — Делла знала  
это, — и сердце ее долго изнывало и томи-  
лось от несбыточного желания обладать ими.  
И вот теперь они принадлежали ей, но нет  
уже прекрасных кос, которые украсил бы  
их вожделенный блеск.

Все же она прижала гребни к груди и,  
когда, наконец, нашла в себе силы поднять  
голову и улыбнуться сквозь слезы, сказала:

— У меня очень быстро растут волосы,  
Джим!

Тут она вдруг подскочила, как ошпарен-  
ный котенок, и воскликнула:

— Ах, боже мой!

Ведь Джим еще не видел ее замечатель-  
ного подарка. Она поспешило протянула ему

цепочку на раскрытой ладони. Матовый драгоценный металл, казалось, заиграл в лучах ее бурной и искренней радости.

— Разве не прелесть, Джим? Я весь город обегала, покуда нашла это. Теперь можешь хоть сто раз в день смотреть, который час. Дай-ка мне часы. Я хочу посмотреть, как это будет выглядеть все вместе.

Но Джим, вместо того чтобы послушаться, лег на кушетку, подложил обе руки под голову и улыбнулся.

— Делл, — сказал он, — придется нам пока спрятать наши подарки, пусть полежат немножко. Они для нас сейчас слишком хороши. Часы я продал, чтобы купить тебе гребни. А теперь, пожалуй, самое время жарить котлеты.

Волхвы, те, что принесли дары младенцу в яслях, были, как известно, мудрые, удивительно мудрые люди. Они-то и завели моду делать рождественские подарки. И так как они были мудры, то и дары их были мудры, может быть, даже с оговоренным правом обмена в случае непригодности. А я тут рассказал вам ничем не примечательную историю про двух глупых детей из восьмидолларовой квартирки, которые самым немудрым образом пожертвовали друг для друга своими величайшими сокровищами. Но да будет сказано в назидание мудрецам наших дней, что из всех дарителей эти двое были мудрейшими. Из всех, кто подносит и принимает дары, истинно мудры лишь подобные им. Везде и всюду. Они и есть волхвы.

## ФАРАОН И ХОРАЛ

Сопи заерзал на своей скамейке в Мэдисон-сквере. Когда стаи диких гусей тянутся по ночам высоко в небе, когда женщины, не имеющие котиковых манто, становятся ласковыми к своим мужьям, когда Сопи начинает ерзать на своей скамейке в парке, это значит, что зима на носу.

Желтый лист упал на колени Сопи. То была визитная карточка Деда Мороза; этот старик добр к постоянным обитателям Мэдисон-сквера и честно предупреждает их о своем близком приходе. На перекрестке четырех улиц он вручает свои карточки Северному ветру, швейцару гостиницы «Под открытым небом», чтобы постояльцы ее приготовились.

Сопи понял, что для него настал час учредить в собственном лице комитет для изыскания средств и путей к защите своей особы от надвигавшегося холода. Поэтому он заерзал на своей скамейке.

Зимние планы Сопи не были особенно честолюбивы. Он не мечтал ни о небе юга, ни о поездке на яхте по Средиземному морю со стоянкой в Неаполитанском заливе. Трех месяцев заключения на Острове — вот чего жаждала его душа. Три месяца верного крова и обеспеченной еды, в приятной компании, вдали от посягательств Борея и фараонов — для Сопи это был поистине предел желаний.

Уже несколько лет гостеприимная тюрьма на Острове служила ему зимней квартирой. Как его более счастливые сограждане покупали себе билеты во Флориду или на Ривьеру, так и Сопи делал несложные приготовления к ежегодному паломничеству на Остров. И теперь время для этого наступило.

Прошлой ночью три воскресных газеты, которые он умело распределил — одну под пиджак, другой обернул ноги, третьей закутал колени, — не защитили его от холода: он провел на своей скамейке у фонтана очень беспокойную ночь, так что Остров рисовался ему желанным и вполне своевременным приютом. Сопи презирал заботы, расточаемые городской бедноте во имя милосердия. По его мнению, закон был милостивее, чем филантропия. В городе имелась тьма общественных и частных благотворительных заведений, где он мог бы получить кров и пищу, соответствовавшие его скромным запросам. Но для гордого духа Сопи дары благотворительности были тягостны. За всякое благодеяние, полученное из рук филантропов, надо было платить если не деньгами, то унижением. Как у Цезаря был Брут, так и здесь каждая благотворительная койка была сопряжена с обязательной ванной, а каждый ломть хлеба отправлен бесцеремонным залезанием в душу. Не лучше ли быть постояльцем тюрьмы? Там, конечно, все делается по строго установленным правилам, но зато никто не суется в личные дела джентльмена.

Решив, таким образом, отбыть на зимний

сезон на Остров, Сопи немедленно приступил к осуществлению своего плана. В тюрьму вело много легких путей. Самая приятная дорога туда пролегала через ресторан. Вы заказываете себе в хорошем ресторане роскошный обед, наедаетесь до отвала и затем объявляете себя неплатежеспособным. Вас без всякого скандала передают в руки полисмена. Сговорчивый судья довершает добroе дело.

Сопи встал и, выйдя из парка, пошел по асфальтовому морю, которое образует слияние Бродвея и Пятой авеню. Здесь он остановился у залитого огнями кафе, где по вечерам сосредоточивается все лучшее, что может дать виноградная лоза, шелковичный червь и протоплазма.

Сопи верил в себя — от нижней пуговицы жилета и выше. Он был чисто выбрит, пиджак на нем был приличный, а красивый черный галстук бабочкой ему подарила в День Благодарения<sup>1</sup> дама-миссионерша. Если бы ему удалось незаметно добраться до столика, успех был бы обеспечен. Та часть его существа, которая будет возвышаться над столом, не вызовет у официанта никаких подозрений. Жареная утка, думал Сопи, и к ней бутылка шабли. Затем сыр, чашечка черного кофе и сигара. Сигара за доллар будет в самый раз. Счет будет не так велик, чтобы побудить администрацию кафе к особо жестоким актам мщения, а

<sup>1</sup> День Благодарения (последний четверг ноября) — американский праздник, введенный ранними колонистами Новой Англии в ознаменование первого урожая, собранного в Новом Свете.

он, закусив таким манером, с приятностью начнет путешествие в свое зимнее убежище.

Но как только Сопи переступил порог ресторана, наметанный глаз метрдотеля сразу же приметил его потертые штаны и стоптанные ботинки. Сильные, ловкие руки быстро повернули его и бесшумно выставили на тротуар, избавив, таким образом, утку от уготованной ей печальной судьбы.

Сопи свернул с Бродвея. По-видимому, его путь на Остров не будет усеян розами. Что делать! Надо придумать другой способ проникнуть в рай.

На углу Шестой авеню внимание прохожих привлекали яркие огни витрины с искусно разложенными товарами. Сопи схватил булыжник и бросил его в стекло. Из-за угла начал сбегаться народ, впереди всех мчался полисмен. Сопи стоял, заложив руки в карманы, и улыбался навстречу блестящим медным пуговицам.

— Кто это сделал? — живо осведомился полисмен.

— А вы не думаете, что тут замешан я? — спросил Сопи не без сарказма, но дружелюбно, как человек, приветствующий великую удачу.

Полисмен не пожелал принять Сопи даже как гипотезу. Люди, разбивающие камнями витрины магазинов, не ведут переговоров с представителями закона. Они берут ноги в руки. Полисмен увидел за полквартала человека, бежавшего вдогонку за трамваем. Он поднял свою дубину

ку и помчался за ним. Сопи с омерзением в душе побрел дальше... Вторая неудача.

На противоположной стороне улицы находился ресторан без особых претензий. Он был рассчитан на большие аппетиты и тощие кошельки. Посуда и воздух в нем были тяжелые, скатерти и супы — жиденькие. В этот храм желудка Сопи беспрепятственно провел свои предосудительные сапоги и красноречивые брюки. Он сел за столик и поглотил бифштекс, порцию оладий, несколько пончиков и кусок пирога. А затем поведал ресторанному слуге, что он, Сопи, и самая мелкая никелевая монета не имеют между собой ничего общего.

— Ну а теперь, — сказал Сопи, — живее! Позовите фараона. Будьте любезны, пошевеливайтесь: не заставляйте джентльмена ждать.

— Обойдешься без фараонов! — сказал официант голосом мягким, как сдобная булочка, и весело сверкнул глазами, похожими на вишеники в коктейле. — Эй, Кон, подсоби!

Два официанта аккуратно уложили Сопи левым ухом на бесчувственный тротуар. Он поднялся, сустав за суставом, как складная плотничья линейка, и счистил пыль с платья. Арест стал казаться ему радужной мечтой, Остров — далеким миражем. Полисмен, стоявший за два дома, у аптеки, засмеялся и пошел дальше.

Пять кварталов миновал Сопи, прежде чем набрался мужества, чтобы снова попытать счастья. На сей раз ему представился случай прямо-таки великолепный. Молодая женщина, скромно и мило одетая, стояла

перед окном магазина и с живым интересом рассматривала тазики для бритья и чернильницы, а в двух шагах от нее, опершись о пожарный кран, красовался здоровенный, сурового вида полисмен.

Сопи решил сыграть роль презренного и всеми ненавидимого уличного ловеласа. Приличная внешность намеченной жертвы и близость внушительного фараона давали ему твердое основание надеяться, что скоро он ощутит увесистую руку полиции на своем плече и зима на уютном островке будет ему обеспечена.

Сопи поправил галстук — подарок дамы-миссионерши, вытащил на свет божий свои непослушные манжеты, лихо сдвинул шляпу набекрень и направился прямо к молодой женщине. Он игриво подмигнул ей, крякнул, улыбнулся, откашлялся, словом — нагло пустил в ход все классические приемы уличного приставалы. Уголком глаза Сопи видел, что полисмен пристально наблюдает за ним. Молодая женщина отошла на несколько шагов и опять предалась созерцанию тазиков для бритья. Сопи пошел за ней следом, нахально стал рядом с ней, приподнял шляпу и сказал:

— Ах, какая вы милашечка ! Прогуляемся ?

Полисмен продолжал наблюдать. Стоило оскорблённой молодой особе поднять нальчик, и Сопи был бы уже на пути к тихой пристани. Ему уже казалось, что он ощущает тепло и уют полицейского участка. Молодая женщина повернулась к Сопи и, протянув руку, схватила его за рукав.

— С удовольствием, Майк! — сказала она весело. — Пивком угостишь? Я бы и раньше с тобой заговорила, да фараон подсматривает.

Молодая женщина обвилась вокруг Сопи, как плющ вокруг дуба, и под руку с ней он мрачно проследовал мимо блюстителя порядка. Положительно, Сопи был осужден наслаждаться свободой.

На ближайшей улице он стряхнул свою спутницу и пустился наутек. Он остановился в квартале, залитом огнями реклам, в квартале, где одинаково легки сердца, победы и музыка. Женщины в мехах и мужчины в теплых пальто весело переговаривались на холодном ветру. Внезапный страх охватил Сопи. Может, какие-то злые чары сделали его неуязвимым для полиции? Он чуть было не впал в панику и, дойдя до полисмена, величественно стоявшего перед освещенным подъездом театра, решил ухватиться за соломинку «хулиганства в публичном месте».

Во всю мочь своего охрипшего голоса Сопи заорал какую-то пьяную песню. Он пустился в пляс на тротуаре, вопил, кривлялся — всяческими способами возмущал спокойствие.

Полисмен покрутил свою дубинку, повернулся к скандалисту спиной и заметил прохожему:

— Это йельский студент. Они сегодня празднуют свою победу над футбольной командой Хартфордского колледжа. Шумят, конечно, но это не опасно. Нам дали инструкцию не трогать их.

Безутешный Сопи прекратил свой ник-

чесный фейерверк. Неужели ни один полисмен так и не схватит его за шиворот? Тюрьма на Острове стала казаться ему недоступной Аркадией. Он плотнее застегнул свой легкий пиджачок: ветер пронизывал его насквозь.

В табачной лавке он увидел господина, закурившего сигару от газового рожка. Свой шелковый зонтик он оставил у входа. Сопи перешагнул порог, схватил зонтик и медленно двинулся прочь. Человек с сигарой быстро последовал за ним.

— Это мой зонтик, — сказал он строго.

— Неужели? — нагло ухмыльнулся Сопи, прибавив к мелкой краже оскорбление. — Почему же вы не позовете полисмена? Да, я взял ваш зонтик. Так позовите фараона! Вот он стоит на углу.

Хозяин зонтика замедлил шаг. Сопи тоже. Он уже предчувствовал, что судьба опять сыграет с ним скверную шутку. Полисмен смотрел на них с любопытством.

— Разумеется, — сказал человек с сигарой, — конечно... вы... словом, бывают такие ошибки... я... если это ваш зонтик... надеюсь, вы извините меня... я захватил его сегодня утром в ресторане... если вы признали его за свой... что же... я надеюсь, вы...

— Конечно, это мой зонтик, — сердито сказал Сопи.

Бывший владелец зонтика отступил. А полисмен бросился на помощь высокой блондинке в пышном манто: нужно было перевести ее через улицу, потому что за два квартала показался трамвай.

Сопи свернул на восток по улице, изу-

родованной ремонтом. Он со злобой швырнул зонтик в яму, осыпая проклятиями людей в шлемах и с дубинками. Он так хотел попасться к ним в лапы, а они смотрят на него, как на непогрешимого папу Римского.

Наконец Сопи добрался до одной из отдаленных авеню, куда суета и шум почти не долетали, и взял курс на Мэдисон-сквер. Ибо инстинкт, влекущий человека к родному дому, не умирает даже тогда, когда этим домом является скамейка в парке.

Но на одном особенно тихом углу Сопи вдруг остановился. Здесь стояла старая церковь с остроконечной крышей. Сквозь фиолетовые стекла одного из ее окон струился мягкий свет. Очевидно, органист остался у своего инструмента, чтобы проиграть воскресный хорал, ибо до ушей Сопи донеслись сладкие звуки музыки, и он застыл, прижавшись к завиткам чугунной решетки.

Взошла луна, безмятежная, светлая; экипажей и прохожих было немного; под карнизами сонно чирикали воробы — можно было подумать, что вы на сельском кладбище. И хорал, который играл органист, приковал Сопи к чугунной решетке, потому что он много раз слышал его раньше — в те дни, когда в его жизни были такие вещи, как матери, розы, смелые планы, друзья, и чистые мысли, и чистые воротнички.

Под влиянием музыки, лившейся из старой церкви, в душе Сопи произошла внезапная и чудесная перемена. Он с ужасом увидел бездну, в которую упал, увидел позорные дни, недостойные желания, умершие надежды, загубленные способности и

низменные побуждения, из которых слагалась его жизнь.

И сердце его забилось в унисон с этим новым настроением. Он внезапно ощутил в себе силы для борьбы со злодейкой-судьбой. Он выкарабкается из грязи, он опять станет человеком, он победит зло, которое сделало его своим пленником. Время еще не ушло, он сравнительно молод. Он воскресит в себе прежние честолюбивые мечты и энергично возьмется за их осуществление. Торжественные, но сладостные звуки органа произвели в нем переворот. Завтра утром он отправится в деловую часть города и найдет себе работу. Один меховщик предлагал ему как-то место возчика. Он завтра же разыщет его и попросит у него эту службу. Он хочет быть человеком. Он...

Сопи почувствовал, как чья-то рука опустилась на его плечо. Он быстро оглянулся и увидел перед собой широкое лицо полисмена.

— Что вы тут делаете? — спросил полисмен.

— Ничего, — ответил Сопи.

— Тогда пойдем, — сказал полисмен.

— На Остров, три месяца, — постановил на следующее утро судья.

## НЕОКОНЧЕННЫЙ РАССКАЗ

Мы теперь не стонем и не посыпаем главу пеплом при упоминании о геенне огненной. Ведь даже проповедники начинают внушать нам, что бог — это радий, эфир или какая-то смесь с научным названием и что самое худшее, чему мы, грешные, можем подвергнуться на том свете, — это некая химическая реакция. Такая гипотеза приятна, но в нас еще осталось кое-что и от старого религиозного страха.

Существуют только две темы, на которые можно говорить, дав волю своей фантазии и не боясь опровержений. Вы можете рассказывать о том, что видели во сне, и передавать то, что слышали от попугая. Ни Морфея, ни попугая суд не допустил бы к даче свидетельских показаний, а слушатели не рискнут придраться к вашему рассказу. Итак, сюжетом моего рассказа будет сновидение, за что приношу свои искренние извинения попугаям, кругозор которых уж очень ограничен.

Я видел сон, столь далекий от скептических настроений наших дней, что в нем фигурировала старинная, почтенная, безвременно погибшая теория страшного суда.

Гавриил протрубил в трубу, и те из нас, кто не сразу откликнулся на его призыв, были притянуты к допросу. В стороне я заметил группу профессиональных поручителей в черных одеяниях с воротничками, застегивающимися сзади;<sup>1</sup> но, по-видимому,

<sup>1</sup> Одежда протестантских священников.

что-то с их имущественным цензом оказалось неладно, и непохоже было, чтобы нас выдали им на поруки.

Крылатый ангел-полисмен подлетел ко мне и взял меня за левое крыло. Совсем близко стояло несколько очень состоятельного вида духов, вызванных в суд.

— Вы из этой шайки? — спросил меня полисмен.

— А кто они? — ответил я вопросом.

— Ну, как же, — сказал он, — это люди, которые...

Но все это не относится к делу и только занимает место, предназначенное для рассказа.

Дэлси служила в универсальном магазине. Она продавала ленты, а может быть, фаршированный перец, или автомобили, или еще какие-нибудь безделушки, которыми торгуют в универсальных магазинах. Из своего заработка она получала на руки шесть долларов в неделю. Остальное записывалось ей в кредит и кому-то в дебет в главной книге, которую ведет господь бог... то есть, виноват, ваше преподобие, Первая Энергия, так, кажется? Ну, значит в главной книге Первой Энергии.

Весь первый год, что Дэлси работала в магазине, ей платили пять долларов в неделю. Поучительно было бы узнать, как она жила на эту сумму. Вам это не интересно? Очень хорошо, вас, вероятно, интересуют более крупные суммы. Шесть долларов более крупная сумма. Я расскажу вам, как она жила на шесть долларов в неделю.

Однажды, в шесть часов вечера, при-

кальвай шляпку так, что булавка прошла в одной восьмой дюйма от мозжечка, Дэлси сказала своей сослуживице Сэди — той, что всегда поворачивается к покупателю левым профилем:

— Знаешь, Сэди, я сегодня сговорилась пойти обедать со Свинкой.

— Не может быть! — воскликнула Сэди с восхищением. — Вот счастливица-то! Свинка страшно шикарный, он всегда водит девушек в самые шикарные места. Один раз он водил Бланш к Гофману, а там всегда такая шикарная музыка и пропасть шикарной публики. Ты шикарно проведешь время, Дэлси.

Дэлси спешила домой. Глаза ее блестели. На щеках горел румянец, возвещавший близкий расцвет жизни, настоящей жизни. Была пятница; из недельной получки у Дэлси оставалось пятьдесят центов.

Улицы, как всегда в этот час, были залиты потоками людей. Электрические огни на Бродвее сияли, привлекая из темноты ночных бабочек; они прилетали сюда за десятки, за сотни миль, чтобы научиться обживать себе крылья. Хорошо одетые мужчины — лица их напоминали те, что старые матросы так искусно вырезают из вишневых косточек, — оборачивались и глядели на Дэлси, которая спешила вперед, не удостаивая их вниманием. Манхэттен, ночной кактус, начинал раскрывать свои мертвенно белые, с тяжелым запахом лепестки.

Дэлси вошла в дешевый магазин и купила на свои пятьдесят центов воротничок из машинных кружев. Эти деньги были,

собственно говоря, предназначены на другое: пятнадцать центов на ужин, десять — на завтрак и десять — на обед. Еще десять центов Дэлси хотела добавить к своим скромным сбережениям, а пять — промотать на лакричные леденцы, от которых, когда засунешь их за щеку, кажется, что у тебя флюс, и которые тянутся, когда их сосешь, так же долго, как флюс. Леденцы были, конечно, роскошью, почти оргией, но стоит ли жить, если жизнь лишена удовольствий!

Дэлси жила в меблированных комнатах. Между меблированными комнатами и пансионом есть разница: в меблированных комнатах ваши соседи не знают, когда вы голодаете.

Дэлси поднялась в свою комнату — третий этаж, окна во двор, в мрачном каменном доме. Она зажгла газ. Ученые говорят нам, что самое твердое из всех тел — алмаз. Они ошибаются. Квартирные хозяйки знают такой состав, перед которым алмаз покажется глиной. Они смазывают им крышки газовых горелок, и вы можете залезть на стул и раскапывать этот состав, пока не обломаете себе ногти, и все напрасно. Даже шпилькой его не всегда удается проковырять, так что условимся называть его стройким.

Итак, Дэлси зажгла газ. При его свете сядою в четверть свечи мы осмотрим комнату.

Кровать, стол, комод, умывальник, стул — в этом была повинна хозяйка. Остальное все принадлежало Дэлси. На комоде помещались ее сокровища: фарфо-

ровая с золотом вазочка, подаренная ей Сэди, календарь — реклама консервного завода, сонник, рисовая пудра в стеклянном блюдечке и пучок искусственных вишен, перевязанный розовой ленточкой.

Прислоненные к кривому зеркалу стояли портреты генерала Киченера, Уильяма Мэлдуна, герцогини Мальборо и Бенвенуто Челлини. На стене висел гипсовый барельеф какого-то ирландца в римском шлеме, а рядом с ним — ярчайшая олеография, на которой мальчик лимонного цвета гонялся за огненно-красной бабочкой. Дальше этого художественного вкуса Дэлси не шел; впрочем, он никогда и не был поколеблен. Никогда шушуканья о plagiatах не нарушали ее покоя; ни один критик не щурился презрительно на ее малолетнего энтомолога.

Свинка должен был зайти за нею в семь. Пока она быстро приводит себя в порядок, мы скромно отвернемся и немного посплетничаем.

За комнату Дэлси платит два доллара в неделю. В будни завтрак стоит ей десять центов; она делает себе кофе и варит яйцо на газовой горелке, пока одевается. По воскресеньям она пирует — ест телячьи котлеты и оладьи с ананасами в ресторане Билли; это стоит двадцать пять центов, и десять она дает на чай. Нью-Йорк так располагает к расточительности. Днем Дэлси завтракает на работе за шестьдесят центов в неделю и обедает за один доллар и пять центов. Вечерняя газета — покажите мне жителя Нью-Йорка, который обходился бы без газеты! — стоит шесть центов в неделю

и две воскресных газеты — одна ради брачных объявлений, другая для чтения — десять центов. Итого — четыре доллара семьдесят шесть центов. А ведь нужно еще одеваться, и...

Нет, я отказываюсь. Я слышал об удивительно дешевых распродажах мануфактуры и о чудесах, совершаемых при помощи нитки и иголки; но я что-то сомневаюсь. Мое перо повисает в воздухе при мысли о том, что в жизнь Дэлси следовало бы еще включить радости, какие полагаются женщине в силу всех неписанных, священных, естественных, бездействующих законов высшей справедливости. Два раза она была на Кони-Айленде и каталась на карусели. Скучно, когда удовольствия отпускаются вам не чаще раза в год.

О Свинке нужно сказать всего несколько слов. Когда девушки дали ему это прозвище, на почтенное семейство свиней легло незаслуженное клеймо позора. Можно и дальше использовать для его описания животный мир: у Свинки была душа крысы, повадки летучей мыши и велиcodущие кошки. Он одевался щеголем и был знатоком по части недоедания. Взглянув на продавщицу из магазина, он мог сказать вам с точностью до одного часа, сколько времени прошло с тех пор, как она ела что-нибудь более питательное, чем чай с пастой. Он вечно рыскал по большим магазинам и приглашал девушек обедать. Мужчины, выводящие на прогулку собак, и те смотрят на него с презрением. Это — определенный тип: хватит о нем; мое перо не годится для описания ему подобных: я не плотник.

Без десяти семь Дэлси была готова. Она посмотрелась в кривое зеркало и осталась довольна. Темно-синее платье, сидевшее на ней без единой морщинки, шляпа с кокетливым черным пером, почти совсем свежие перчатки — все эти свидетельства отречения (даже от обеда) были ей очень к лицу.

На минуту Дэлси забыла все, кроме того, что она красива и что жизнь готова приподнять для нее краешек таинственной занавесы и показать ей свои чудеса. Никогда еще ни один мужчина не приглашал ее в ресторан. Сегодня ей предстояло на краткий миг заглянуть в новый, сверкающий красками мир.

Девушки говорили, что Свинка — «мот». Значит, предстоит роскошный обед и музыка, и можно будет поглядеть на разодетых женщин и отведать таких блюд, от которых у девушек скулы сводят, когда они пытаются описать их подругам. Без сомнения, он и еще когда-нибудь пригласит ее.

В окне одного магазина она видела голубое платье из китайского шелка. Если откладывать каждую неделю не по десять, а по двадцать центов... постойте, постойте... нет, на это уйдет несколько лет. Но на Седьмой авеню есть магазин подержанных вещей, и там...

Кто-то постучал в дверь. Дэлси открыла. В дверях стояла квартирная хозяйка с приветливой улыбкой на губах и старалась уловить носом, не пахнет ли стряпней на украденном газе.

— Вас там внизу спрашивает какой-то

джентльмен, — сказала она. — Фамилия Уиггинс.

Под таким названием Свинка был известен тем несчастным, которые принимали его всерьез.

Дэлси повернулась к комоду, чтобы достать носовой платок, и вдруг замерла на месте и крепко закусила нижнюю губу. Пока она смотрела в зеркало, она видела сказочную страну и себя — принцессу, только что проснувшуюся от долгого сна. Она забыла того, кто не спускал с нее печальных, красивых, строгих глаз, единственного, кто мог одобрить или осудить ее поведение. Прямой, высокий и стройный, с выражением грустного упрека на прекрасном меланхолическом лице, генерал Киченер глядел на нее из золоченой рамки своими удивительными глазами.

Как заводная кукла, Дэлси повернулась к хозяйке.

— Скажите ему, что я не пойду, — проговорила она тупо. — Скажите, что я больна или еще что-нибудь. Скажите, что я не выхожу.

Проводив хозяйку и заперев дверь, Дэлси бросилась ничком на постель, так что черное перо совсем смялось, и проплакала десять минут. Генерал Киченер был ее единственный друг. В ее глазах он был идеалом рыцаря. На лице его читалось какое-то тайное горе, а усы его были, как мечта, и она немного боялась его строгого, но нежного взгляда. Она привыкла тешить себя невинной фантазией, что когда-нибудь он придет в этот дом и спросит ее, и его шпага будет

постукивать о ботфорты. Однажды, когда какой-то мальчик стучал цепочкой по фонарному столбу, она открыла окно и выглянула на улицу. Но нет! Она знала, что генерал Киченер далеко, в Японии, ведет свою армию против диких турок. Никогда он не выйдет к ней из своей золоченой рамки. А между тем в этот вечер один взгляд его победил Свинку. Да, на этот вечер.

Поплакав, Дэлси встала, сняла свое нарядное платье и надела старенький голубой халатик. Обедать ей не хотелось. Она пропела два куплета из «Самми». Потом серьезно занялась красным пятнышком на своем носу. А потом придвинула стул к расшатанному столу и стала гадать на картах.

— Вот гадость, вот наглость! — сказала она вслух. — Я никогда ни словом, ни взглядом не давала ему повода так думать.

В десять часов Дэлси достала из сундука жестянку с сухарями и горшочек с малиновым вареньем и устроила пир. Она предложила сухарик с вареньем генералу Киченеру, но он только посмотрел на нее так, как посмотрел бы сфинкс на бабочку, если только в пустыне есть бабочки.

— Ну и не ешьте, если не хотите, — сказала Дэлси, — и не важничайте так, и не укоряйте глазами. Навряд ли вы были бы такой гордый, если бы вам пришлось жить на шесть долларов в неделю.

Дэлси нагрубила генералу Киченеру, это не предвещало ничего хорошего. А потом она сердито повернула Бенвенуто Челлини лицом к стене. Впрочем, это было прости-

тельно, потому что она всегда принимала его за Генриха VIII, поведения которого не одобряла.

В половине десятого Дэлси бросила последний взгляд на портреты, погасила свет и юркнула в постель. Это очень страшно — ложиться спать, обменявшись на прощание взглядом с генералом Киченером, Уильямом Мэлдуном, герцогиней Мальборо и Бенвенуто Челлини.

Рассказ собственно так и остался без конца. Дописан он будет когда-нибудь позже, когда Свинка опять пригласит Дэлси в ресторан, и она будет чувствовать себя особенно одинокой, и генералу Киченеру случится отвернуться: и тогда...

Как я уже сказал, мне снилось, что я стою недалеко от кучки ангелов зажиточного вида, и полисмен взял меня за крыло и спросил, не из их ли я компании.

— А кто они? — спросил я.

— Ну, как же, — сказал он, — это люди, которые нанимали на работу девушек и платили им пять или шесть долларов в неделю. Вы из их шайки?

— Нет, ваше бессмертство, — ответил я. — Я всего-навсего поджег приют для сирот и убил слепого, чтобы воспользоваться его медяками.

## ГОРЯЩИЙ СВЕТИЛЬНИК

Конечно, у этой проблемы есть две стороны. Рассмотрим вторую. Нередко приходится слышать о «продавщицах». Но их не существует. Есть девушки, которые работают в магазинах. Это их профессия. Однако с какой стати название профессии превращать в определение человека? Будем справедливы. Ведь мы не именуем «невестами» всех девушек, живущих на Пятой авеню.

Лу и Нэнси были подругами. Они приехали в Нью-Йорк искать работы, потому что родители не могли их прокормить. Нэнси было девятнадцать лет. Лу — двадцать. Это были хорошеные трудолюбивые девушки из провинции, не мечтавшие о сценической карьере.

Ангел-хранитель привел их в дешевый и приличный пансион. Обе нашли место и начали самостоятельную жизнь. Они остались подругами. Разрешите теперь, по прошествии шести месяцев, познакомить вас: Назойливый Читатель — мои добрые друзья мисс Нэнси и мисс Лу. Раскланиваясь, обратите внимание — только незаметно,— как они одеты. Но только незаметно! Они так же не любят, чтобы на них глазели, как дама в ложе на скачках.

Лу работает сдельно гладильщицей в ручной прачечной. Пурпурное платье плохо си-

дит на ней, перо на шляпе на четыре дюйма. длиннее, чем следует, но ее горностаевая муфта и горжетка стоят двадцать пять долларов, а к концу сезона собратья этих горностаев будут красоваться в витринах, снабженных ярлыками «7 долларов 98 центов». У нее розовые щеки и блестящие голубые глаза. По всему видно, что она вполне довольна жизнью.

Нэнси вы назовете продавщицей — по привычке. Такого типа не существует. Но поскольку пресыщенное поколение повсюду ищет тип, ее можно назвать «типичной продавщицей». У нее высокая прическа помпадур и корректнейшая английская блузка. Юбка ее безупречного покроя, хотя и из дешевой материи. Нэнси не кутается в меха от резкого весеннего ветра, но свой короткий суконный жакет она носит с таким шиком, как будто это каракулевое манто. Ее лицо, ее глаза, о безжалостный охотник за типами, хранят выражение, типичное для продавщицы: безмолвное, презрительное негодование попранной женственности, горькое обещание грядущей мести. Это выражение не исчезает, даже когда она весело смеется. То же выражение можно увидеть в глазах русских крестьян, и те из нас, кто доживет, узрят его на лице архангела Гавриила, когда он затрубит последний сбор. Это выражение должно было бы смутить и уничтожить мужчину, однако он чаще ухмыляется и преподносит букет... за которым тянется веревочка.

А теперь приподнимите шляпу и уходите, получив на прощание веселое «до скорого!» от Лу и насмешливую, нежную улыбку от

Нэнси, улыбку, которую вам почему-то не удается поймать, и она, как белая ночная бабочка, трепеща, поднимается над крышами домов к звездам.

На углу улицы девушки ждали Дэна. Дэн был верный поклонник Лу. Преданный? Он был бы при ней и тогда, когда Мэри пришлось бы разыскивать свою овечку<sup>1</sup> при помощи наемных сыщиков.

— Тебе не холодно, Нэнси? — заметила Лу. — Ну и дура ты! Торчишь в этой лавочонке за восемь долларов в неделю! На прошлой неделе я заработала восемнадцать пятьдесят. Конечно, гладить не так шикарно, как продавать кружева за прилавком, зато плата хорошая. Никто из наших гладильщиц меньше десяти долларов не получает. И эта работа ничем не унизительнее твоей.

— Ну, и бери ее себе, — сказала Нэнси, вздернув нос, — а мне хватит моих восьми долларов и одной комнаты. Я люблю, чтобы вокруг были красивые вещи и шикарная публика. И потом, какие там возможности! У нас в отделе перчаток одна вышла за литейщика или как там его, — кузнеца, из Питтсбурга. Он миллионер! И я могу подцепить не хуже. Я вовсе не хочу хвастать своей наружностью, но я по мелочам не играю. Ну, а в прачечной какие у девушки возможности?

— Там я познакомилась с Дэном! — победоносно заявила Лу. — Оншел за своей воскресной рубашкой и воротничками, а я

<sup>1</sup> Намек на детские английские стихи про Мэри и ее верную овечку.

гладила на первой доске. У нас все хотят работать за первой доской. В этот день Элла Меджиннис заболела, и я заняла ее место. Он говорит, что сперва заметил мои руки — такие белые и круглые. У меня были закатаны рукава. В прачечные заходят очень приличные люди. Их сразу видно: они белье приносят в чемоданчике и в дверях не болтаются.

— Как ты можешь носить такую блузку, Лу? — спросила Нэнси, бросив из-под тяжелых век томно-насмешливый взгляд на пестрый туалет подруги.— Ну и вкус же у тебя!

— А что? — вознегодовала Лу. — За эту блузку я шестнадцать долларов заплатила, а стоит она двадцать пять. Какая-то женщина сдала ее в стирку, да так и не забрала. Хозяин продал ее мне. Она вся в ручной вышивке! Ты лучше скажи, что это на тебе за серое безобразие?

— Это серое безобразие,— холодно сказала Нэнси,— точная копия того безобразия, которое носит миссис ван Олстин Фишер. Девушки говорят, что в прошлом году у нее в нашем магазине счет был двенадцать тысяч долларов. Свое платье я сшила сама. Оно обошлось мне в полтора доллара. За пять шагов ты их не различишь.

— Ладно уж! — добродушно сказала Лу.— Если хочешь голодать и важничать — дело твое. А мне годится и моя работа, только бы платили хорошо; зато уж после работы я хочу носить самое нарядное, что мне по карману.

Тут появился Дэн, монтер (с заработком тридцать долларов в неделю), серьезный

юноша в дешевом галстуке, избежавший печати развязности, которую город накладывает на молодежь. Он взирал на Лу печальными глазами Ромео, и ее вышитая блузка казалась ему паутиной, запутаться в которой сочтет за счастье любая муха.

— Мой друг мистер Оуэнс,— представила Лу.— А это мисс Дэнфорс, познакомьтесь.

— Очень рад, мисс Дэнфорс,— сказал Дэн, протягивая руку.— Лу много говорила о вас.

— Благодарю,— сказала Нэнси и дотронулась до его ладони кончиками холодных пальцев.— Она упоминала о вас... изредка.

Лу хихикнула.

— Это рукопожатие ты подцепила у миссис ван Олстин Фишер? — спросила она.

— Тем более можешь быть уверена, что ему стоит научиться,— сказала Нэнси.

— А мне оно ни к чему. Очень уж тонно. Придумано, чтобы щеголять брильянтовыми кольцами. Вот когда они у меня будут, я попробую.

— Сначала научись,— благоразумно заметила Нэнси,— тогда и кольца скорее появятся.

— Ну, чтобы покончить с этим спором,— вмешался Дэн, как всегда весело улыбаясь,— позвольте мне внести предложение. Поскольку я не могу пригласить вас обеих в ювелирный магазин, может быть, отправимся в оперетку? У меня есть билеты. Давайте поглядим на театральные брильянты, раз уж настоящие камешки не про нас.

Верный рыцарь занял свое место у края тротуара, рядом шла Лу в пышном пав-

линьем наряде, а затем Нэнси, стройная, скромная, как воробышок, но с манерами подлинной миссис ван Олстин Фишер,— так они отправились на поиски своих нехитрых развлечений.

Немногие, я думаю, сочли бы большой универсальный магазин учебным заведением. Но для Нэнси ее магазин был самой настоящей школой. Ее окружали красивые вещи, дышавшие утонченным вкусом. Если вокруг вас роскошь, она принадлежит вам, кто бы за нее ни платил — вы или другие.

Большинство ее покупателей были женщины с высоким положением в обществе, законодательницы мод и манер. И с них Нэнси начала взимать дань — то, что ей больше нравилось в каждой.

У одной она копировала жест, у другой — красноречивое движение бровей, у третьей — походку, манеру держать сумочку, улыбаться, здороваться с друзьями, обращаться к «низшим». А у своей излюбленной модели, миссис ван Олстин Фишер, она занимствовала нечто поистине замечательное — негромкий нежный голос, чистый, как серебро, музыкальный, как пение дрозда. Это пребывание в атмосфере высшей утонченности и хороших манер неизбежно должно было оказать на нее и более глубокое влияние. Говорят, что хорошие привычки лучше хороших принципов. Возможно, хорошие манеры лучше хороших привычек. Родительские поучения могут и не спасти от гибели вашу пуританскую совесть; но если вы выпрямитесь на стуле, не касаясь спинки,

и сорок раз повторите слова «призмы», «пилигримы», сатана отыдет от вас. И когда Нэнси прибегала к ван-олстинфишеровской интонации, ее охватывал гордый трепет noblesse oblige<sup>1</sup>.

В этой универсальной школе были и другие источники познания. Когда вам доведется увидеть, что несколько продавщиц собрались в тесный кружок и позякивают дутыми браслетами в такт словно бы легко-мысленной болтовне, не думайте, что они обсуждают челку модницы Этель. Может быть, этому сборищу не хватает спокойного достоинства мужского законодательного собрания, но по значению своему оно не уступает первому совещанию Евы и ее старшей дочери о том, как поставить Адама на место. Это — Женская Конференция Взаимопомощи и Обмена Стратегическими Теориями Нападения на и Защиты от Мира, Который есть Сцена, и от Зрителя-Мужчины, упорно Бросающего Букеты на Таковую. Женщина самое беспомощное из земных созданий, грациозная, как лань, но без ее быстроты, прекрасная, как птица, но без ее крыльев, полная сладости, как медоносная пчела, но без ее... Лучше бросим метафору — среди нас могут оказаться ужаленные.

На этом военном совете обмениваются оружием и делятся опытом, накопленным в жизненных стычках.

— А я ему говорю: «Нахал! — говорит Сэди.— Да как вы смеете говорить мне такие вещи? За кого вы меня принимаете?» А он мне отвечает...

<sup>1</sup> Положение обязывает (франц.).

Головы — черные, каштановые, рыжие, белокурые и золотистые — сближаются. Сообщается ответ, и совместно решается, как в дальнейшем парировать подобный выпад на дуэли с общим врагом — мужчиной.

Так Нэнси учились искусству защиты, а для женщины успешная защита означает победу.

Учебная программа универсального магазина весьма обширна. И, пожалуй, ни один колледж не подготовил бы Нэнси так хорошо для осуществления ее заветного желания — выиграть в брачной лотерее.

Ее прилавок был расположен очень удачно. Рядом находился музыкальный отдел, и она познакомилась с произведениями крупнейших композиторов, по крайней мере настолько, насколько это требовалось, чтобы сойти за тонкую ценительницу в том неведомом «высшем свете», куда она робко надеялась проникнуть. Она впитывала возышающую атмосферу художественных безделушек, красивых дорогих материй и ювелирных изделий, которые для женщины почти заменяют культуру.

Честолюбивые стремления Нэнси недолго оставались тайной для ее подруг. «Смотри, вон твой миллионер, Нэнси!» — раздавалось кругом, когда к ее прилавку приближался покупатель подходящей внешности. Постепенно у мужчин, слонявшихся без дела по магазину, пока их дамы занимались покупками, вошло в привычку останавливаться у прилавка с носовыми платками и не спеша перебирать батистовые квадратики. Их привлекали поддельный светский тон Нэнси

и ее неподдельная изящная красота. Желающих полюбезничать с ней было много. Некоторые из них, возможно, были миллионерами, остальные прилагали все усилия, чтобы сойти за таковых. Нэнси научилась их различать. Сбоку от ее прилавка было окно; за ним были видны ряды машин, ожидавших внизу покупателей. И Нэнси узнала, что автомобили, как и их владельцы, имеют свое лицо.

Однажды обворожительный джентльмен, ухаживая за ней с видом царя Кофетуа, купил четыре дюжины носовых платков. Когда он ушел, одна из продавщиц спросила:

— В чем дело, Нэн? Почему ты его спровадила? По-моему, товар что надо.

— Он-то? — сказала Нэнси с самой холодной, самой любезной, самой безразличной улыбкой из арсенала миссис ван Олстин Фишер. — Не для меня. Я видела, как он подъехал. Машина в двенадцать лошадиных сил и шофер — ирландец. А ты заметила, какие платки он купил — шелковые! И у него кольцо с печаткой. Нет, мне подделок не надо.

У двух самых «утонченных» дам магазина — заведующей отделом и кассирши — были «шикарные» кавалеры, которые иногда приглашали их в ресторан. Как-то они предложили Нэнси пойти с ними. Обед происходил в одном из тех модных кафе, где заказы на столики к Новому году принимаются за год вперед. «Шикарных» кавалеров было двое: один был лыс (его волосы развеял вихрь удовольствий — это нам достоверно известно), другой — молодой человек, который чрезвычайно убедительно доказывал

свою значительность и пресыщенность жизнью, — во-первых, он клялся, что вино никуда не годится, а во-вторых, носил брильянтовые запонки. Этот юноша узрел в Нэнси массу неотразимых достоинств. Он вообще был неравнодушен к продавщицам, а в этой безыскусственная простота ее класса соединялась с манерами его круга. И вот на следующий день он явился в магазин и по всем правилам сделал ей предложение руки и сердца над коробкой платочеков из беленого ирландского полотна. Нэнси отказалась. В течение всей их беседы каштановая прическа помпадур по соседству напрягала зрение и слух. Когда отвергнутый влюбленный удалился, на голову Нэнси полились ядовитые потоки упреков и негодования.

— Идиотка! Это же миллионер — племянник самого ван Скиттлза. И ведь он говорил всерьез. Нет, ты окончательно рехнулась, Нэн!

— Ты думаешь? — сказала Нэнси.— Ах, значит, надо было согласиться? Прежде всего, он не такой уж миллионер. Семья дает ему всего двадцать тысяч в год на расходы, лысый вчера над этим смеялся.

Каштановая прическа придинулась и прищурила глаза.

— Что ты воображаешь? — вопросила она хриплым голосом (от волнения она забыла сунуть в рот жевательную резинку). — Тебе что, мало? Может, ты в мормоны хочешь, чтобы повенчаться зараз с Рокфеллером, Гладстоном Дауи, королем испанским и прочей компанией? Тебе двадцати тысяч в год мало?

Нэнси слегка покраснела под упорным взглядом глупых черных глаз.

— Тут дело не только в деньгах, Кэрри,— объяснила она.— Его приятель вчера поймал его на вранье. Что-то о девушке, с которой он будто бы не ходил в театр. А я лжецов не выношу. Одним словом, он мне не нравится — вот и все. Меня дешево не купишь. Это правда — я хочу подцепить богача. Но мне нужно, чтобы это был человек, а не просто громыхающая копилка.

— Тебе место в психометрической больнице, — сказал каштановый помпадур, отворачиваясь.

И Нэнси продолжала питать такие возвышенные идеи, чтобы не сказать — идеалы, на свои восемь долларов в неделю. Она шла по следу великой неведомой «добычи», поддерживающая свои силы черствым хлебом и все туже затягивая пояс. На ее лице играла легкая, томная, мрачная боевая улыбка прирожденной охотницы за мужчинами. Магазин был ее лесом; часто, когда дичь казалась крупной и красивой, она поднимала ружье, прицеливаясь, но каждый раз какой-то глубокий безошибочный инстинкт — охотницы или, может быть, женщины — удерживал ее от выстрела, и она шла по новому следу.

А Лу процветала все в той же прачечной. Из своих восемнадцати долларов пятидесяти центов в неделю она платила шесть долларов за комнату и стол. Остальное тратилось на одежду. По сравнению с Нэнси у нее было мало возможностей улучшить свой вкус и манеры. Весь день она гладила в душной прачечной, гладила и мечтала о том, как

приятно проведет вечер. Под ее утюгом перебывало много дорогих пышных платьев, и, может быть, все растущий интерес к нарядам передавался ей по этому металлическому проводнику.

Когда она кончала работу, на улице уже дожидался Дэн, ее верная тень при любом освещении.

Иногда при взгляде на туалеты Лу, которые становились все более пестрыми и безвкусными, в его честных глазах появлялось беспокойство. Но он не осуждал ее — ему просто не нравилось, что она привлекает к себе внимание прохожих.

Лу была по-прежнему верна своей подруге. По нерушимому правилу Нэнси сопровождала их, куда бы они не отправлялись, и Дэн весело и безропотно нес добавочные расходы. Этому трио искателей развлечений Лу, так сказать, придавала яркость, Нэнси — тон, а Дэн — вес. На этого молодого человека в приличном стандартном костюме, в стандартном галстуке, всегда с добродушной стандартной шуткой наготове, можно было положиться. Он принадлежал к тем хорошим людям, о которых легко забываешь, когда они рядом, но которых часто вспоминаешь, когда их нет.

Для взыскательной Нэнси в этих стандартных развлечениях был иногда горьковатый привкус. Но она была молода, а молодость жадна и за неимением лучшего заменяет качество количеством.

— Дэн все настаивает, чтобы мы поженились, — однажды призналась Лу. — А к чему мне это? Я сама себе хозяйка и трачу

свои деньги, как хочу. А он ни за что не позволит мне работать. Послушай, Нэн, что ты торчишь в своей лавчонке? Ни поесть, ни одеться как следует. Скажи только слово, и я устрою тебя в прачечную. Ты бы сбвила форсу, зато у нас можно заработать.

— Тут дело не в форсе, Лу,— сказала Нэнси.— Я предпочту остаться там даже на половинном пайке. Привычка, наверное. Мне нужен шанс. Я ведь не собираюсь провести за прилавком всю жизнь. Каждый день я узнаю что-нибудь новое. Я все время имею дело с богатыми и воспитанными людьми,— хоть я их только обслуживаю,— и можешь быть уверена, что я ничего не пропускаю.

— Изловила своего миллионщика? — насмешливо фыркнула Лу.

— Пока еще нет,— ответила Нэнси.— Выбираю.

— Боже ты мой, выбирает! Смотри, Нэн, не упусти, если подвернется хоть один даже с неполным миллионом. Да ты шутишь — миллионеры и не думают о работницах вроде нас с тобой.

— Тем хуже для них,— сказала Нэнси рассудительно, — кое-кто из нас научил бы их обращаться с деньгами.

— Если какой-нибудь со мной заговорит, — хохотала Лу, — я просто в обморок хлопнусь!

— Это потому, что ты с ними не встречаешься. Разница только в том, что с этими щеголями надо держать ухо востро. Лу, а тебе не кажется, что подкладка из красного шелка чуть-чуть ярковата для такого пальто?

Лу оглядела простенький оливково-серый жакет подруги.

— По-моему, нет — разве что рядом с твоей линялой тряпкой.

— Этот жакет, — удовлетворенно сказала Нэнси, — точно того же покроя, как у миссис ван Олстин Фишер. Материал обошелся мне в три девяносто восемь — долларов на сто дешевле, чем ей.

Не знаю, — легкомысленно рассмеялась Лу, — клюнет ли миллионер на такую приманку. Чего доброго, я раньше тебя изловлю золотую рыбку.

Поистине, только философ мог бы решить, кто из подруг был прав. Лу, лишенная той гордости и щепетильности, которая заставляет десятки тысяч девушек трудиться за гроши в магазинах и конторах, весело громыхала утюгом в шумной и душной прачечной. Заработка хватало ей с избытком, пышность ее туалетов все возрастала, и Лу уже начинала бросать косые взгляды на приличный, но такой неэлегантный костюм Дэна — Дэна стойкого, постоянного, неизменного.

А Нэнси принадлежала к десяткам тысяч. Шелка и драгоценности, кружева и безделушки, духи и музыка, весь этот мир изысканного вкуса создан для женщины, это ее законный удел. Если этот мир нужен ей, если он для нее — жизнь, то пусть она живет в нем. И она не предает, как Исаев, права, данные ей рождением<sup>1</sup>. Похлебка же ее нередко скучна.

<sup>1</sup> Исаев, по библейской легенде, продал свое право первородства младшему брату за миску чечевичной похлебки.

Такова была Нэнси. Ей легко дышалось в атмосфере магазина, и она со спокойной уверенностью съедала скромный ужин и обдумывала дешевые платья. Женщину она уже узнала, и теперь изучала свою дичь — мужчину, его обычай и достоинства. Настает день, когда она подстрелит желанную добычу: самую большую, самую лучшую — обещала она себе.

Ее заправленный светильник не угасал, и она готова была принять жениха, когда бы он ни пришел<sup>1</sup>.

Но — может быть, бессознательно — она узнала еще кое-что. Мерка, с которой она подходила к жизни, незаметно менялась. Порою знак доллара тускнел перед ее внутренним взором и вместо него возникали слова: «искренность», «честь», а иногда и просто «доброта». Прибегнем к сравнению. Бывает, что охотник за лосем в дремучем лесу вдруг выйдет на цветущую поляну, где ручей журчит в покое и отдыхе. В такие минуты сам Нимрод<sup>2</sup> опускает копье.

Иногда Нэнси думала — так ли уж нужен каракуль сердцам, которые он покрывает?

Как-то в четверг вечером Нэнси вышла из магазина и, перейдя Шестую авеню, направилась к прачечной. Лу и Дэн неделю назад пригласили ее на музыкальную комедию.

Когда она подходила к прачечной, оттуда вышел Дэн. Против обыкновения, лицо его было хмуро.

<sup>1</sup> В евангельской притче рассказано о мудрых девах, которые держали свои светильники зажженными в ожидании небесного жениха.

<sup>2</sup> Нимрод — в библейской легенде, искусный охотник.

— Я зашел спросить, не слышали ли они чего-нибудь о ней, — сказал он.

— О ком? — спросил Нэнси. — Разве Лу не здесь?

— Я думал, вы знаете, — сказал Дэн. — С понедельника она не была ни тут, ни у себя. Она забрала вещи. Одной из здешних девушек она сказала, что собирается в Европу.

— И никто ее с тех пор не видел? — спросила Нэнси.

Дэн жестко посмотрел на нее. Его рот был угрюмо сжат, а серые глаза холодны, как сталь.

— В прачечной говорят, — неприязненно сказал он, — что ее видели вчера — в автомобиле. Наверное, с одним из этих миллионеров, которыми вы с Лу вечно забивали себе голову.

В первый раз в жизни Нэнси растерялась перед мужчиной. Она положила дрогнувшую руку на рукав Дэна.

— Вы говорите так, как будто это моя вина, Дэн.

— Я не это имел в виду, — сказал Дэн, смягчаясь.

Он порылся в жилетном кармане.

— У меня билеты на сегодня, — начал он со стойческой веселостью, — и если вы...

Нэнси умела ценить мужество.

— Я пойду с вами, Дэн, — сказала она.

Прошло три месяца, прежде чем Нэнси снова встретилась с Лу.

Однажды вечером продавщица торопливо шла домой. У ограды тихого сквера ее оклик-

нули, и, повернувшись, она очутилась в объятиях Лу.

После первых поцелуев они чуть отпрянули назад, как делают змеи, готовясь ужалить или зачаровать добычу, а на кончиках их языков дрожали тысячи вопросов. И тут Нэнси увидела, что на Лу снизошло богатство, воплощенное в шедеврах портновского искусства, в дорогих мехах и сверкающих драгоценностях.

— Ах ты, дурочка! — с шумной нежностью вскричала Лу. — Все еще работаешь в этом магазине, как я погляжу, и все такая же замухрышка. А как твоя знаменитая добыча? Еще не изловила?

И тут Лу заметила, что на ее подругу снизошло нечто лучшее, чем богатство. Глаза Нэнси сверкали ярче драгоценных камней, на щеках цвели розы, и губы с трудом удерживали радостные признания.

— Да, я все еще в магазине, — сказала Нэнси, — до будущей недели. И я поймала — лучшую добычу в мире. Тебе ведь теперь все равно, Лу, правда? Я выхожу замуж за Дэна — за Дэна! Он теперь мой, Дэн! Что ты, Лу? Лу!..

Из-за угла сквера показался один из тех молодых подтянутых блюстителей порядка нового набора, которые делают полицию более сносной — по крайней мере на вид. Он увидел, что у железной решетки сквера горько рыдает женщина в дорогих мехах, с брильянтовыми кольцами на пальцах, а худенькая, просто одетая девушка обнимает ее, пытаясь утешить. Но, будучи гиб-

соновским<sup>1</sup> фараоном нового толка, он прошел мимо, притворяясь, что ничего не заметил. У него хватило ума понять, что полиция здесь бессильна помочь, даже если он будет стучать по решетке сквера до тех пор, пока стук его дубинки не донесется до самых отдаленных звезд.

<sup>1</sup> Чарлз Дана Гибсон (1867—1945) — художник-иллюстратор, идеализированно изображавший молодых американок и американцев.

## ПУРПУРНОЕ ПЛАТЬЕ

Давайте поговорим о цвете, который известен как пурпурный. Этот цвет по справедливости получил признание среди сыновей и дочерей рода человеческого. Императоры утверждают, что он создан исключительно для них. Повсюду любители повеселиться стараются довести цвет своих носов до этого чудного оттенка, который получается, если подмешать в красную краску синий. Говорят, что принцы рождены для пурпур; и это, разумеется, верно, потому что при коликах в животе лица у наследных принцев наливаются царственным пурпуром точно так же, как и курносые физиономии наследников дровосека. Все женщины любят этот цвет — когда он в моде.

А теперь как раз носят пурпурный цвет. Сплошь и рядом видишь его на улице. Конечно, в моде и другие цвета — вот только на днях я видел премиленьюю особу в шерстяном платье оливкового цвета: на юбке отделка из нашитых квадратиков и внизу в три ряда воланы, под драпированной кружевной косынкой видна вставка вся в сбороочках, рукава с двойными буфами, перетянутые внизу кружевной лентой, из-под которой выглядывают две плиссированные рюшки, — но все-таки и пурпурного цвета носят очень много. Не согласны? А вы

попробуйте-ка в любой день пройтись по Двадцать третьей улице.

Вот почему Мэйда — девушка с большими карими глазами и волосами цвета корицы, продавщица из галантерейного магазина «Улей» — обратилась к Грэйс — девушке с брошкой из искусственных брильянтов и с ароматом мятных конфет в голосе — с такими словами:

— У меня будет пурпурное платье ко Дню Благодарения — шью у портного.

— Да что ты! — сказала Грэйс, укладывая несколько пар перчаток размера семь с половиной в коробку с размером шесть три четверти.— А я хочу красное. На Пятой авеню все-таки больше красного, чем пурпурного. И все мужчины от него без ума.

— Мне больше нравится пурпурный,— сказала Мэйда,— старый Шлегель обещал сшить за восемь долларов. Это будет прелесть что такое. Юбка в складку, лиф отделан серебряным галуном, белый воротник и в два ряда...

— Промахнешься! — с видом знатока прищурилась Грэйс.

— ...и по белой парчовой вставке в два ряда тесьма, и баска в складку, и...

— Промахнешься, промахнешься! — повторила Грэйс.

— ...и пышные рукава в складку, и бархотка на манжетах с отворотами. Что ты хочешь этим сказать?

— Ты думаешь, что пурпурный цвет нравится мистеру Рэмси. А я вчера слышала, он говорил, что самый роскошный цвет — красный.

— Ну и пусть,— сказала Мэйда.— Я предпочитаю пурпурный, а кому не нравится, может перейти на другую сторону улицы.

Все это приводит к мысли, что в конце концов даже поклонники пурпурного цвета могут слегка заблуждаться. Крайне опасно, когда девица думает, что она может носить пурпур независимо от цвета лица и от мнения окружающих, и когда императоры думают, что их пурпурные одеяния вечны.

За восемь месяцев экономии Мэйда скопила восемнадцать долларов. Этих денег ей хватило, чтобы купить все необходимое для платья и дать Шлегелю четыре доллара вперед за шитье. Накануне Дня Благодарения у нее наберется как раз достаточно, чтобы заплатить ему остальные четыре доллара. И тогда в праздник надеть новое платье — что на свете может быть чудеснее!

Ежегодно в День Благодарения хозяин галантерейного магазина «Улей», старый Бахман, давал своим служащим обед. Во все остальные триста шестьдесят четыре дня, если не брать в расчет воскресений, он каждый день напоминал о прелестях последнего банкета и об удовольствиях предстоящего, тем самым призывая их проявить еще больше рвения в работе. Посредине магазина накрывался длинный стол. Витрины завешивались оберточной бумагой, и через черный ход вносились индейки и другие вкусные вещи, закупленные в угловом ресторанчике. Вы, конечно, понимаете, что «Улей» вовсе не был фешенебельным универсальным магазином со множеством отделов, лифтов и манекенов. Он был настолько мал, что мог

называться просто большим магазином; туда вы могли спокойно войти, купить все, что надо, и благополучно выйти. И за обедом в День Благодарения мистер Рэмси всегда...

Ох ты, черт возьми! Мне бы следовало прежде всего рассказать о мистере Рэмси. Он гораздо важнее, чем пурпурный цвет, или оливковый, или даже чем красный клюквенный соус. Мистер Рэмси был управляющим магазином, и я о нем самого высокого мнения. Когда в темных закоулках ему попадались молоденькие продавщицы, он никогда не пытался их ущипнуть, а когда наступали минуты затишья в работе и он им рассказывал разные истории и девушки хихикали и фыркали, то это вовсе не значило, что он угождал им непристойными анекдотами. Мистер Рэмси не только был настоящим джентльменом, но отличался еще и несколькими странностями. Он был помешан на здоровье и полагал, что ни в коем случае нельзя питаться тем, что считают полезным. Он решительно протестовал, если кто-нибудь удобно устраивался в кресле, или искал приюта от снежной бури, или носил галоши, или принимал лекарства, или еще как-нибудь лелеял собственную свою персону. Каждая из десяти молоденьких продавщиц каждый вечер, прежде чем заснуть, сладко грезила о том, как она, став миссис Рэмси, будет жарить ему свиные котлеты с луком. Поэтому что старый Бахман собирался на следующий год сделать его своим компаньоном, и каждая из них знала, что уж если она подцепит мистера Рэмси, то выбьет из него все его дурацкие

идеи насчет здоровья еще прежде, чем перестанет болеть живот от свадебного пирога.

Мистер Рэмси был главным устроителем праздничного обеда. Неизменно приглашались два итальянца — скрипач и арфист, — и после обеда все немного танцевали.

И вот, представьте, задуманы два платья, которые должны покорить мистера Рэмси, одно — пурпурное, другое — красное. Конечно, в платьях будут и остальные девушки, но они в счет не идут. Скорее всего наденут какую-нибудь блузку с черной юбкой, а это ничто по сравнению с великолепием пурпурного или красного цвета.

Грейс тоже накопила денег. Она хотела купить готовое платье. Какой смысл возиться с шитьем? Если у вас хорошая фигура, ничего не стоит подобрать что-нибудь подходящее, только в талии приходится ушивать — готовые платья почему-то всегда широки в талии.

Подошел вечер накануне Дня Благодарения. Мэйда торопилась домой, предвкушая счастливое завтра. Она мечтала о своем темном пурпуре, но мечты ее были светлые — светлое, восторженное стремление юного существа к радостям жизни, без которых юность так быстро увядает. Мэйда была уверена, что ей пойдет пурпурный цвет, и — уже в тысячный раз — она пыталась себя уверить, что мистеру Рэмси нравится именно пурпурный, а не красный. Она решила зайти домой, достать из комода со дна нижнего ящика четыре доллара, завернутые в папиросную бумагу, и потом заплатить Шлегелю и забрать у него платье.

Грэйс жила в том же доме. Ее комната была как раз над комнатой Мэйды.

Дома Мэйда застала шум и переполох. Во всех закоулках было слышно, как язык хозяйки раздраженно трещал и тарахтел, будто сбивал масло в маслобойке. Через несколько минут Грэйс спустилась к Мэйде вся в слезах, с глазами краснее, чем любое платье.

— Она требует, чтобы я съехала, — сказала Грэйс. — Старая карга. Потому что я должна ей четыре доллара. Она выставила мой чемодан в переднюю и заперла комнату. Мне некуда идти. У меня нет ни цента.

— Вчера у тебя были деньги, — сказала Мэйда.

— Я купила платье, — сказала Грэйс. — Я думала, она подождет с платой до будущей недели.

Она всхлипнула, потянула носом, вздохнула, опять всхлипнула.

Миг — и Мэйда протянула ей свои четыре доллара, — могло ли быть иначе?

— Прелесть ты моя, душечка! — вскричала Грэйс, сияя, как радуга после дождя. — Сейчас отдам деньги этой старой скряге и пойду примерю платье. Это что-то божественное. Зайди посмотреть. Я верну тебе деньги по доллару в неделю обязательно!

День Благодарения.

Обед был назначен на полдень. Без четверти двенадцать Грэйс впорхнула к Мэйде. Да, она и впрямь была очаровательна. Она была рождена для красного цвета. Мэйда, сидя у окна в старой шевиотовой юбке и

синей блузке, штопала чу... О, занималась изящным рукоделием.

— Господи, боже мой! Ты еще не одета! — ахнуло красное платье. — Не морщит на спине? Эти вот бархатные нашивки очень пикантны, правда? Почему ты не одета, Мэйда?

— Мое платье не готово, — сказала Мэйда, — я не пойду.

— Вот несчастье-то! Право же, Мэйда, ужасно жалко. Надень что-нибудь и пойдем, — будут только свои из магазина, ты же знаешь, никто не обратит внимания.

— Я так настроилась, что будет пурпурное, — сказала Мэйда, — раз его нет, лучше я совсем не пойду. Не беспокойся обо мне. Беги, а то опоздаешь. Тебе очень к лицу красное.

И все долгое время, пока там шел обед, Мэйда просидела у окна. Она представляла себе, как девушки вскрикивают, стараясь разорвать куриную дужку, как старый Бахман хохочет во все горло собственным, понятным только ему одному, шуткам, как блестят брильянты толстой миссис Бахман, появлявшейся в магазине лишь в День Благодарения, как прохаживается мистер Рэмси, оживленный, добрый, следя за тем, чтобы всем было хорошо.

В четыре часа дня она с бесстрастным лицом и отсутствующим взором медленно направилась в лавку к Шлегелю и сообщила ему, что не может заплатить за платье оставшиеся четыре доллара.

— Боже! — сердито закричал Шлегель. — Почему вы такой печальный? Берите

его. Оно готово. Платите когда-нибудь. Разве не вы каждый день ходит мимо моя лавка уже два года? Если я шью платья, то разве я не знаю людей? Вы платите мне, когда можете. Берите его. Оно удачно сшито, и если вы будет хорошенькая в нем — очень хорошо. Вот. Платите, когда можете.

Пролепетав миллионную долю огромной благодарности, которая переполняла ее сердце, Мэйда схватила платье и побежала домой. При выходе из лавки легкий дождик брызнул ей в лицо. Она улыбнулась и не заметила этого.

Дамы, разъезжающие по магазинам в экипажах, вам этого не понять. Девицы, чьи гардеробы пополняются на отцовские денежки,— вам не понять, вам никогда не постигнуть, почему Мэйда не почувствовала холодных капель дождя в День Благодарения.

В пять часов она вышла на улицу в своем пурпурном платье. Дождь полил сильнее, порывы ветра обдавали ее целыми потоками воды. Люди пробегали мимо, торопясь домой или к трамвайм, низко опуская зонтики и плотно застегнув плащи. Многие из них изумленно оглядывались на красивую девушки со счастливыми глазами, которая безмятежно шагала сквозь бурю, словно прогуливаясь по саду в безоблачный летний день.

Я повторяю, вам этого не понять, дамы с тупо набитым кошельком и кучей нарядов. Вы не представляете себе, что это такое — жить с вечной мечтой о красивых вещах, голодать восемь месяцев подряд, чтобы

иметь пурпурное платье к празднику. И не все ли равно, что идет дождь, град, снег, ревет ветер и бушует циклон?

У Мэйды не было зонтика, не было галош. У нее было пурпурное платье, и в нем она вышла на улицу. Пусть развоевалась стихия! Изголодавшееся сердце должно иметь крупицу счастья хоть раз в год. Дождь все лил и стекал с ее пальцев.

Кто-то вышел из-за угла и загородил ей дорогу. Она подняла голову — это был мистер Рэмси, и глаза его горели восхищением и интересом.

— Мисс Мэйда,— сказал он,— да вы просто великолепны в новом платье. Я очень сожалею, что вас не было на обеде. Из всех моих знакомых девушек вы самая здравомыслящая и разумная. Ничто так не укрепляет здоровье, как прогулка в ненастье. Можно мне пройтись с вами?

И Мэйда зарделась и чихнула.

## ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ

В небольшом квартале к западу от Вашингтон-сквера улицы перепутались и переломались в короткие полоски, именуемые проездами. Эти проезды образуют странные углы и кривые линии. Одна улица там даже пересекает самое себя раза два. Некоему художнику удалось открыть весьма ценное свойство этой улицы. Предположим, сборщик из магазина со счетом за краски, бумагу и холст повстречает там самого себя, идущего восьмаями, не получив ни единого цента по счету!

И вот в поисках окон, выходящих на север, кровель XVIII столетия, голландских мансард и дешевой квартирной платы люди искусства набрали на своеобразный квартал Гринич-Виллидж. Затем они перевезли туда с Шестой авеню несколько оловянных кружек и одну-две жаровни и основали «колонию».

Студия Сью и Джонси помещалась на верху трехэтажного кирпичного дома. Джонси — уменьшительное от Джоанны. Одна приехала из штата Мэн, другая — из Калифорнии. Они познакомились за табльяжом одного ресторочка на Восьмой улице и нашли, что их взгляды на искусство, цикорний салат и модные рукава вполне совпадают. В результате и возникла общая студия.

Это было в мае. В ноябре неприветливый чужак, которого доктора именуют Пневмонией, незримо разгуливал по колонии, касаясь то одного, то другого своими ледяными пальцами. По Ист-Сайду этот душегуб шагал смеясь, поражая десятки жертв, но здесь, в лабиринте узких, поросших мохом переулков, он плелся нога за ногу.

Господина Пневмона никак нельзя было назвать галантным старым джентльменом. Миниатюрная девушка, малокровная от калифорнийских зефиров, едва ли могла считаться достойным противником для дюжего старого тупицы с красными кулачищами и одышкой. Однако он свалил ее с ног, и Джонси лежала неподвижно на крашеной железной кровати, глядя сквозь мелкий переплет голландского окна на глухую стену соседнего кирпичного дома.

Однажды утром озабоченный доктор одним движением косматых седых бровей вызвал Сью в коридор.

— У нее один шанс... ну, скажем, против десяти,— сказал он, стряхивая ртуть в термометре.— И то, если она сама захочет жить. Вся наша фармакопея теряет смысл, когда люди начинают действовать в интересах гробовщика. Ваша маленькая барышня решила, что ей уже не поправиться. О, чем она думает?

— Ей... ей хотелось написать красками Неаполитанский залив.

— Красками? Чепуха! Нет ли у нее на душе чего-нибудь такого, о чем действительно стоило бы думать,— например, мужчины?

— Мужчины? — переспросила Сью, и ее голос зазвучал резко, как губная гармоника. — Неужели мужчина стоит... Да нет, доктор, ничего подобного нет.

— Ну, тогда она просто ослабла, — решил доктор. — Я сделаю все, что буду в силах сделать как представитель науки. Но когда мой пациент начинает считать кареты в своей похоронной процессии, я скидываю пятьдесят процентов с целебной силы лекарств. Если вы сумеете добиться, чтобы она хоть один раз спросила, какого фасона рукава будут носить этой зимой, я вам ручаюсь, что у нее будет один шанс из пяти вместо одного из десяти.

После того, как доктор ушел, Сью выбежала в мастерскую и плакала в японскую бумажную салфеточку до тех пор, пока та не размокла окончательно. Потом она храбро вошла в комнату Джонси с чертежной доской, насвистывая рэгтайм.

Джонси лежала, повернувшись лицом к окну, едва заметная под одеялами. Сью перестала насвистывать, думая, что Джонси уснула.

Она пристроила доску и начала рисунок тушью к журнальному рассказу. Для молодых художников путь в Искусство бывает вымощен иллюстрациями к журнальным рассказам, которыми молодые авторы мостят себе путь в Литературу.

Набрасывая для рассказа фигуру ковбоя из Айдахо в элегантных бриджах и с моноклем в глазу, Сью услышала тихий шепот, повторившийся несколько раз. Она торопливо подошла к кровати. Глаза Джонси были

широко открыты. Она смотрела в окно и считала — считала в обратном порядке.

— Двенадцать,— произнесла она и немного погодя: — ...одиннадцать,— а потом: — ...девять и девять, а потом: — ...восемь и семь — почти одновременно.

Сью посмотрела в окно. Что там было считать? Был виден только пустой, унылый двор и глухая стена кирпичного дома в двадцати шагах. Старый-старый плющ с узловатым, подгнившим у корней стволом заплел до половины кирпичную стену. Холодное дыхание осени сорвало листья с лозы, и оголенные скелеты ветвей цеплялись за осыпающиеся кирпичи.

— Что там такое, милая? — спросила Сью.

— Шесть,— едва слышно ответила Джонси.— Теперь они облетают быстрее. Три дня назад их было почти сто. Голова кружилась считать. А теперь это легко. Вот и еще один полетел. Теперь осталось только пять.

— Чего пять, милая? Скажи своей Сюди.

— Листьев. На плюще. Когда упадет последний лист, я умру. Я это знаю уже три дня. Разве доктор не сказал тебе?

— Первый раз слышу такую глупость! — с великолепным презрением отпариowała Сью.— Какое отношение могут иметь листья на старом плюще к тому, что ты поправишься? А ты еще так любила этот плющ, гадкая девочка! Не будь глупышкой. Да ведь еще сегодня утром доктор говорил мне, что ты скоро выздоровеешь... позволь, как же это он сказал?.. что у тебя десять шансов против

одного. А ведь это не меньше, чем у каждого из нас здесь, в Нью-Йорке, когда едешь в трамвае или идешь мимо нового дома. Попробуй съесть немножко бульона и дай твоей Сьюди закончить рисунок, чтобы она могла сбыть его редактору и купить вина для своей больной девочки и свиных котлет для себя.

— Вина тебе покупать больше не надо,— отвечала Джонси, пристально глядя в окно.— Вот и еще один полетел. Нет, бульона я не хочу. Значит, остается всего четыре. Я хочу видеть, как упадет последний лист. Тогда умру и я.

— Джонси, милая,— сказала Сью, наклоняясь над ней,— обещаешь ты мне не открывать глаз и не глядеть в окно, пока я не кончу работать? Я должна сдать эти иллюстрации завтра. Мне нужен свет, а то я спустила бы штору.

— Разве ты не можешь рисовать в другой комнате? — холодно спросила Джонси.

— Мне бы хотелось посидеть с тобой,— сказала Сью.— А кроме того, я не желаю, чтобы ты глядела на эти дурацкие листья.

— Скажи мне, когда кончишь,— закрывая глаза, произнесла Джонси, бледная и неподвижная, как поверженная статуя,— потому что мне хочется видеть, как упадет последний лист. Я устала ждать. Я устала думать. Мне хочется освободиться от всего, что меня держит,— лететь, лететь все ниже и ниже, как один из этих бедных, усталых листьев.

— Постарайся уснуть,— сказала Сью. — Мне надо позвать Бермана, я хочу писать

с него золотоискателя-отшельника. Я самое большее на минутку. Смотри же, не шевелись, пока я не приду.

Старик Берман был художник, который жил в нижнем этаже, под их студией. Ему было уже за шестьдесят, и борода, вся в завитках, как у Моисея Микеланджело, спускалась у него с головы сатира на тело гнома. В искусстве Берман был неудачником. Он все собирался написать шедевр, но даже и не начал его. Уже несколько лет он не писал ничего, кроме вывесок, реклам и тому подобной мазни ради куска хлеба. Он зарабатывал кое-что, позируя молодым художникам, которым профессионалы-натуращики оказывались не по карману. Он пил запоем, но все еще говорил о своем будущем шедевре. А в остальном это был злющий старикашка, который издевался над всякой сентиментальностью и смотрел на себя, как на сторожевого пса, специально приставленного для охраны двух молодых художниц.

Сью застала Бермана, сильно пахнущего можжевеловыми ягодами, в его полутемной каморке нижнего этажа. В одном углу уже двадцать пять лет стояло на мольберте не-тронутое полотно, готовое принять первые штрихи шедевра. Сью рассказала старику про фантазию Джонси и про свои опасения насчет того, как бы она, легкая и хрупкая, как лист, не улетела от них, когда ослабнет ее непрочная связь с миром. Старик Берман, чьи красные глаза очень заметно слезились, раскричался, насмехаясь над такими идиотскими фантазиями.

— Что! — кричал он.— Возможна ли

такая глупость — умирать оттого, что листья падают с проклятого плюща! Первый раз слышу. Нет, не желаю позировать для вашего идиота-отшельника. Как вы позволяете ей забивать себе голову такой чепухой? Ах, бедная маленькая мисс Джонси!

— Она очень больна и слаба,— сказала Сью,— и от лихорадки ей приходят в голову разные болезненные фантазии. Очень хорошо, мистер Берман,— если вы не хотите мне позировать, то и не надо. А я все-таки думаю, что вы противный стариk... противный старый болтунишка.

— Вот настоящая женщина! — закричал Берман.— Кто сказал, что я не хочу позировать? Идем. Я иду с вами. Полчаса я говорю, что хочу позировать. Боже мой! Здесь совсем не место болеть такой хорошей девушке, как мисс Джонси. Когда-нибудь я напишу шедевр, и мы все уедем отсюда. Да, да!

Джонси дремала, когда они поднялись наверх. Сью спустила штору до самого подоконника и сделала Берману знак пройти в другую комнату. Там они подошли к окну и со страхом посмотрели на старый плющ. Потом переглянулись, не говоря ни слова. Шел холодный, упорный дождь пополам со снегом. Берман в старой синей рубашке уселся в позе золотоискателя-отшельника на перевернутый чайник вместо скалы.

На другое утро Сью, проснувшись после короткого сна, увидела, что Джонси не сводит тусклых, широко открытых глаз со спущенной зеленой шторы.

— Подними ее, я хочу посмотреть, — шепотом скомандовала Джонси.

Сью устало повиновалась.

И что же? После проливного дождя и резких порывов ветра, не унимавшихся всю ночь, на кирпичной стене еще виднелся один лист плюща — последний! Все еще темно-зеленый у стебелька, но тронутый по зубчатым краям желтизной тления и распада, он храбро держался на ветке в двадцати футах над землей.

— Это последний, — сказала Джонси. — Я думала, что он непременно упадет ночью. Я слышала ветер. Он упадет сегодня, тогда умру и я.

— Да бог с тобой! — сказала Сью, склоняясь усталой головой к подушке. — Подумай хоть обо мне, если не хочешь думать о себе! Что будет со мной?

Но Джонси не отвечала. Душа, готовясь отправиться в таинственный, далекий путь, становится чуждой всему земному. Болезненная фантазия завладевала Джонси все сильнее, по мере того как одна за другой рвались все нити, связывавшие ее с жизнью и людьми.

День прошел, и даже в сумерки они видели, что одинокий лист плюща держится на своем стебельке на фоне кирпичной стены. А потом, с наступлением темноты, опять поднялся северный ветер, и дождь беспрерывно стучал в окна, скатываясь с низко нависшей голландской кровли.

Как только рассвело, беспощадная Джонси велела снова поднять штору.

Лист плюща все еще оставался на месте.

Джонси долго лежала, глядя на него.

Потом позвала Сью, которая разогревала для нее куриный бульон на газовой горелке.

— Я была скверной девчонкой, Сьюди,— сказала Джонси.— Должно быть, этот последний лист остался на ветке для того, чтобы показать мне, какая я была гадкая. Грешно желать себе смерти. Теперь ты можешь дать мне немножко бульона, а потом молока с портвейном... Хотя нет: принеси мне сначала зеркальце, а потом обложи меня подушками, и я буду сидеть и смотреть, как ты стряпаешь.

Часом позже она сказала:

— Сьюди, я надеюсь когда-нибудь написать красками Неаполитанский залив.

Днем пришел доктор, и Сью под каким-то предлогом вышла за ним в прихожую.

— Шансы равные,— сказал доктор, пожимая худенькую, дрожащую руку Сью.— При хорошем уходе вы одержите победу. А теперь я должен навестить еще одного больного, внизу. Его фамилия Берман. Кажется, он художник. Тоже воспаление легких. Он уже старик и очень слаб, а форма болезни тяжелая. Надежды нет никакой, но сегодня его отправят в больницу, там ему будет покойнее.

На другой день доктор сказал Сью:

— Она вне опасности. Вы победили. Теперь питание и уход — и больше ничего не нужно.

В тот же день к вечеру Сью подошла к кровати, где лежала Джонси, с удовольствием довязывая ярко-синий, совершенно бесполезный шарф, и обняла ее одной рукой — вместе с подушкой.

— Мне надо кое-что сказать тебе, белая мышка,— начала она.— Мистер Берман умер сегодня в больнице от воспаления легких. Он болел всего только два дня. Утром первого дня швейцар нашел бедного старика на полу в его комнате. Он был без сознания. Башмаки и вся его одежда промокли насеквоздь и были холодны, как лед. Никто не мог понять, куда он выходил в такую ужасную ночь. Потом нашли фонарь, который все еще горел, лестницу, сдвинутую с места, несколько брошенных кистей и палитру с желтой и зеленой красками. Посмотри в окно, дорогая, на последний лист плюща. Тебя не удивляло, что он не дрожит и не шевелится от ветра? Да, милая, это и есть шедевр Бермана — он написал его в ту ночь, когда слетел последний лист.

## ВОЛШЕБНЫЙ ПРОФИЛЬ

Калифов женского пола немногого. По праву рождения, по склонности, инстинкту и устройству своих голосовых связок все женщины — Шехерезады. Каждый день сотни тысяч Шехерезад рассказывают тысячу и одну сказку своим султанам. Но тем из них, которые не осторегутся, достанется в конце концов шелковый шнурок.

Мне, однако, довелось услышать сказку об одной такой султанше. Сказка эта не вполне арабская, потому что в нее введена Золушка, которая орудовала кухонным полотенцем совсем в другую эпоху и в другой стране. Итак, если вы не против смешения времен и стран, то мы приступим к делу.

В Нью-Йорке есть одна старая-престарая гостиница. Гравюры с нее вы видели в журналах. Ее построили — позвольте-ка — еще в то время, когда к северу от Четырнадцатой улицы не было ровно ничего, кроме индейской тропы на Бостон да конторы Гаммерштейна<sup>1</sup>. Скоро старую гостиницу снесут. И в то время, когда начнут ломать массивные стены и с грохотом посыплются кирпи-

<sup>1</sup> Оскар Гаммерштейн — известный антрепренер и владелец оперных театров в Нью-Йорке.

чи по желобам, на соседних углах собираются толпы жителей, оплакивая разрушение дорогого им памятника старины. Гражданские чувства сильны в Новом Багдаде; а пуще всех будет лить слезы и громче всех будет поминать иконоборцев тот гражданин (родом из Терри-Хот), который умиленно хранит единственное воспоминание о гостинице — как в 1873 году его там вытолкали в шею, с трудом оторвав от стойки с бесплатной закуской.

В этом отеле всегда останавливалась миссис Мэгги Браун. Миссис Браун была костлявая женщина лет шестидесяти, в порыжелом черном платье и с сумочкой из кожи того допотопного животного, которое Адам решил назвать аллигатором. Она всегда занимала в гостинице маленькую приемную и спальню на самом верху, ценою два доллара в день. И все время, пока она жила там, к ней толпами бегали просители, остроносые, с тревожным взглядом,ечно куда-то спешившие. Ибо Мэгги Браун занимала третье место среди капиталисток всего мира, а эти беспокойные господа были всего-навсего городские маклеры и дельцы, стремившиеся сделать небольшой заем миллионов этак в десять у старухи с доисторической сумочкой.

Стенографисткой и машинисткой в отеле «Акрополь» (ну вот я и проговорился!) была мисс Ида Бэйтс. Она казалась слепком с античных образцов. Ее красота была совершенна. Кто-то из галантных стариков, желая выразить свое уважение dame, сказал так: «Любовь к ней равнялась гуманитарному

образованию»<sup>1</sup>. Так вот, один только взгляд на прическу и аккуратную белую блузку мисс Бэйтс равнялся полному курсу заочного обучения по любому предмету. Иногда она кое-что переписывала для меня, и поскольку она отказывалась брать деньги вперед, то привыкла считать меня чем-то вроде друга и протеже. Она была неизменно ласкова и добродушна, и даже комми по сбыту свинцовых белил или торговец мехами не посмел бы в ее присутствии выйти из границ благопристойности. Весь штат «Акрополя» мгновенно встал бы на ее защиту, начиная с хозяина, жившего в Вене, и кончая старшим портье, вот уже шестнадцать лет прикованным к постели.

Как-то днем, проходя мимо машинописного святилища мисс Бэйтс, я увидел на ее месте черноволосое существо — без сомнения, одушевленное,— стукавшее указательными пальцами по клавишам. Размышая о превратности всего земного, я прошел мимо. На следующий день я уехал отдыхать и пробыл в отъезде две недели. По возвращении я заглянул в вестибюль «Акрополя» и не без сердечного трепета увидел, что мисс Бэйтс, по-прежнему классически безупречная и благожелательная, накрывает чехлом свою машинку. Рабочий день кончился, но она пригласила меня присесть на минутку на стул для клиентов. Мисс Бэйтс объяснила свое отсутствие, а также и возвращение в отель «Акрополь» следующим или приблизительно таким образом:

<sup>1</sup> Часто цитируемая фраза из очерка английского писателя XVIII в. Ричарда Стиля.

— Ну, дорогой мой, каково пишется?

— Ничего себе,— ответил я.— Почти также, как печатается.

— Сочувствую вам,— сказала она,— Хорошая машинка — это для рассказа самое главное. Вы меня вспоминали ведь, верно?

— Я не знаю никого,— ответил я,— кто умел бы лучше вас поставить на место запятые и постоянльцев в гостинице. Но вы ведь тоже уезжали. Я видел за вашим ремингтоном какую-то пачку жевательной резинки.

— Я и собиралась вам про это рассказать, да вы меня прервали,— сказала мисс Бэйтс.— Вы, конечно, слышали про Мэгги Браун, которая здесь останавливается. Так вот, она стоит сорок миллионов долларов. Живет она в Джерси в десятидолларовой квартирке. У нее всегда больше наличных, чем у десяти кандидатов в вице-президенты. Не знаю, где она держит деньги, может быть, в чулке, знаю только, что она очень популярна в той части города, где поклоняются золотому тельцу.

Так вот, недели две тому назад миссис Браун останавливается в дверях и глазеет на меня минут десять. Я сижу к ней боком и переписываю под копирку проспект медных разработок для одного симпатичного старичка из Тонопы. Но я всегда вижу, что делается кругом. Когда у меня срочная работа, мне все видно сквозь боковые гребенки, а не то я оставляю незастегнутой одну пуговицу на спине и тогда вижу, кто стоит сзади. Я даже не оглянулась, потому что зарабатываю долларов восемнадцать — де-

**вятнадцать в неделю и ничего другого мне не нужно.**

В тот вечер она к концу работы присыпает за мной и просит зайти к ней в номер. Я было думала, что придется перепечатывать страниц двадцать долговых расписок, залоговых квитанций и договоров и получить центов десять чаевых, но все-таки пошла. Ну, дорогой мой, и удивилась же я. Мэгги Браун вдруг заговорила по-человечески.

— Детка,— говорит она,— красивее вас я никого за всю свою жизнь не видела. Я хочу, чтобы вы бросили работу и перешли жить ко мне. У меня нет никого на свете, говорит, кроме мужа да одного-двух сыновей, и я ни с кем из них не поддерживаю отношений. Они своим транжирством только обременяют трудящуюся женщину. Я хочу взять вас в дочки. Говорят, будто бы я скучная и корыстная, а в газетах печатают враки, будто бы я сама на себя готовлю и стираю. Это вранье,— продолжает она.— Я всю стирку отдаю на сторону, кроме разве носовых платков, чулок да нижних юбок и воротничков и разной мелочи в этом роде. У меня сорок миллионов долларов наличными деньгами, в бумагах и облигациях, таких же верных, как привилегированные «Стандард-Ойл» на церковной ярмарке. Я одинокая старая женщина и нуждаюсь в близком человеке. Вы самое красивое создание, какое я в жизни видела,— говорит она.— Хотите вы перебраться ко мне? Вот увидят тогда, умею я тратить деньги или нет,— говорит она.

Ну, милый мой, что же мне было делать? Конечно, я не устояла. Да и сказать вам по

правде, я тоже начала привязываться к миссис Браун. Вовсе не из-за сорока миллионов и не ради того, что она могла для меня сделать. Я ведь тоже была совсем одна на свете. Всякому хочется иметь кого-нибудь, кому можно было бы рассказать про боли в левом плече и про то, как быстро изнашиваются лакированные туфли, когда на них появляются трещинки. А ведь не становишь про это говорить с мужчинами, которых встречаешь в гостиницах,— они только того и дожидаются.

И вот я бросила работу в гостинице и переехала к миссис Браун. Не знаю уж, чем я ей так понравилась. Она глядела на меня по полчаса, когда я сидела и читала что-нибудь или просматривала журналы.

Как-то я говорю ей:

— Может, я вам напоминаю покойную родственницу или подругу детства, миссис Браун? Я заметила, что иногда вы так и едите меня глазами.

— Лицо у вас,— говорит она,— точь-вточка такое, как у моего дорогого друга, лучшего друга, какой у меня был. Но я вас люблю и ради вас самой, деточка, — говорит она.

— И как вы думаете, мой милый, что она сделала? Расшиблась в прах, как волна на пляже Кони-Айленда. Она отвезла меня к модной портнихе и велела одеть меня с ног до головы *a la carte* — за деньгами дело не станет. Заказ был срочный, и мадам заперла парадную дверь и усадила весь свой штат за работу.

Потом мы переехали — куда бы вы думали? Нет, отгадайте. Вот это верно — в

отель Бонтон. Мы заняли номер в шесть комнат, и это стоило нам сто долларов в день. Я сама видела счет. Тут я и начала привязываться к старушке.

А потом, когда мне стали привозить платье за платьем — о! — вам я про них рассказывать не стану, вы все равно ничего не поймете. А я начала звать ее тетей Мэгги. Вы, конечно, читали про Золушку. Так вот, радость Золушки в ту минуту, когда принц надевал ей на ногу туфельку тридцать первый номер, даже и сравниться не может с тем, что я тогда чувствовала. Передо мной она была просто неудачница.

Потом тетя Мэгги сказала, что хочет закатить для моего первого выезда банкет в отеле Бонтон — такой, чтобы съехались все старые голландские фамилии с Пятой авеню.

— Я ведь выезжала и раньше, тетя Мэгги, — говорю я. — Но можно начать снова. Только, знаете ли, говорю, ведь это самый шикарный отель в городе. И знаете ли, вы уж меня извините, но очень трудно собрать всю эту аристократию вместе, если вы раньше не пробовали.

— Не беспокойтесь, деточка, — говорит тетя Мэгги. — Я не рассылаю приглашений, а отдаю приказ. У меня будет пятьдесят человек гостей, которых не заманишь вместе ни на какой прием, разве только к королю Эдуарду или к Уильяму Треверсу Джерому<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> У.-Т. Джером — американский юрист, известный своей борьбой против политической коррупции в Нью-Йорке. Одно время был окружным прокурором США.

Это, конечно, мужчины, и все они мне должны или собираются занять. Жены приедут не все, но очень многие явятся.

Да, хотелось бы мне, чтоб и вы присутствовали на этом банкете. Обеденный сервис был весь из золота и хрустяля. Собралось человек сорок мужчин и восемь дам, кроме нас с тетей Мэгги. Вы бы не узнали третьей капиталистки во всем мире. На ней было новое черное шелковое платье с таким множеством бисера, что он стучал, словно град по крыше,— мне это пришлось слышать, когда я ночевала в грозу у одной подруги в студии на самом верхнем этаже.

А мое платье! — слушайте, мой милый, я для вас даром тратить слова не намерена. Оно было все сплошь из кружев ручной работы — там, где вообще что-нибудь было,— и обошлось в триста долларов. Я сама видела счет. Мужчины были все лысые или с седыми баками и все время перебрасывались остроумными репликами насчет трехпроцентных бумаг, Брайана и видов на урожай хлопка.

Слева от меня сидел какой-то банкир, или что-нибудь вроде, судя по разговору, а справа — молодой человек, который сказал, что он газетный художник. Он был единственный... вот про это я и хотела вам рассказать.

После обеда мы с миссис Браун пошли к себе наверх. Нам пришлось прорываться сквозь толпу репортеров, заполонивших вестибюль и коридоры. Вот что деньги для вас могут сделать. Скажите, вы не знаете случайно одного газетного художника по

фамилии Латроп — такой высокий, красивые глаза, интересный в разговоре. Нет, не помню, в какой газете он работает. Ну, ладно.

Пришли мы наверх, и миссис Браун позвонила, чтобы ей немедленно подали счет. Счет прислали — он был на шестьсот долларов. Я сама видела. Тетя Мэгги упала в обморок. Я уложила ее на софу и расстегнула бисерный панцирь.

— Деточка, — говорит она, возвратившись к жизни, — что это было? Повысили квартирную плату или ввели подоходный налог?

— Так, небольшой обед, — говорю я. — Не о чем беспокоиться, это же капля в денежном море. Сядьте и придите в себя — можно и выехать, если ничего другого не остается.

И как вы думаете, мой милый, что случилось с тетей Мэгги? Она струсила. Скорей увезла меня из этого отеля Бонтон, едва дождавшись девяти часов утра. Мы переехали в меблирашки в нижнем конце Вест-Сайда. Она сняла одну комнату, где вода была этажом ниже, а свет — этажом выше. После того как мы переехали, у нас в комнате только и было что модных платьев на полторы тысячи долларов да газовая плита с одной конфоркой.

Тетя Мэгги переживала острый приступ скучости. Я думаю, каждому случается разойтись вовсю хоть единожды в жизни. Мужчина швыряет деньги на выпивку, а женщина сходит с ума из-за тряпок. Но при сорока миллионах, знаете ли! Хотела бы я видеть такую картину — кстати, о картинах, не

встречали ли вы газетного художника по фамилии Латроп, такой высокий — ах да, я уже спрашивала у вас, правда? Он был очень внимателен ко мне за обедом. У него такой голос! Мне нравится. Он, должно быть, подумал, что тетя Мэгги завещает мне сколько-нибудь из своих миллионов.

Так вот, мой милый, через три дня это облегченное домашнее хозяйство надоело мне до смерти. Тетя Мэгги была все так же ласкова. Она просто глаз с меня не сводила. Но позвольте мне сказать вам, это была такая скряга, просто скряга из скряг, всем скрягам скряга. Она твердо решила не тратить больше семидесяти пяти центов в день. Мы готовили себе обед в комнате. И вот я, имея на тысячу долларов самых модных платьев, выделявала всякие фокусы на газовой плите с одной конфоркой.

Повторяю, на третий день я сбежала. У меня в голове не вязалось, как это можно готовить на пятнадцать центов тушеных почек в стопятидесятидолларовом домашнем платье со вставкой из валансьенских кружев. И вот я иду за шкаф и переодеваюсь в самое дешевое платье из тех, что миссис Браун мне купила, — вот это самое, что на мне, — не так плохо за семьдесят пять долларов, правда? А свои платья я оставила на квартире у сестры, в Бруклине.

— Миссис Браун, бывшая тетя Мэгги, — говорю я ей, — сейчас я начну переставлять одну ногу за другой попеременно так, чтобы как можно скорей уйти подальше от этой квартиры. Я не поклонница денег, — говорю я, — но есть вещи, которых я не терплю.

Еще туда-сюда сказочное чудовище, о котором мне приходилось читать, будто оно одним дыханием может напустить и холод и жару. Но я не терплю, когда дело бросают на полдороге. Говорят, будто вы скопили сорок миллионов — ну, так у вас никогда меньше не будет. А ведь я к вам привязалась.

Тут бывшая тетя Мэгги ударяется в слезы. Обещает переехать в шикарную комнату с водой и двумя газовыми конфорками.

— Я потратила уйму денег, девочка,— говорит она.— На время нам надо будет сократиться. Вы самое красивое созданье, какое я только видела, говорит, и мне не хочется, чтобы вы от меня уходили.

Ну, вы меня понимаете, не правда ли? Я пошла прямо в «Акрополь», попросилась на старую работу, и меня взяли. Так как же, вы говорили, у вас с рассказами? Я знаю, вы много потеряли оттого, что не я их переписывала: А рисунки к ним вы когда-нибудь заказываете? Да, кстати, не знакомы ли вы с одним газетным художником... ах, что это я! Ведь я вас уже спрашивала. Хотела бы я знать, в какой газете он работает. Странно, только мне все думается, что он и не думал о деньгах, которые, как я думала, может мне завещать старуха Браун. Если б я знала кого-нибудь из газетных редакторов, я бы...

За дверью послышались легкие шаги. Мисс Бэйтс увидела, кто это, сквозь заднюю гребенку в прическе. Она вдруг порозовела, эта мраморная статуя, — чудо, которое видели только я да Пигмалион.

— Ведь вы извините меня? — сказала она мне, превращаясь в очаровательную просительницу. — Это... это мистер Латроп. Может быть, он и в самом деле не из-за денег, может быть, он и правда...

Разумеется, меня пригласили на свадьбу. После церемонии я отвел Латропа в сторону.

— Вы художник, — сказал я. — Неужели вы до сих пор не поняли, почему Мэгги Браун так сильно полюбила мисс Бэйтс, то есть бывшую мисс Бэйтс? Позвольте, я вам покажу.

На новобрачной было простое белое платье, падавшее красивыми складками, наподобие одежды древних греков. Я сорвал несколько листьев с гирлянды, украшившей маленькую гостиную, сделал из них венок и, возложив его на блестящие каштановые косы урожденной Бэйтс, заставил ее повернуться в профиль к мужу.

— Клянусь честью! — воскликнул он. — Ведь Ида вылитая женская головка на серебряном долларе!

## ДОРОГИ, КОТОРЫЕ МЫ ВЫБИРАЕМ

В двадцати милях к западу от Таксона «Вечерний экспресс» остановился у водокачки набрать воды. Кроме воды, паровоз этого знаменитого экспресса захватил и еще кое-что, не столь для него полезное.

В то время как кочегар отцеплял шланг, Боб Тидбол, «Акула» Додсон и индеец-метис из племени криков, по прозвищу Джон Большая Собака, влезли на паровоз и показали машинисту три круглых отверстия своих карманных артиллерийских орудий. Это произвело на машиниста такое сильное впечатление, что он мгновенно вскинул обе руки вверх, как это делают при восклицании: «Да что вы! Быть не может!» По короткой команде Акулы Додсона, который был начальником атакующего отряда, машинист сошел на рельсы и отцепил паровоз и тендер. После этого Джон Большая Собака, забравшись на груду угля, шутки ради направил на машиниста и кочегара два револьвера и предложил им отвести паровоз на пятьдесят ярдов от состава и ожидать дальнейших распоряжений.

Акула Додсон и Боб Тидбол не стали пропускать сквозь грохот такую бедную золотом породу, как пассажиры, а направились прямиком к богатым россыпям почтового вагона. Проводника она застали врас-

плох — он был в полной уверенности, что «Вечерний экспресс» не набирает ничего вреднее и опаснее чистой воды. Пока Боб Тидбол выбивал это пагубное заблуждение из его головы ручкой шестизарядного кольта, Акула Додсон, не теряя времени, закладывал динамитный патрон под сейф почтового вагона.

Сейф взорвался, дав тридцать тысяч долларов чистой прибыли золотом и кредитками. Пассажиры то там, то здесь высовывались из окон поглядеть, где это гремит гром. Старший кондуктор дернулся за веревку от звонка, но она, безжизненно повиснув, не оказала никакого сопротивления. Акула Додсон и Боб Тидбол, побросав добычу в крепкий брезентовый мешок, спрыгнули наземь и, спотыкаясь на высоких каблуках, побежали к паровозу.

Машинист, угрюмо, но благоразумно повинувшись их команде, погнал паровоз прочь от неподвижного состава. Но еще до этого проводник почтового вагона, очнувшись от гипноза, выскочил на насыпь с винчестером в руках и принял активное участие в игре. Джон Большая Собака, сидевший на тендере с углем, сделал неверный ход, подставив себя под выстрел, и проводник прихлопнул его козырным тузом. Рыцарь большой дороги скатился наземь с пулей между лопаток, и таким образом доля добычи каждого из его партнеров увеличилась на одну шестую.

В двух милях от водокачки машинисту было приказано остановиться. Бандиты вызывающие помахали ему на прощанье ручкой и, скатившись вниз по крутому откосу,

исчезли в густых зарослях, окаймлявших путь. Через пять минут, с треском проломившись сквозь кусты чапарраля, они очутились на поляне, где к низким ветвям деревьев были привязаны три лошади. Одна из них дожидалась Джона Большой Собаки, которому уже не суждено было ездить на ней ни днем, ни ночью. Сняв с этой лошади седло и узду, бандиты отпустили ее на волю. На остальных двух они сели сами, взвалив мешок на луку седла, и поскакали быстро, но озираясь по сторонам, сначала через лес, затем по дикому, пустынному ущелью. Здесь лошадь Боба Тидбала поскользнулась на мшистом валуне и сломала переднюю ногу. Бандиты тут же пристрелили ее и уселись держать совет. Проделав такой длинный, извилистый путь, они были пока в безопасности — время еще терпело. Много миль и часов отделяло их от самой быстрой погони. Лошадь Акулы Додсона, волоча узду по земле и поводя боками, благодарно щипала траву на берегу ручья. Боб Тидбол развязал мешок и, смеясь, как ребенок, выгреб из него аккуратно заклеенные пачки новеньких кредиток и единственный мешочек с золотом.

— Послушай-ка, старый разбойник, — весело обратился он к Додсону, — а ведь ты оказался прав, дело-то выгорело. Ну и голова у тебя, прямо министр финансов. Кому угодно в Аризоне можешь дать сто очков вперед.

— Как же нам быть с лошадью, Боб? Засиживаться здесь нельзя. Они еще до рассвета пустятся за нами в погоню.

— Ну, твой Боливар выдержит пока что и двоих, — ответил жизнерадостный Боб. —

Заберем первую же лошадь, какая нам подвернется. Черт возьми, хорош улов, а? Тут тридцать тысяч, если верить тому, что на бумажках напечатано,— по пятнадцати тысяч на брата.

— Я думал, будет больше,— сказал Акула Додсон,— слегка подталкивая пачки с деньгами носком сапога. И он окинул задумчивым взглядом мокрые бока своего заморенного коня.

— Стариk Боливар почти выдохся,— сказал он с расстановкой.— Жалко, что твоя гнедая сломала ногу.

— Еще бы не жалко,— простодушно ответил Боб,— да ведь с этим ничего не подлаешь. Боливар у тебя двужильный — он нас довезет куда надо, а там мы сменим лошадей. А ведь, прах побери, смешно, что ты с Востока, чужак здесь, а мы на Западе, у себя дома, и все-таки тебе в подметки не годимся. Из какого ты штата?

— Из штата Нью-Йорк,— ответил Акула Додсон, садясь на валун и пожевывая веточку.— Я родился на ферме в округе Олстер. Семнадцати лет я убежал из дома. И на Запад-то я попал случайно. Шел я по дороге с узелком в руках, хотел попасть в Нью-Йорк. Думал, попаду туда и начну деньги загребать. Мне всегда казалось, что я для этого и родился. Дошел я до перекрестка и не знаю, куда мне идти. С полчаса я раздумывал, как мне быть, потом повернулся налево. К вечеру я нагнал циркачей-ковбоев и с ними двинулся на Запад. Я часто думаю, что было бы со мной, если бы я выбрал другую дорогу.

— По-моему, было бы то же самое,— философски ответил Боб Тидбол.— Дело не в дороге, которую мы выбираем; то, что внутри нас, заставляет нас выбирать дорогу.

Акула Додсон встал и прислонился к дереву.

— Очень мне жалко, что твоя гнедая сломала ногу, Боб,— повторил он с чувством.

— И мне тоже,— согласился Боб,— хорошая была лошадка. Ну, да Боливар нас вывезет. Пожалуй, нам пора и двигаться, Акула. Сейчас я все это уложу обратно, и в путь; рыба ищет где глубже, а человек где лучше.

Боб Тидбол уложил добычу в мешок и крепко завязал его веревкой. Подняв глаза, он увидел дуло сорокапятикалиберного кольта, из которого целился в него бестрепетной рукой Акула Додсон.

— Брось ты эти шуточки,— ухмыляясь, сказал Боб.— Пора двигаться.

— Сиди, как сидишь! — сказал Акула.— Ты отсюда не двинешься, Боб. Мне очень неприятно это говорить, но место есть только для одного. Боливар выдохся, и двоих ему не снести.

— Мы с тобой были товарищами целых три года, Акула Додсон,— спокойно ответил Боб.— Не один раз мы вместе с тобой рисковали жизнью. Я всегда был с тобой честен, думал, что ты человек. Слышал я о тебе кое-что неладное, будто бы ты убил двоих ни за что ни про что, да не поверил. Если ты пошутил, Акула, убери кольт и бежим скорее. А если хочешь стрелять — стреляй, черная душа, стреляй, тарантул!

Лицо Акулы Додсона выразило глубокую печаль.

— Ты не поверишь, Боб,— вздохнул он,— как мне жаль, что твоя гнедая сломала ногу.

И его лицо мгновенно изменилось — теперь оно выражало холодную жестокость и неумолимую алчность. Душа этого человека проглянула на минуту, как выглядывает иногда лицо злодея из окна почтенного буржуазного дома.

В самом деле, Бобу не суждено было двинуться с места. Раздался выстрел вероломного друга, и негодующим эхом ответили ему каменные стены ущелья. А невольный сообщник злодея — Боливар — быстро унес прочь последнего из шайки, ограбившей «Вечерний экспресс», — коню не пришлось нести двойной груз.

Но когда Акула Додсон скакал по лесу, деревья перед ним словно застлало туманом, револьвер в правой руке стал изогнутой ручкой дубового кресла, обивка седла была какая-то странная, и, открыв глаза, он увидел, что его ноги упираются не в стремена, а в письменный стол мореного дуба.

Так вот я и говорю, что Додсон, глава маклерской конторы Додсон и Деккер, Уолл-стрит, открыл глаза. Рядом с креслом стоял доверенный клерк Пибоди, не решаясь заговорить. Под окном глухо грохотали колеса, усыпительно жужжал электрический вентилятор.

— Кхм! Пибоди,— моргая, сказал Додсон.— Я, кажется, уснул. Видел любопытнейший сон. В чем дело, Пибоди?

— Мистер Уильямс от «Трэси и Уильямс» ждет вас, сэр. Он пришел рассчитаться за Икс, Игрек, Зет. Он попался с ними, сэр, если припомните.

— Да, помню. А какая на них расценка сегодня?

— Один восемьдесят пять, сэр.

— Ну вот и рассчитайтесь с ним по этой цене.

— Простите, сэр, — сказал Пибоди, волнуясь, — я говорил с Уильямсом. Он ваш старый друг, мистер Додсон, а ведь вы скучили все Икс, Игрек, Зет. Мне кажется, вы могли бы, то есть... Может быть, вы не помните, что он продал их вам по девяносто восемь. Если он будет рассчитываться по теперешней цене, он должен будет лишиться всего капитала и продать свой дом.

Лицо Додсона мгновенно изменилось — теперь оно выражало холодную жестокость и неумолимую алчность. Душа этого человека проглянула на минуту, как выглядывает иногда лицо злодея из окна почтенного буржуазного дома.

— Пусть платит один восемьдесят пять, — сказал Додсон. — Боливару не снести двоих.

## РОДСТВЕННЫЕ ДУШИ

Вор быстро скользнул в окно и замер, стараясь освоиться с обстановкой. Всякий уважающий себя вор сначала освоится среди чужого добра, а потом начнет его присваивать.

Вор находился в частном особняке. Заколоченная парадная дверь и неподстриженный плющ подсказали ему, что хозяйка дома сидит сейчас где-нибудь на мраморной террасе, омываемой волнами океана, и объясняет исполненному сочувствия молодому человеку в спортивной морской фуражке, что никто никогда не понимал ее одинокой и возвышенной души. Освещенные окна третьего этажа в сочетании с концом сезона, в свою очередь, свидетельствовали о том, что хозяин уже вернулся домой и скоро потушит свет и отойдет ко сну. Ибо сентябрь — такая пора в природе и в жизни человека, когда всякий добропорядочный семьянин приходит к заключению, что стенографистки и кафе на крышах — тщета и суeta, и, ощущив в себе тягу к благопристойности и нравственному совершенству, как ценностям более прочным, начинает поджидать домой свою законную половину.

Вор закурил папиросу. Прикрытым ладонью огонек спички осветил на мгновение то, что было в нем наиболее выдающегося,—

длинный нос и торчащие скулы. Вор принадлежал к третьей разновидности. Эта разновидность еще не изучена и не получила широкого признания. Полиция познакомила нас только с первой и со второй. Классификация их чрезвычайно проста. Отличительной приметой служит воротничок.

Если на пойманном воре не удается обнаружить крахмального воротничка, нам заявляют, что это опаснейший выродок, вконец разложившийся тип, и тотчас возникает подозрение — не тот ли это закоренелый преступник, который в тысяча восемьсот семьдесят восьмом году выкрад наручники из кармана полицейского Хэннесси и нагло избежал ареста.

Представитель другой широко известной разновидности — это вор в крахмальном воротничке. Его обычно называют вор-джентльмен. Днем он либо завтракает в смокинге, либо расхаживает, переодевшись обойщиком, вечером же приступает к своему основному, гнусному занятию — ограблению квартир. Мать его — весьма богатая, почтенная леди, проживающая в респектабельнейшем Оушен-Гроув, и, когда его препровождают в тюремную камеру, он первым долгом требует себе пилочку для ногтей и «Полицейскую газету». У него есть жена в каждом штате и невесты во всех территориях, и газеты сериями печатают портреты жертв его матrimониальной страсти, используя для этого извлеченные из архива фотографии недужных особ женского пола, от которых отказались все врачи и которые получили исцеление от одного флакона па-

тентованного средства, испытав значительное облегчение при первом же глотке.

На воре был синий свитер. Этот вор не принадлежал ни к категории джентльменов, ни к категории поваров из Адовой Кухни. Полиция, несомненно, стала бы в тупик при попытке его классифицировать. Ей еще не доводилось слышать о солидном, степенном воре, не проявляющем тенденции ни опуститься на дно, ни залететь слишком высоко.

Вор третьей категории начал крадучись продвигаться вперед. Он не носил на лице маски, не держал в руке потайного фонарика, и на ногах у него не было башмаков на каучуковой подошве. Вместо этого он запасся револьвером тридцать восьмого калибра и задумчиво жевал мяту резинку.

Мебель в доме еще стояла в чехлах. Серебро было убрано подальше — в сейфы. Вор не рассчитывал на особенно богатый улов. Путь его лежал в тускло освещенную комнату третьего этажа, где хозяин дома спал тяжелым сном после тех улад, которые он так или иначе должен был находить, дабы не погибнуть под бременем одиночества. Там и следовало «пощупать» на предмет честной, законной, профессиональной поживы. Может, попадется немного денег, часы, булавка с драгоценным камнем... словом, ничего сногшибательного, выходящего из ряда вон. Просто вор увидел распахнутое окно и решил попытать счастья.

Вор неслышно приоткрыл дверь в слабо освещенную комнату. Газовый рожок был привернут. На кровати спал человек. На

туалетном столике в беспорядке валялись различные предметы — пачка смятых банкнот, часы, ключи, три покерных фиш-ки, несколько сломанных сигар и розовый бант. Тут же стояла бутылка сельтерской, припасенная на утро для прояснения мозгов.

Вор сделал три осторожных шага по направлению к столику. Спящий жалобно застонал и открыл глаза. И тут же сунул правую руку под подушку, но не успел вытащить ее обратно.

— Лежать тихо! — сказал вор нормаль-ным человеческим голосом. Воры третьей категории не говорят свистящим шепотом. Человек в постели посмотрел на дуло направленного на него револьвера и замер.

— Руки вверх! — приказал вор.

У человека была каштановая с проседью бородка клинышком, как у дантистов, которые рвут зубы без боли. Он производил впечатление солидного, почтенного обывателя и был, как видно, весьма желчен, а сейчас вдобавок чрезвычайно раздосадован и возмущен. Он сел в постели и поднял правую руку.

— А ну-ка, вторую! — сказал вор. — Может, вы двусмысленный и стреляете левой. Вы умеете считать до двух? Ну, живо!

— Не могу поднять эту, — сказал обыватель с болезненной гримасой.

— А что с ней такое?

— Ревматизм в плече.

— Острый?

— Был острый. Теперь хронический.

Вор с минуту стоял молча, держа ревматика под прицелом. Он глянул украдкой на туалетный столик с разбросанной на нем добычей и снова в замешательстве уставился на человека, сидевшего в постели. Внезапно его лицо тоже исказила гримаса.

— Перестаньте корчить рожи! — с раздражением крикнул обыватель. — Пришли грабить, так грабьте. Забирайте, что там на туалете.

— Прошу прощенья, — сказал вор с усмешкой. — Меня вот тоже скрутило. Вам, знаете ли, повезло — ведь мы с ревматизмом старинные друзья. И тоже в левой. Всякий другой на моем месте продырявил бы вас насеквоздь, когда вы не подняли свою левую клемшню.

— И давно у вас? — поинтересовался обыватель.

— Пятый год. Да теперь уж не отвяжется. Стоит только заполучить это удовольствие — пиши пропало.

— А вы не пробовали жир гремучей змеи? — с любопытством спросил обыватель.

— Галлонами изводил. Если всех гремучих змей, которых я обезжирил, вытянуть цепочкой, так она восемь раз достанет от земли до Сатурна, а уж греметь будет так, что заткнут уши в Вальпараисо.

— Некоторые принимают «Пилиоли Чизельма», — заметил обыватель.

— Шарлатанство, — сказал вор. — Пять месяцев глотал эту дрянь. Никакого толку. Вот когда я пил «Экстракт Финкельхема», делал припарки из «Галаадского бальзама» и применял «Поттовский болеутоляющий

пульверизатор», вроде как немного полегчало. Только сдается мне, что помог главным образом конский каштан, который я таскал в левом кармане.

— Вас когда хуже донимает, по утрам или ночью?

— Ночью,— сказал вор.— Когда самая работа. Слушайте, да вы опустите руку... Не станете же вы... А «Бликерстафовский кровоочиститель» вы не пробовали?

— Нет, не приходилось. А у вас как — приступами или все время ноет?

Вор присел в ногах кровати и положил револьвер на колено.

— Скачками,— сказал он.— Набрасывается, когда не ждешь. Пришлось отказаться от верхних этажей — раза два уже застрял, скрутило на полдороге. Знаете, что я вам скажу: ни черта в этой болезни доктора не смыслят.

— И я так считаю. Потратил тысячу долларов, и все впустую. У вас распухает?

— По утрам. А уж перед дождем — просто мочи нет.

— Ну да, у меня тоже. Стоит какому-нибудь паршивому облачку величиной с салфетку тронуться к нам в путь из Флориды, и я уже чувствую его приближение. А если случится пройти мимо театра, когда там идет мелодрама «Болотные туманы», сырость так воньется в плечо, что его начинает дергать, как зуб.

— Да, ничем не уймешь. Адовые муки,— сказал вор.

— Вы правы,— вздохнул обыватель.

Вор поглядел на свой револьвер и с напускной развязностью сунул его в карман.

— Послушайте, приятель,— сказал он, стараясь преодолеть неловкость.— А вы не пробовали оподельдок?

— Чушь! — сказал обыватель сердито.— С таким же успехом можно втирать коровье масло.

— Правильно,— согласился вор.— Годится только для крошки Минни, когда киска оцарапает ей пальчик. Скажу вам прямо — дело наше дрянь. Только одна вещь на свете помогает. Добрая, старая, горячительная, веселящая сердце выпивка. Послушайте, старина... вы на меня не серчайте... Это дело, само собой, побоку... Одевайтесь-ка, и пойдем выпьем. Вы уж простите, если я... ух ты, черт! Опять схватил, гадюка!

— Скоро неделя, как я лишен возможности одеваться без посторонней помощи,— сказал обыватель.— Боюсь, что Томас уже лег, и...

— Ничего, вылезайте из своего логова,— сказал вор.— Я помогу вам нацепить что-нибудь.

Условности и приличия мощной волной всколыхнулись в сознании обывателя. Он погладил свою седеющую бородку.

— Это в высшей степени необычно...— начал он.

— Вот ваша рубашка,— сказал вор.— Ныряйте в нее. Между прочим, один человек говорил мне, что «Растирание Омберри» так починило его в две недели, что он стал сам завязывать себе галстук.

На дороге обыватель остановился и шагнул обратно.

— Чуть не ушел без денег,— сказал он.— Выложил их с вечера на туалетный столик.

Вор поймал его за рукав.

— Ладно, пошли,— сказал он грубовато.— Бросьте это. Я вас приглашаю. На выпивку хватит. А вы никогда не пробовали «Чудодейственный орех» и мазь из сосновых иголок?



## СОДЕРЖАНИЕ

### КОРОЛИ И КАПУСТА

*перевод К. Чуковского*

От переводчика . . . . .	5
Присказка плотника . . . . .	7
I. «Лиса-на-рассвете» . . . . .	14
II. Лотос и бутылка . . . . .	26
III. Смит . . . . .	43
IV. Пойманы! . . . . .	58
V. Еще одна жертва Купидона . . . . .	75
VI. Игра и граммофон <sup>1</sup> . . . . .	83
VII. Денежная лихорадка . . . . .	102
VIII. Адмирал . . . . .	117
IX. Редкостный флаг . . . . .	129
X. Трилистник и пальма . . . . .	144
XI. Остатки кодекса чести . . . . .	167
XII. Башмаки. . . . .	180
XIII. Корабли . . . . .	193
XIV. Художники . . . . .	205
XV. Дики . . . . .	227
XVI. Rouge et noir . . . . .	245
XVII. Две отставки . . . . .	258
XVIII. Витаграфоскоп . . . . .	270

### РАССКАЗЫ

Дары волхвов. <i>Перевод Е. Калашни- ковой</i> . . . . .	277
Фараон и хорал. <i>Перевод А. Горли- на</i> . . . . .	286

<sup>1</sup> Перевод М. Лорие.

Неоконченный рассказ. <i>Перевод под ре- дакцией М. Лориे . . . . .</i>	296
Горящий светильник <i>Перевод И. Гу- ровой . . . . .</i>	306
Пурпурное платье. <i>Перевод В. Маянц</i>	324
Последний лист. <i>Перевод Н. Дарузес</i>	333
Волшебный профиль. <i>Перевод Н. Да- рузес . . . . .</i>	343
Дороги, которые мы выбираем. <i>Перевод Н. Дарузес . . . . .</i>	355
Родственные души. <i>Перевод Т. Озер- ской . . . . .</i>	362

**О. Генри**

0-11 Короли и капуста. Рассказы. Пер. с англ.

М., «Худож. лит.», 1977.

372 с.

В сборник произведений популярного американского писателя О. Генри (1862—1910) включена повесть «Короли и капуста» и несколько его наиболее известных рассказов.

О **70304-138**  
**028(01)-77** 9-77

**И (Амер)**

КОРОЛИ  
О . Г е н р и      И КАПУСТА  
РАССКАЗЫ

Редактор  
М . М а к а р о в а

Художественный  
редактор  
Д . Е р м о л е н к о

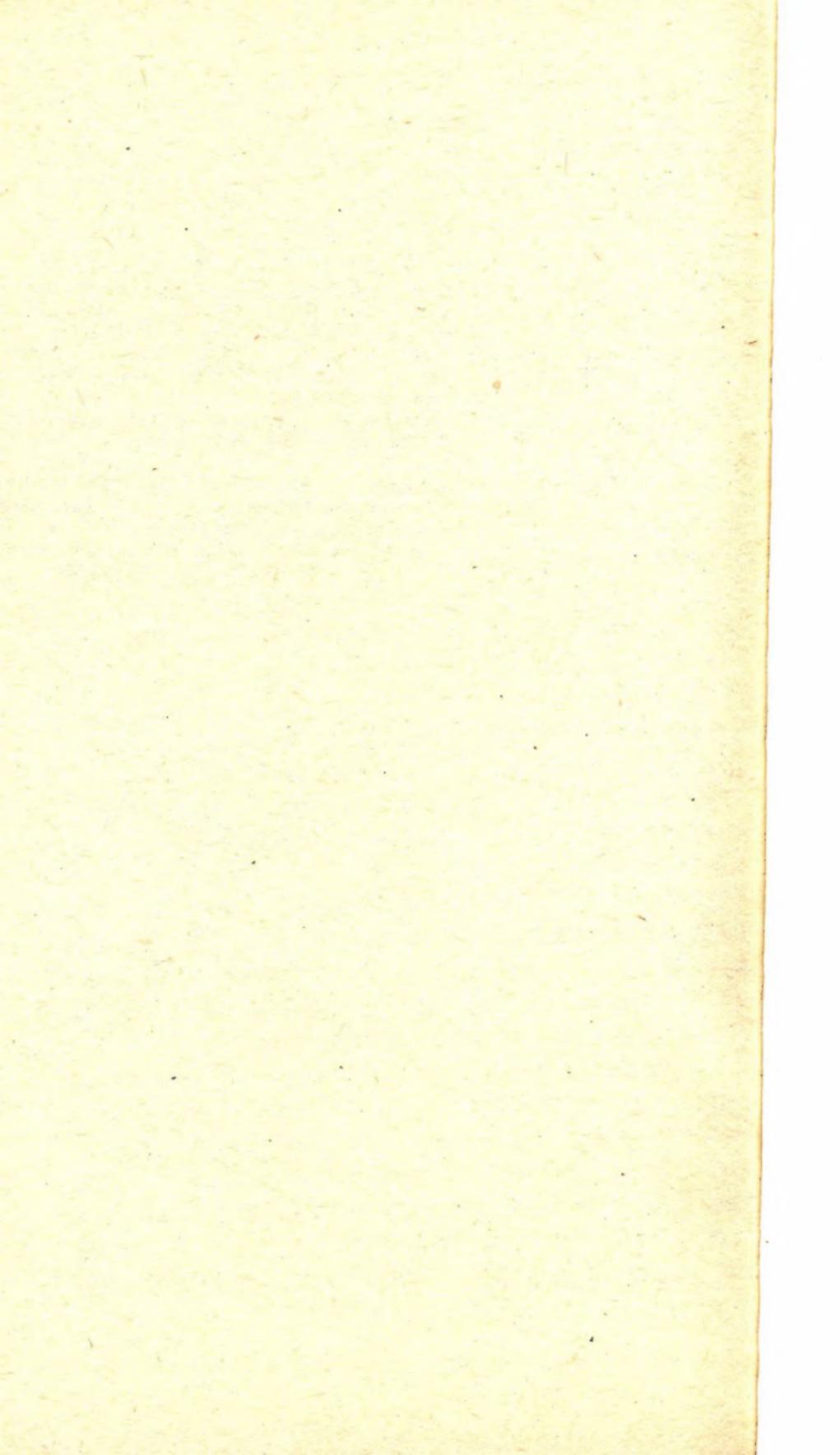
Технический  
редактор  
Е . П о л о н с к а я  
Корректор  
З . Т и х о н о в а

**ИБ № 381**

Сдано в набор 18/III — 1977 г. Подписано в печать 1/VIII 1977 г. Бумага типографская № 3. Формат 70×90/1/32 Печ. л. 11,75. Усл. печ. л. 13,712. Уч.-изд. л. 13,061. Тираж 450.000 экз. (1-ый завод 1—200 000 экз) Заказ 740. Цена 1 р. 10 к.

Издательство «Художественная литература»  
Москва, Б-78, Ново-Басманская, 19.

Отпечатано Можайским полиграфкомбинатом  
«Союзполиграфпрома» при Государственном  
комитете Совета Министров СССР по делам  
издательств, полиграфии и книжной торговли  
г. Можайск, ул. Мира, 93







THE  
LITERARY  
MAGAZINE  
AND  
JOURNAL  
OF  
SCIENCE,  
ART,  
LITERATURE,  
AND  
POLITICS.  
EDITED BY  
JOHN  
STEELE,  
AND  
PUBLISHED  
EVERY  
WEEK  
AT  
NEW YORK,  
BY  
JOHN  
STEELE,  
AND  
CHARLES  
J. LEE.